НЁМАН

1/2014
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 14.01.2014 г. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,39. Тираж 3045. Заказ 91.
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ВЕРА ЗЕЛЕНКО

Не умереть от истины

Роман

Все было кончено. Он лежал, стало быть, с проломленным черепом на ледяной земле, в холодном гараже, откуда час назад или что-то около того (он потерял счет времени) был угнан его видавший виды, но вполне еще приличный «мерседес» — предмет острой зависти чувствительных к чужому успеху коллег. Всякая иномарка на отечественных дорогах таила в себе угрозу не только советскому автопрому, но и привычному, выверенному образу жизни... Он получил удар в голову тупым предметом в тот момент, когда склонился над капотом. Удар, скорее всего, был нанесен кирпичом — одним из тех, что были свалены в углу. Очевидно, из-за гула мотора он не услышал шума приближающихся шагов.

Дальше он ничего не помнил: ни как рухнул, ни сколько пролежал. И вот теперь, когда с трудом разомкнул отяжелевшие веки, обнаружил, что гараж пуст. Руки, ноги не повиновались. Попытка закричать ни к чему не привела, из груди лишь вырвался надсадный хрип. Дико болела голова. Он попробовал повернуть ее — слишком неудобной была поза, но тут же застонал от непереносимой боли и тотчас потерял сознание.

Чуть позже, когда вернулась способность анализировать, зафиксировал первую мысль: с этим надо кончать! На секунду представил себя в инвалидной коляске и как Машка с выражением великого терпения на лице кормит его с ложечки, представил себе эту жуткую картину и снова застонал на этот раз — от отчаяния. В подобной ситуации никакая коррекция жизненных планов не принесет спасения. Следующее видение было и того кошмарнее: к нему по расписанию приходили коллеги — актеры, чтобы выразить сострадание, почти как соболезнование по незадавшейся его жизни, втайне наслаждаясь своей порядочностью, ибо никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы заполучить очередную роль, — все его роли сами поплыли к их благословенным берегам. Устоявшаяся театральная жизнь Ленинграда потери не ощутила.

Он снова застонал. На этот раз почувствовал некую легкую вибрацию внутри — что-то вроде глухого, сдавленного, чуть булькающего звука. Неужели это звук его некогда роскошного, его неподражаемого баритона? Поза была неудобной. Одна нога была неестественно вывернута и придавлена другой, обе — онемели. Он чуть напрягся, попытался рукой дотянуться до ноги — той, что находилась сверху, — с тем, чтобы сдвинуть ее чуть правее. Рука повиновалась. Это вызвало прилив энтузиазма. Во всяком случае, руки послушны, значит, ничто не помешает довести дело до конца... Так он провалялся еще час. С четким видением того, каков должен быть итог его незадавшейся жизни. Так или иначе, а было бы неплохо и копыта откинуть как-то прилично: актерская его сущность явила себя и в этом скромном желании.

Вот тебе и смертельная воронка, о которой он столько размышлял. В минуты философского осмысления жизни представлялось, что жуткий вихрь, с воем всасывающий в ненасытную свою утробу все что ни попадалось на пути: всякую трепетную мелочишку, равно как и неделимые обломки космического мироздания, — весь этот вселенский вихрь и есть основа лицедейства, глубже покоится только безумие...

Но даже сейчас, когда по не вполне ясным ощущениям он парил где-то между жизнью и смертью и душа его то раненой птицей падала в бездну, то отраженным солнечным лучом возносилась к небесам, он продолжал запоминать, как делал это тысячу раз, — скорее по актерской привычке, нежели действительно ради дела, — он продолжал запоминать и это почти невесомое парение, и резкие броски вниз, и ощущение взлета, как будто находишься в лифте и сначала становится муторно, а потом непременно нисходит покой. Он продолжал записывать это на некую карту памяти, чтобы потом, если выпадет случай, пристроить куда-нибудь и это сомнительное барахло. Видит Бог, слишком тонкая субстанция — душа, чтобы передать ее движение грубыми актерскими средствами.

Позже, во время очередной попытки восстановить ход событий, никак не припоминалось, почему в тот единственный момент, когда все еще можно было поправить, он принял решение не возвращаться. Не всерьез же, в самом деле, надумал свести счеты с жизнью?! Впрочем, он всегда считал, что собственные решения надо исполнять хотя бы из уважения к самому себе.

В тот день он торопился на вечернюю репетицию в театр. После случившегося, понятно, об этом не могло быть и речи. Какая к черту репетиция, если только и получалось что передвигаться ползком! К тому же, любая репетиция, даже самая затяжная, имеет свойство когда-нибудь да заканчиваться. Сегодня же и вовсе предполагался контрольный пробег — Горяев торопился на «Стрелу». Ну, а домой, домой-то что помешало ему вернуться? Ну, не хотел расстраивать Машку — это понятно. Однако было, по всей видимости, что-то еще, какая-то трудная мысль, которая никак не облекалась в ясную форму. Может быть, все-таки мысль о том, что он сам должен поставить точку. Или запятую? Он мог предстать перед Машкой в любом виде: пьяным, озлобленным, избитым, несчастным, но только не беспомощным. В тот момент и пришла как спасение мысль о даче. Слава богу, запасные ключи валялись где-то в гараже. Как они нашлись, он тоже не помнил. Помнил только, что почувствовал себя смертельно раненым зверем, который должен убраться прочь, чтобы умереть в одиночку.

История выглядела почти детективной. Тяжело поворачивая голову, он оглянулся еще раз: скудный интерьер гаража представлял собой идеальные декорации для классического детектива. Уродливые бетонные блоки, призванные создать иллюзию чего-то необходимого и многофункционального, составили бы великолепную основу. Но это был не его жанр. Он всегда отказывался от подобных сценариев.

Гараж его был последним в унылой череде бетонных блоков, ужасающих своим однообразием. Он выбрался из него, перемещаясь с помощью рук, прикрыл тяжелую стальную дверь, но не стал ее запирать: для этого нужны были усилия, на которые он уже не был способен. Прополз метров семьдесят до дороги, не встретив ни души, хотя обычно мужики, простые работяги, любители выпить после тяжелого трудового дня, спасавшиеся в гаражах от своих необузданных в гневе жен, толклись здесь допоздна. Глазами нашел огромный придорожный камень, с трудом добрался до него, ибо силы его оставили

окончательно, последним усилием воли приподнял свое отяжелевшее тело и уперся спиной в ледяную глыбу. Какой дурак придумал строить гаражи на окраине города? Он стал голосовать. Редкие машины шарахались от него, лишь только свет фар вырывал в ночи его одинокую фигуру. Ему было холодно, начал бить озноб. Он махал попеременно то одной рукой, то другой, пока, наконец, не притормозил грузовик. Водитель, огромный детина лет тридцати, высунувшись в окно, прокричал глухо:

— Тебе куда? В больницу?

— В Павловск, — прохрипел он.

— Какой Павловск?! Тебе в больницу надо!

— Я сказал, в Павловск! — на эту фразу, казалось, ушли последние силы.

— Ну ладно! — сдался мужик. — Павловск, так Павловск. Там, должно быть, тоже есть больница. Чем платить будешь?

— Да уж заплачу!

Водитель грузовика выпрыгнул из машины, ловко взвалил на себя бедолагу, дотащил его до кабины, пристроил кое-как на сидение.

— Что там с тобой стряслось?

— Да по башке дали.

— Ну и ну!

Водила оказался человеком. Что-то там теплилось на дне его души.

— Ключи давай! — скомандовал он, когда час спустя они подъехали к даче. — А дачка недурна! В наследство, небось, досталась?

Потом он долго возился с парадной дверью, действуя в потемках практически на ощупь, чертыхался, искал выключатель. Сергей в это время сидел в кабине в неудобной позе, скатившись книзу и безвольно откинув голову. Ног он по-прежнему не чувствовал. В какой-то момент захотел что-то там подсказать своему спасителю, но стоило ему напрячься, как его натренированная гортань начинала воспроизводить лишь хриплые звуки. «Разберется», — подумал он и снова застонал. Казалось, кто-то отбивал по затылку барабанную дробь. Господи, ну почему жизнь не позволяет никогда перескочить ни через год, ни через день?! Ведь уже все известно, что будет завтра. Долгая борьба с самим собой, бесплодные поиски истины и полная капитуляция перед всемогуществом обстоятельств, которые всегда против человека. Впрочем, какое-то будущее за стенами дома всегда есть, жизнь никогда еще не останавливалась в своем поступательном движении. Потом он увидел свет на первом этаже. Через минуту водила вернулся, подхватил его на руки, словно ребенка, понес в дом.

— Неси сразу на второй этаж, — глухо прохрипел Сергей.

— Да и тут вроде неплохо. Телевизор, холодильник — вы тут барствуете. Зачем на второй?

— Неси! — зло повторил Сергей.

Как только он водворил его в дальнюю комнату, на широкий диван, — бережно так, будто малого ребенка, — Сергей снова впал в забытье. Когда он пришел в себя, водила все еще был здесь.

— Знаешь, я подумал, может, тебе чего надо... Позвонить кому или привезти чего. — Он замолчал смущенно.

— Там, в кармане куртки, — слабо произнес Сергей, — возьми бумажник.

Мужик не заставил повторять дважды. Он вытащил кошелек, но раскрывать не стал.

— Открой!

Он открыл. Сразу бросилась в глаза фотография: красивая женщина и такая же чудная девочка ласково смотрели на него.

— Красивая баба! — заметил спаситель. — Мне такие что-то не попадаются.

— Заткнись! Открой бумажник.

— Открыл.

— Достань две бумажки.

— Это много.

— Одну возьми себе. На вторую завтра отоварься. Привезешь жрачки, бутылку водки и что-нибудь от головы.

— Ну да! Ну да! Только водка вряд ли тебе сейчас поможет. Как бы не было от нее вреда!

— Будешь выходить, выключи везде свет! — замолчав, он дал понять своему спасителю, что в его присутствии больше не нуждается.

Когда стукнула входная дверь, Сергей запоздало подумал о том, что, прежде чем взбираться с помощью водилы на второй этаж, следовало бы намекнуть тому, чтобы дотащил его, Серегу, до уборной. Достойная жалости попытка выглядеть хотя бы в этом независимым.

...Ночь прошла ужасно. Несколько раз звонил телефон, он порывался дотянуться до трубки, но столик, на котором располагался аппарат, стоял за пределами досягаемости — это была явная оплошность с его стороны. Слава богу, догадался хотя бы попросить своего избавителя принести стакан воды и воткнуть его в углубление на приставленном впопыхах табурете. Истории этой уже лет десять. Углубление образовалось от непогашенной вовремя сигареты. Машка учинила тогда целое расследование: чем это он был так занят, что чуть не сгорел заживо. Ладно, сам бы сгорел, так ведь чуть не сжег великолепный дом, основу их благосостояния.

Ночью он то и дело проваливался в какую-то яму, сверху давила неведомая сила, мешавшая выбраться на поверхность. Потом что-то там щелкало, и он уже видел себя с Машкой и Аленкой, бредущими по летнему саду. Сад, залитый солнцем, был весь в ярких белых крапинах земляничных цветов, а кое-где и вызревших алых земляничин. Воздух дрожал и звенел птичьими голосами, стрекотом кузнечиков... А дальше он уже метался по сцене — не мог вспомнить реплики, выпадал целый кусок, а коллеги поворачивались к нему почему-то спинами, словно его и не было на сцене. Потом он снова падал в яму, и все та же неведомая сила продолжала давить на него... Ему никогда не выскочить из этой ловушки.

Утром он проснулся поздно. Увидел в окно кусок ноябрьского низкого неба с лохмотьями туч и долго не мог понять ни где он, ни что с ним произошло. Потом какими-то обрывками стала возвращаться память. Он попытался пошевелить ногами — ноги не слушались, пальцами ног — большой палец правой ноги слабо отозвался. Или показалось? Продолжала болеть голова. Нарастало чувство тошноты. Он спрашивал себя, действительно ли привязан ко всему этому. Ответа не было, все было безразлично...

Когда начало смеркаться, приехал вчерашний спаситель. Внес огромную матерчатую сумку — из тех, с которыми обычно ходят в овощной.

— Живы?! — спросил он, а, может, просто констатировал. — Ну и слава богу! Здесь все, что вы просили.

— Слушай, помоги мне сесть.

Водила бросился ему помогать. Посадил на диван, осторожно опустил его ноги на пол, сзади и по бокам подпер тело подушками. О том, что его подопечный оказался мокрым, тактично умолчал.

— Дай руку! Я попробую встать.

Сергей чуть не упал, но мужик вовремя его подхватил.

— Помоги мне добраться до уборной.

...Водила навещал его еще дважды. Лишних вопросов больше не задавал. Занятный человек. Без ярко выраженной индивидуальности. Сноровка есть, вот интеллекта, пожалуй, маловато. Но это не должно его беспокоить. Миру как раз нужны такие люди, которые никогда не говорят о том, о чем их вовсе не спрашивают.

В первый же день своего незапланированного пребывания на даче Сергей все порывался позвонить Машке или Илье, но лишь только начинал набирать номер, как что-то непонятное, странное какое-то чувство останавливало его. Потом выяснилось, что телефон в загородном доме отключен, и все вопросы отпали сами собой. Назойливые звонки посреди долгой, бессонной ночи, когда он то и дело проваливался в глубокую яму, были, по-видимому, галлюцинацией.

К концу третьего дня Сергей, наконец, добрался до телевизора. Перекусил остатками ветчины, опрокинул стакан водки, заел ее соленым огурцом и... пришел в прекрасное расположение духа, насколько можно прийти в прекрасное расположение духа через два дня после того, как тебя чуть не отправили на тот свет. Но он жив, и это главное. К тому же перестала болеть и кружиться голова. Что ни говорите, а водка самый замечательный продукт, придуманный человечеством. Заглушит и вылечит любую боль. И даже начинавшуюся депрессию. Ему чертовски повезло, вот все, что он мог сказать в данный момент времени.

По телевизору шла одна из тех тошнотворных, насквозь фальшивых передач о театре и кино, которыми последнее время он был сыт по горло. С некоторыми из присутствующих в телестудии Сергей был знаком, но это вовсе не означало, что он готов был лицезреть их именно сейчас, когда пребывал в том пограничном состоянии, когда уже ничего не важно, кроме ощущения физического равновесия. В конце концов, вся жизнь для него теперь свелась к сносной работе вестибулярного аппарата. Сергей с трудом оторвался от дивана, дотащился до телевизора, переключил программу — по второму каналу транслировали фильм с его участием. Что-то было не так... Со временем он разлюбил смотреть свои фильмы. Все в них было пошло, мелко, неправильно: жалкие сценарии, убогая режиссура и его плохая игра. Он был, конечно, хорош в этом фильме — молодой, вибрирующий... подходящее слово не подбиралось, — словом, веселый щенок. Тогда он хватался за любую роль и вытягивал ее благодаря... Нет, по части формулировок сегодня он не был силен... Когда закончился фильм и пошли титры, он стал догадываться: в общем, его фамилия оказалась в рамке. А дальше в новостях все было сказано прямым текстом: погиб... в автокатастрофе... прощание с телом в театре, похороны там-то и тогда-то. Остальное он домыслил сам. Наутро, по-видимому, патруль ГАИ обнаружил останки его «мерседеса» и обгоревший до неузнаваемости труп внутри. А поскольку «мерседесов» в стране Советов было наперечет, а в родном Ленинграде и того меньше, то вычислить обладателя сгоревшего экземпляра не составляло большого труда.

Судьба сделала вираж. Первым желанием было снова броситься к телефону, — он выпустил из виду, что телефон отключен, — разъяснить всем ошибку, обрадовать всех, в конце концов. Но он продолжал бездействовать. Ибо ноги все еще плохо держали. Ладно, завтра! Все завтра! Когда приедет спаситель. А пока отдыхать. Сквозь навалившийся сон пробилась довольно-таки свежая мысль: а, может, это знак? К тому, что надо покончить с этой мучительной жизнью... чтобы начать другую.

Утром он поднялся с трудом. Снова болела голова. Он сварил себе крепкий кофе, остатки которого обнаружил в кухонном шкафу, в аккуратно

закрытой банке, так что, когда чуть отвинтил плотно пригнанную крышку, в нос ударил крепкий запах хорошего кофе. Машка всегда любила делать запасы из дефицитных продуктов. В этом у нее был несомненный талант. Из остатков ветчины Сергей сварганил бутерброд, но съесть его не смог: тошнотворный металлический привкус во рту убил всякое желание проглотить хотя бы кусок.

Жидкий свет за окном с трудом пробивал темень ночи, казалось, так и не сможет его одолеть. Ноги повиновались плохо. И все же Сергей переборол себя.

Электричка прибыла в Ленинград по расписанию. Сергей вышел на перрон. Густое многоголосие большого города, от которого он напрочь успел отвыкнуть за время своего вынужденного отсутствия, подействовало на него угнетающе. По-утреннему оживленная толпа спешно и деловито растекалась по привокзальным улицам. Первым порывом было добраться до киоска «Союзпечати» и купить любую газету. Один из ближайших киосков оказался закрытым, к другому стояла бесконечная очередь. О, эти бесконечные, ставшие почти родными, очереди! За чем угодно... За колбасой, сапогами, газетами, в ЗАГС. Они создают величайший смысл в этом лишенном всякого смысла мире. От досады ему захотелось выкинуть какой-нибудь фортель, что-нибудь из ряда вон. Стать, например, посреди улицы и закричать: «Люди, остановитесь! Хоть на секунду! Я живой! Давайте порадуемся счастливому стечению обстоятельств вместе!»

Он передвигался с трудом. А когда развернул за углом газету, которую все же купил, почувствовал, что сейчас рухнет. Прощание с его телом состоится сегодня. В четырнадцать ноль-ноль. С его телом?! Обгорелым?! Которое стоит сейчас вот здесь, правда, на дрожащих, слабых ногах, но ведь стоит же. А как будет выглядеть то, с которым сегодня придет прощаться театр? Оглушенный, он стоял посреди тротуара, мешая людскому бесконечному водовороту, которому было совершенно все равно, кто умер вчера и кто умрет завтра. Оторопь сменилась злобой — как же они торопятся его похоронить, потом любопытством — кто выскажется проникновеннее на его похоронах (придираться он, конечно, не станет, ну и спуску, пусть не надеются, не даст), а дальше и вовсе неоправданным весельем — как давно он мечтал послать всех к черту! Смерть, по крайней мере, избавит его от калечащего душу лицемерия.

Сергей остановил первую попавшуюся машину, на этот раз такси, снова рванул на дачу. Действовать следовало быстро.

— Жди! — крикнул он молодому таксисту и, тяжело припадая на одну ногу, устремился к дому. Он перерыл весь шкаф и все же нашел то, ради чего вернулся, — старые потертые джинсы. Когда-то эти джинсы были предметом его гордости, их по случаю привез из Америки один знакомый деятель культуры. Позже Валерка все пытался перекупить их у Сергея лишь на том основании, что на его ядреной заднице они сидели якобы лучше. Смешно теперь вспоминать, как Валерка шел за ним однажды по лыжне, — о, эти занятные сдачи норм ГТО, как правило, заканчивающиеся веселой и бурной попойкой! — с трудом догнал, тяжело дыша в спину, выкрикнул:

— Слушай, Серега! Честное слово, они мне сейчас нужнее! — Сергей не сразу сообразил, о чем тот завел разговор. — Понимаешь! Мне надо на Светку произвести впечатление. И именно сейчас. Похоже, она начала сдаваться.

Из старого пыльного мешка, нежданно извлеченного на свет Божий, из множества разнообразных усов и бородок, в которых он в молодые годы с неиссякаемым энтузиазмом изображал Деда Мороза, он выбрал самые

неприметные, но все же делавшие его лицо абсолютно неузнаваемым. Что-что, а уж чужую походочку он всегда изобразит превосходно — актер, одним словом! Старая отцовская куртка, в которой тот когда-то приехал из Минска, да так и бросил на даче, ибо Сергей отдал ему свою дубленку, — такой вот нехитрый «чэйндж» состоялся, — выглядела почти прилично. Он осмотрел себя в зеркало со всех сторон и остался доволен. Сверху намотал шарф, так что тот полностью прикрыл небритый подбородок, от бороды он отказался, слишком театральный получился бы образ. Он направился к выходу, но в последний момент все-таки вернулся, стянул с верхней полки запылившуюся кепку, стряхнул пыль, глубоко натянул на голову, так что остались видны лишь его больные, несчастные глаза. После чего еще раз бросил придирчивый взгляд в зеркало, вздохнул по поводу того, что сразу угодил в две истории, сказал себе с укором, ткнув пальцем в грудь: «Вот так, как он, не делай никогда!» и с этим вышел из дома. Таксист, успевший чуток поспать, не сразу признал его. Темные очки Сергей купит в городе.

Он приехал к театру к тринадцати тридцати и остановился с газетой в руках на противоположной стороне проспекта. Серый пар меж мокрыми колоннами сгустился до черноты, небо, готовое засочиться гнилым дождем, казалось больным и состарившимся. Театр выглядел сиротливо... Неужто только потому, что отныне в нем никогда не играть герою сегодняшних похорон, со злой иронией подумал Сергей. Долгое время театр представлялся ему композиционным центром городского пейзажа. Этот самый нетипичный из всех ленинградских театров, пожалуй, можно сказать, самый московский из них, с законной приставкой «экспериментальный», — в общем, авангардный и злой театр. Он горько усмехнулся.

Все происходило буднично и скучно. Сначала он увидел Горяева — благословенного режиссера благословенного театра. Бодрой походкой, окруженный, как всегда, льстецами всех мастей и калибров, о чем-то по ходу вещая своим хорошо поставленным голосом, Сан Саныч проплыл к парадным дверям. Это был его храм, и, как ни крути, он здесь был главный священнослужитель. Он возомнил себя вершителем судеб, единственным, кто познал до конца истину. В действительности все было несколько иначе: он эту истину сам сварганил и сам же водворил в красный угол возведенного им храма. Сколько раз Сергей мечтал вцепиться Горяеву в глотку, достать его поганую душу! Но вот что интересно, как ни пытался Сергей вызвать в себе праведный гнев, внутри ничего не отзывалось ни на напыщенный вид Горяева, ни на его богатый обертонами голос. Как будто Сергей отрекся, наконец, от всего мелкого и пошлого в жизни и парил-парил над этим суетным миром.

Дальше проплыла Тер-Оганесян. Господи! Ей на печь пора, а она все ползает по сцене. Ну уйди ты, уйди — уступи дорогу молодым, им тоже нужен глоток славы и той отравы, что зовется театром, чтобы потом с этим сомнительным багажом доехать, добраться до конца комедии под названием жизнь. Так ведь нет, ни за что! Но она хотя бы отчасти соответствовала сегодняшней роли — несла скорбь, пусть и по своей уходящей жизни.

Пронеслась Ленка. Этой все нипочем. С одинаковой страстью она изобразит и великую любовь, и легкомысленную интрижку. Она и в постели такая же: как будто обнимаешь одну оболочку.

В четырнадцать пятнадцать — прямо-таки хроника дня, вот уж не думал, что доживет до такого, — к театру подъехал траурный автобус. Остро всматриваясь в лица, он сразу же заприметил Машку с Ильей. Они вышли из автобуса, Аленки, слава богу, с ними не было. За ними потянулись актеры,

которых он и по именам не всех знал, они-то и выволокли из автобуса заколоченный гроб, взвалили на плечи и понесли торжественно к парадным дверям. Откуда-то набежал народ, и Сергей пристроился в конце процессии.

В фойе Сергей обнаружил, что находится рядом с Машкой, всего в двух шагах от нее. Походка ее была легкая, как всегда, слишком женская. Могла бы в нее добавить хоть немного скорби, черт побери, хотя бы для приличия, черт побери, — подумал с раздражением он. Илья что-то тихо говорил ей на ухо, она молча кивала ему головой. Они производили впечатление на редкость гармоничной пары. В их скоропалительном, столь странном единении Сергей почувствовал для себя нечто оскорбительное. На дне души стало саднить. Ему захотелось броситься к ним, обнять сзади, рассмеяться, сказать, что он пошутил — не очень удачно, возможно, но все-таки это лишь шутка, — однако он вдруг представил их недоуменные и, ему почудилось на миг, чуть разочарованные таким поворотом дел лица и понял, что они уже смирились с его уходом. Да и как он им объяснит свой нелепый вид — эти дурацкие усы, дешевые очки и заплетающуюся походку?

Прощание было скучнейшим. С вымученным энтузиазмом собравшиеся говорили о его таланте. Звучало убедительно, но сухо и без любви. Следовало бы остановить эти торжественные надгробные речи. Ни ангельское великодушие, ни гордыня запредельная не могли заставить Сергея внимать бесчувственным монологам. А впрочем, по трезвому размышлению он сделал мгновенный вывод: всякому стоило хотя бы раз в жизни прорепетировать собственные похороны чтобы узнать, что думают о тебе друзья и коллеги. Сергей оглянулся. Отца нигде не было видно. Не удосужились сообщить. А между тем, два поезда ежедневно прибывают из Минска в Ленинград. Насти тоже не было нигде. И только когда он потянулся, хромая, поближе к гробу, он чуть не вскрикнул, столкнувшись с Настей лоб в лоб. Она стояла бледная, как полотно, чужая в этих чужих стенах, с выражением невыносимого страдания на лице... Она перекрестилась едва заметным жестом, что-то такое он уже наблюдал за нею в Никольском соборе, куда они забрели однажды, спасаясь от ливневого дождя. Увидев это, казалось бы, выпавшее из памяти движение ее тонкой руки, он снова пережил мгновенное чувство восторга — она молилась о спасении его души. На сцене это была бы сильная эмоция, актеры пользуются ею достаточно редко. Как и в Никольском, откуда-то полились сладостные в своей тоске звуки торжественного хорала. Музыка медленными наплывами входила в его больную душу, затягивала в свою воронку. Слезы сами покатились из глаз. Он оплакивал свою никчемную жизнь, актеришка, которому не хватило дара сыграть самую главную роль — своей собственной жизни.

На кладбище он не поехал. Это было выше его сил. Судьба изготовилась для прыжка в неведомое.

Вечером он лежал все на том же диване, на втором этаже своей каменной дачи и пытался осмыслить все, что с ним произошло. Как непоправимо он разладил свою жизнь! Если бы только была жива мама! Мысль о ней всегда удерживала его на краю любой бездны.

Ни одна женщина в его жизни никогда не поднималась в своей любви к нему до той недосягаемой высоты, где царила мамина любовь: любовь-заклинание, любовь-страсть, любовь-вдохновение. В этой любви было столько граней, сколько граней у самой жизни. Эта любовь и была жизнь. Но если уж быть честным до конца, то и он ни одну свою женщину не любил так, как мать. Он боготворил ее. Нет, конечно, когда он влюблялся, ему начинало

казаться, что с этим невозможно жить, — так велико было чувство и так сказочно прекрасны его избранницы. Но как только отношения вступали в более спокойное русло, он начинал замечать то, что, охваченный порывом страсти, не замечал очень долго... И только любовь к дочери могла посоперничать с любовью к матери. Но теперь у Аленки соперниц нет...

Сергей вдруг вспомнил, как совсем недавно водил Аленку к зубному, как плакала она и умоляла молодую докторшу отпустить ее с папой домой. Потом докторша решительно взяла в руки новый, сияющий холодным синим блеском инструмент, Аленка тут же вцепилась в ее сильную руку, прошептала с ужасом: «А что вы будете с этим делать?» Прилив несказанной любви к Аленке отвлек на какое-то время от грустных мыслей. Но тут он снова вспомнил события последних дней, и раскаяние хлынуло в душу нескончаемым потоком. Он выключил свет, хотя знал, что ни за что теперь не уснет.

Он пролежал час или два с открытыми глазами, когда в ночной тишине явственно различил звук приближающейся машины. Она затормозила рядом. Потом он услышал голоса: женский, жалующийся, без всякого сомнения он принадлежал Машке, и мужской, глухой, обволакивающий. Стукнула входная дверь. Сергей поднялся, на цыпочках подошел к двери своей комнаты, прикрыл ее чуть плотнее, но все же оставил небольшую щель, мало ли какой кульбит выкинет вновь судьба. Вошедшие возобновили разговор. В госте Сергей незамедлительно узнал Илью.

— Какой невыносимый, похожий на бесконечную пытку, день! — вздохнула тяжело Машка.

— Все уже позади! — мягко и покладисто отозвался Илья.

— Нет, в самом деле, ты только подумай! Оставить меня и Аленку без всяких средств. Я была уверена, что он прячет от меня кое-какие деньги. Ничего!

— Но он же не собирался сгорать заживо, — по отношению к Сергею Илья держался великодушно.

— Он даже не успел получить гонорар за последний свой фильм, — продолжала возмущаться Машка.

Илья что-то ответил, но Сергей не расслышал слов.

— Маш, ты так возмущена его поступком, словно рассчитывала всю жизнь только на него одного.

Сергей напрягся. Теперь он не слышал, что ответила Маша.

— Да ладно, главное — настоящий отец жив! — засмеялся счастливо Илья.

Кровь прилила к вискам Сергея, отбила барабанную дробь. Он ждал теперь от жизни любого поворота, но только не такого.

— Машуня, выпить хочешь? — ласково предложил Илья.

— Да, коньяку немножко! Если Сергей, конечно, все не выпил. Он держит его на втором этаже. Поднимись, пожалуйста, Илюша!

Сергей приподнялся с дивана, словно изготовился к прыжку. Еще одно слово внизу, и он разобьет окно, выскочит вон, только бы не видеть предательских рож.

— Да вот же он! Почти целая бутылка.

— Ну и отлично! Хотя довольно странно. Как-то не похоже все это на Сергея.

Воцарилось молчание. Было лишь слышно, как слабо позвякивали стаканы. Слава богу, он не стал допивать тот коньяк. А ведь хотелось.

— Ладно, давай спать! Ты очень устала.

— Да, завтра еще один тяжелый день.

И они затихли. Минут через десять он услышал их возню, их любовный шепот. Акт во всей его плотской конкретности. Они не были похожи на два

опьяненных любовью тела. И все же это было невыносимо. Словно на крышке гроба отплясывали канкан. Он не мог понять, почему случившееся открытие так убило его. Ведь это можно было предположить с самого начала.

Он лежал пластом. Не шевелясь и не дыша. Вот только сейчас он почувствовал себя окончательно и заживо сожженным. Его душа была объята голубым пламенем, в одно мгновение она истончилась до кучки серого невзрачного пепла. Сначала у него отобрали жизнь. Теперь дочь, и с этим ничего нельзя было поделать. Лучше бы он сгорел!

Когда парочка, наконец, угомонилась, он тихо поднялся, скользящим шагом добрался до двери, плотно прикрыл ее. Поправил почти на ощупь постель, оделся — благо, одежку свою он сбросил всю наверху. Никаких следов! В окно едва проникал слабый свет уличного фонаря, который включила Машка. Вечно боится темноты, словно за ней пожизненно ведут охоту. Все, что валялось на полу, кресле и тумбочке, мягко сгреб в матерчатую сумку, туда же опустил бутылку из-под водки, вылив остатки в горшок под раскидистой пальмой. Очки с усами засунул в карман. Еще раз в темноте, подобно зоркому зверю, всмотрелся в очертания комнаты, бросил мимолетный взгляд в ржаво-дымчатое зеркало — последнее антикварное приобретение Машки, как можно тише открыл дверь на балкон, она все-таки скрипнула, но никого, по-видимому, не разбудила. Он вышел наружу, плотно прикрыв за собой балконную дверь, глянул вниз — метра два с гаком до земли будет. За счет перепада высоты на участке, второй этаж оказался значительно ниже, чем мог бы быть. Он выбросил сначала сумку с барахлом, затем перелез через балконное ограждение сам, набрал в легкие воздух и — у-у-ух! Удар оказался чувствительным, но не таким страшным, как если бы он упал на ровную твердую поверхность. Он скатился по склону, прямо к границе Машкиного розария, выругался зло, уколовшись шипами необрезанной розы. Нога слегка подвернулась, но когда Сергей все же нашел в себе силы приподняться, понял, что передвигаться в состоянии. К тому же им двигала ненависть.

Он побрел полем, наугад — до следующей станции. С чувством вновь обретенной ясности. В одно мгновение жизнь превратилась лишь в воспоминание. В каком-то смысле театральное искусство, то, чем он занимался все свое сознательное время, и есть воспоминание о жизни. О чужой жизни. Его же жизнь в мгновение ока свернулась в некую черную дыру, даже не дыру, а точку в области груди, вобрав в себя весь космос и бездну прожитого времени... Актерство — в общем-то, безумная вещь, опасное балансирование между Богом и Дьяволом. На театральных подмостках актеры с вдохновением возводят вымышленный мир и вовлекают в этот обман зрителей — чужих, далеких, к которым всегда испытывают толику презрения. Но при этом вовлекаются в обман и сами.

Мария и Илья... Непостижимый союз... Театр, будь он неладен, становится шведской семьей, как только образуется новая пара. Не будет преувеличением сказать, что в театре все в той или иной мере успели узнать друг друга. И только юным влюбленным, пережившим свою первую ночь, предстоит еще взойти на лобное место, на всеобщее обозрение, для вынесения судьей приговора их чувствам. Приговор вынесет безжалостное время, которое всегда против любви, которое превращает все в тлен... В конце концов, это не его дело, как Машка вмонтирует Илью в свою жизнь. Вот только теперь он увидел, какая великолепная она актриса, как мало отличалась ее игра от истинной ее сути... Все правильно, мы все здесь чужие, случайные. Все кажется обреченным на провал. Теперь он полноправный член клуба рогоносцев.

Матерчатую сумку бросил в грязную канаву. Ему казалось, если бы он двинулся обычным маршрутом, то был бы тут же пойман, опознан и снова заживо сожжен. Мир отторгал его...

Землю подморозило. Было неудобно идти по колдобинам, по окаменевшим, перепаханным под зиму бороздам, но он хотя бы не увязал в грязи. Приближался декабрь, снега не было, все вокруг выглядело убого, и даже жидкий свет луны не придавал пейзажу ни малейшей привлекательности. Казалось, Сергей не только разучился видеть прекрасное, но и это прекрасное навсегда растворилось в том дне, когда душу его унес торжественный хорал.

Илья уже практически засыпал, когда услышал, или почудилось ему, глухой хлопок, как если бы со второго этажа сбросили тюк с тряпьем. Он вздрогнул во сне, сознание на секунду вернулось. Рваные порывы ветра то и дело доносили не ясные в ночи звуки, может быть, это рухнул соседский забор или слабо закрепленная подпорка для Машиных роз. Сергей все делал по хозяйству кое-как, за что частенько получал от Маши. Ладно, утром он все проверит, а теперь спать.

Но снова заснуть оказалось не так-то просто. Рядом он ощущал тихое, но частое дыхание заснувшей Марии. Сон ее был беспокойным, тело вздрагивало, с губ вдруг сорвался легкий стон.

Может быть, это и к лучшему, как ни кощунственно это звучит, что все случилось именно так. Когда-то должна была наступить развязка этим перекрученным, болезненным, опасным отношениям. Да, он любил эту женщину той невнятной любовью, что приходит после череды странных, порой трудно поддающихся объяснению поступков. Просто случается однажды вечер, когда ты одинок, беззащитен перед жизнью, а рядом непостижимым образом оказывается такое же одинокое существо, в той же мере нуждающееся в человеческом участии, и тогда рок бросает вас в объятия друг к другу... И все-таки больше, чем Марию, Илья любил себя и свою выдающуюся роль в этой истории. Пусть хотя бы таким бесславным образом он отомстит Сереге, своему приятелю и извечному сопернику.

Как будто ничего не предвещало феерической карьеры такой заурядной личности, каким виделся ему Серега во время учебы в институте театра, музыки и кино. То ли дело он сам — профессорский сын, интеллектуал и эрудит. Ему прочили большое будущее. И вот на первых пробах в кино, куда они примчались всем курсом, вдруг выяснилось, что как раз глубокий интеллект мешает Илье до конца раскрепоститься, раскованно и сочно изобразить плебейскую страсть, сыграть взрыв губительных чувств. Серега же преобразился на глазах, он раздевал героиню так, будто вот только сейчас порыв безумной любви охватил его. Надо ли говорить, что участвовавшая в сцене юная актриса чуть не потеряла контроль над собой. Когда же настал момент сыграть коварство, все увидели вдруг, что новоявленный актер пришел в этот мир изначально с подлой душой, а иначе откуда бы ему знать, что чувствуют преступники и палачи в момент расправы с жертвою? Глядя на Серегу, Илья пережил потрясение. С этого момента он возненавидел Серегу раз и навсегда, хотя в институте они слыли друзьями. Однако, как человек порядочный и высокообразованный, Илья не мог поверить в то, что он не любит Серегу за талант.

Дальше хроника событий была такова: они втроем — Илья, Серега и Маша — дебютировали все вместе в одном весьма симпатичном спектакле в старом классическом театре, куда были приняты чуть ли не все курсом после окончания института. За Машей тянулся шлейф многочисленных

побед. Она кружила голову всякому, кто рано или поздно подпадал под ее обаяние. Тонкая, высокая, с длинными узкими пальцами, с изломанной линией бровей, она была капризной и непредсказуемой, словом, очень красивой. Она, как вихрь, ворвалась в тот замшелый театр, где говорить полагалось лишь шепотом, чтобы, не дай бог, не потревожить тени великих. Казалось, она должна была запасть на умного, утонченного Илью, а она враз оказалась в постели Сереги.

А Серега будто с ума сошел. Он буквально уловил аромат своей женщины. Что-то происходило между ними, некое таинство на уровне запахов и предчувствий. Много позже Серега стал понимать, — так во всяком случае виделось Илье со стороны, — красивая жена — это непосильное бремя. Если к тому же и умная, то это вообще тяжелый крест.

В первые годы в театре, том самом экспериментальном театре, куда они дружно перешли, отработав в классическом положенные два года, происходило много веселых событий: капустники, выездные концерты, гастроли по стране. Илье удалось задавить в себе восторг перед красотой и восхитительной естественностью Марии и постыдную зависть к талантливому сопернику.

Потом была волшебная поездка в Крым, в Планерское, где молодая актерская братия, сбившаяся в дикую стаю, бродила по горам, совершала дальние заплывы, без конца спорила о поэзии. Дух Максимилиана Волошина витал над бывшим Коктебелем, бередил их восприимчивые натуры. Словом, они вели богемную жизнь, наслаждались морем, суровой красотой Крыма, еще не растраченным в пьянках здоровьем, веселым задором, наконец. В последний вечер Машка поссорилась с Серегой — они уже были мужем и женой. Машка вообще любила ссориться с Серегой. Илья полагал, что радость примирения для нее была слаще всего на свете. Однако Серега в тот вечер мириться с ней почему-то не стал, забурился с Эдькой в прибрежный бар и напился там до чертиков. Машка, потерянная и несчастная, сидела на пустынном берегу, на облезлом лежаке, и смотрела, смотрела на закат, словно надеялась увидеть там некий знак. Илья тихо подошел сзади, сел рядом. Маша даже не обернулась, хотя Илья мог поспорить, она знала, что это был именно он. Они сидели молча, молча смотрели на то, как солнце окончательно ушло за море, как исчезла золотая дорожка, ведущая к горизонту. Потом они долго слушали плеск набегающих волн, звук перекатывающейся прибрежной гальки, и было столько обоюдного понимания и сочувствия друг к другу в их молчаливом созерцании мира, что он мог поклясться: когда-нибудь она отблагодарит его за это...

Сергей ковылял до утра. Потом сел в первую электричку, доехал до Витебского вокзала и отоспался на грязной скамье прямо в зале ожидания. Там же выпил какой-то бурды под названием «кофе с молоком», проглотил черствую булку. Привычным жестом провел рукой по подбородку, почувствовал жесткую щетину. Ну да, бывает. Обычное дело. Все на месте, только нет больше жизни. И вот теперь, когда он в сотый раз за последние три дня со всей очевидностью осознал, что все потеряно безвозвратно, осознал до пульсирующей пустоты, до обморочной невесомости, появилось последнее желание — увидеть дочь. Чувство глубокой вины формирует родительскую любовь.

...Сергей просидел на скамейке — ближайшей к детской площадке, но по другую сторону забора — не менее получаса, прежде чем детей вывели на прогулку. Аленка брела за руку с вертлявым Ивановым, их пара была

последней. Малышка, как всегда, была в очках, в своей розовой курточке с белой опушкой и в белой вязаной шапочке. Машка любила ее наряжать. Было во всем ее детском облике что-то щемящее, до боли родное, захотелось тут же ее приласкать и погладить, прикоснуться своей щекой к ее нежной щечке. И обязательно сказать: «Все будет хорошо, Аленка! И очки ты когда-нибудь снимешь. И непременно вырастешь красавицей!» Вот и сейчас спазм перехватил дыхание. Не хватало еще разрыдаться.

Аленка брела с ведерком в руках. У песочницы конопатый Иванов подставил ей подножку, и она растянулась на тропинке, ударившись виском о деревянную перегородку. Ведерко со звоном откатилось в сторону. Сергей чуть не взвыл от бешенства. Он до боли сжал кулаки и зарычал. Первым порывом было перемахнуть через низкий забор, дать оплеуху Иванову, наорать на воспиталку и обнять Аленку. Но он тут же вспомнил, что его как бы уже и нет на белом свете. И снова кольнуло: «Что же я натворил!»

Воспиталка подбежала к Аленке, подняла ее, девочка не издала ни звука. Так бывало всегда. В этом была такая взрослая, такая глубокая способность противостоять обидам и всему миру, что он только диву дался в очередной раз — откуда это. Машка была совсем иной — шумной, порой вздорной, эмоции хлестали из нее, как вино из продырявленного бурдюка.

Сергей поднял ворот отцовской куртки, вдавил шею в плечи, ужался — то ли от горя, что жизнь сотворила с ним такое, то ли от ставшего уже привычным нежелания быть узнанным, — соскользнул со скамейки в узкое безжизненное пространство между серыми домами-колодцами и тяжелой походкой неудачника поплыл в неизвестном направлении. В одно мгновение он почувствовал себя состарившимся, словно человек, вышедший из летаргического сна. Перед ним открылась бездна — бездна свободного времени, наконец, просто свободы, и что делать с этим днем, да и со всей своей вымороченной жизнью он совершенно не знал.

Еще вчера он бредил свободой. Он представлял себя где-нибудь на берегу теплого моря — в благословенном одиночестве, непременно в белых одеждах, с карандашом и бумагой в руках, сочиняющим сценарий — лучший сценарий, который когда-либо держал в руках. И вот теперь, когда перед ним лежала вечность, бери, казалось бы, в руки все, что хочешь, и дерзай, — ни иронии тебе Машкиной, ни едких замечаний Горяева, ничего такого, мысль о чем всегда расхолаживала, — от открывшихся горизонтов, практически безграничных творческих возможностей радости не было никакой.

Три дня Сергей протаскался по вокзалу. Самая главная правда его жизни заключалась теперь в том, что в данный момент времени он сидел в зале ожидания, насквозь провонявшем запахами дешевой колбасы, и не имел ни малейшего представления, как жить дальше. Первую мысль о том, чтобы завалиться к Ленке, он начисто отмел — не для этого он городил весь сыр-бор. В конце концов, это было бы просто пошло, а вот пошлости он не терпел. Мысль о Насте он развивать не стал. Махнуть к Антону или Тимуру в принципе можно было, но тогда надо было бы иметь хоть какой-то план дальнейших действий, но плана как раз не было. Было лишь желание забуриться куда-то, затаиться, испить всю чашу скорби по самому себе, докопаться до подлинного в себе. К тому же он понял, что объяснять что-либо Антону, Тимуру или еще кому-то третьему он не в силах, к тому же, что объяснять, он не знал.

Деньги стремительно заканчивались. Очень хотелось попасть в теплый дом, принять ванну, выпить горячего чаю с яблочным пирогом, лечь в чистую постель.

Как много вещей существует на свете, которые не нужны. Простые вещи — самые драгоценные. Только потеряв все это, начинаешь понимать, что тепло, верность, твоя семья и твой ребенок, сказки, рассказанные ему на ночь, вот этот вот пригрезившийся яблочный пирог со стаканом горячего чая, друзья рядом, с которыми всегда есть о чем перемолвиться словом и которые никогда не предадут, а еще здоровые руки, ноги, а главное — голова и обязательно, чтобы впереди маячил свет надежды, — только потеряв все это, начинаешь понимать, что это и есть жизнь. Он лишился всего бездарно и непоправимо. Еще недавно он жаждал некоего внутреннего перерождения. Нужна была встряска, солнечный удар, неожиданная судьбоносная встреча, поздний ребенок или, наконец, катастрофа в личной жизни. И вот — на, получи, о чем грезил пьяными ночами! Поди теперь воспользуйся открывшимися возможностями... Трудно себе признаться, что ты уже не тот, что десять и двадцать лет назад?! То-то! В общем, допрыгался.

Рядом коротала ночь семейка: интеллигентного вида супруги, их сынок-раздолбай тридцати с лишним лет и престарелая мать кого-то из супругов. Старуха смутно напоминала чей-то образ. Сергей напряг память. Ну да, конечно! Бабу Соню! Он мгновенно вспомнил подругу своей бабки. Когда-то считалось, что она его очень любит. У нее был цепкий, трезвый ум и острый, живой язык. Ей, должно быть, сейчас лет восемьдесят пять, а то и больше, если, конечно, она еще жива. Он даже разволновался, вспомнив о старухе. Славная была дамочка. Актриса. Из тех, что служили искусству. Не чета всем этим выскочкам, готовым на любую уловку, лишь бы вырвать из рук соперников очередную роль. А в тех была величавость, уважение к слову. Они и говорили иначе. А что если попробовать ее разыскать?! Да и приютила бы, наверно, старуха ненадолго, не выгнала бы уж точно. Лишь бы жива была. Сергей смутно помнил уютный дворик на улице Декабристов, он даже припомнил расположение квартиры — первая налево, и даже подъезд вдруг отчетливо выплыл в памяти. Вот только с этажом он был не уверен, но вроде бы последний.

— Ленчик, ты не мог бы дать мне чего-нибудь сладенького, — канючила старуха, прародительница всей этой странной семейки, затерявшейся в ночи.

— Мама, через полчаса мы будем в вагоне, подожди еще чуть-чуть.

— Ленчик, я хочу сейчас. Только не давай мне конфету с вафлей. Я конфеты с вафлей отродясь не ем.

Сергей не стал дожидаться развязки. Он потащился к метро. Снова болела голова...

— Кто там? — раздался старческий голос.

Неужели жива! Сердце радостно забилось.

— Баба Соня! Открывай! Свои! — едва справившись с комком в горле, выдавил Сергей.

— Кто свои? — переспросил испуганно голос, но дверь все же отворилась.

Из темного нутра квартиры светились любопытством линялые глаза. Кожа вокруг глаз была вся в гусиных лапках, уголки губ опустились. Волосы были аккуратно уложены, словно хозяйка кого-то ждала. Старуха выглядела пристойно.

— Сержик! Неужели ты?! — голос завис на радостной ноте.

Сергей подивился ее памяти и ее враз помолодевшему голосу.

— Собственной персоной, как видишь.

— Так ведь тебя на днях похоронили?! — удивилась как будто она.

— Значит, похоронили не меня, — Сергей попытался подавить вспыхнувшее вдруг раздражение.

— Знаешь, я почему-то так и думала, что этого не может быть. Ты просто подурачил всех немного. Такие таланты не погибают.

— Еще как погибают, баба Соня! Еще как!

— Когда подрастешь — поймешь: истинный талант живет долго, — философски изрекла старуха. Она явно что-то имела в виду.

— Ты это о себе, что ли? — спросил он со смешком.

— Пусть бы и о себе. А где твои пышные кудри, мой милый мальчик?

— Как видишь, откудрился.

— Поверь мне, милый Сержик, ты и без кудрей хорош.

— Тебе — верю! — с изрядной долей иронии произнес гость. — Баба Соня, ты не обижаешься, что я на «ты»?

— Сержик, ты ведь и мой внук, — выдохнула она радостно. Потом добавила — уже с иной интонацией: — Знаешь, осталось лишь три человека, что говорят мне «ты». Это так больно, что некому сказать: «А ты помнишь?» — и она по-старчески горестно встряхнула головой.

— Баба Соня, можно попросить тебя об одном одолжении?

— Все что хочешь!

— То, что я жив, никто не должен знать. Ни одна живая душа. Это Тайна. Пока.

— Для тебя все что угодно. И прости меня, старую дуру! Ты, наверно, голоден со дня своих похорон. Ой, Сержик, я говорю глупости, я знаю. Просто я счастлива видеть тебя. Живым и невредимым. Ведь ты и мой внук! — повторила она снова.

Баба Соня шаркающей походкой поплелась на кухню разогревать чайник, Сергей двинулся за нею. В открытом холодильнике краем глаза он жадно зацепил кое-какие припасы: творожок, взбитый со сметаной, начатый куриный рулетик, что-то в старинной суповнице. Это сразу настроило на мирный лад. Конечно, кухня была грязновата, но все-таки в ней было тепло и славно.

— Сержик, я теперь ем совсем мало. Но гости всегда что-то тащат в дом. Хотя знают, как неприхотлива я стала. Мне бы только молочка да мягкого печеньица. А они то колбаски принесут, то конфет шоколадных. Где они все это добывают — ума не приложу. Да и вредно мне это.

— Да все там же, баба Соня, все там же и добывают — со служебного входа маленького магазинчика. И в маленьком магазинчике есть бо-о-о-льшие ценители искусства, — с сарказмом процедил Сергей.

— Вот давеча ваш Сан Саныч приходил.

Сергей напрягся, вопросительно взглянул на бабу Соню.

— Да-да, приходил ваш Горяев.

— А что козлу этому вонючему вдруг у тебя понадобилось?

— Да заходит он иногда поговорить о «высоком». Все хочет услышать что-то еще о старом театре, о Станиславском, например. Но все больше о Мейерхольде, ведь он считает себя его наследником. Пытается вызнать какой-то особый секрет, ну я и рассказываю ему подробно о том, что... Да ты меня не слушаешь вовсе! Ты уже спишь.

— Баба Соня, прости! Я не спал толком со дня похорон.

— Сержик! Как же это случилось! Милый Сержик! Любаша бы сошла с ума! Да и Лиза умерла бы с горя. Они всегда ревновали тебя ко мне.

— Уважаемая Софья Николаевна, давайте не будем тревожить их души!

Утром Сергей с трудом разлепил свои пластилиновые веки. Брезжил рассвет, серый, городской, безрадостный. Надо было подниматься. Сделать какую-никакую зарядку. Но к этому занятию всегда было стойкое отвращение, а теперь, когда тело болело и ныла душа, и подавно не хотелось напрягаться. Господи, как непоправимо, как бездарно распорядился он жизнью. Из всех возможностей изменить ход вещей, он выбрал наихудшую.

В самом начале актерской карьеры, когда не было никакой работы, а в театре шел один-единственный спектакль с его участием, Серега был рад любой подработке.

— Слушай, Серега! Тут такое дело! — прокричал в телефонную трубку Петька Корзун. — Ничего не слышно? Так я ж с Театральной звоню, из автомата. Трамвай только прогромыхал. Сейчас лучше? Слышь, в детдом в Комарово надо слетать на утренник, изобразить Деда Мороза со Снегуркой. Я, конечно, и Зойку мог бы позвать, но тебя, дуралея, жалко. Тридцать рубликов на рыло обещали, да мешок конфет.

— Так уж и мешок?

— Ну не мешок, так мешочек на килограмм, думаю, отжалеют.

— А я тут причем? Неужто хочешь мне Деда Мороза уступить?

— Серега, если тебя выбрить, как подобает, да намалевать, вполне за Снегурку сойдешь. Парик у меня есть, кстати, классный — на практике спер. А кривые ноги твои под юбкой спрячем. Айда!

И Серега, не долго думая, сдался.

На последнюю дообеденную электричку едва успели. Вбросили тюк с костюмами, сами уже на ходу вскочили в последний вагон. Электричка была грязная, холодная, противно громыхала ржавыми железками. Пока ехали, сочиняли сценарий.

— Ты, главное, не теряйся и не забывай, что ты баба, то есть девица. Будешь у меня на разогреве работать. Публика, сам знаешь, какая. Дети — сироты, так что ты с ними поласковее, — давал последние наставления Петька. — Черт, помаду для тебя у Зойки взять забыл. Ладно, у какой-нибудь тетки одолжим. Ты только крыльями своими сильно не размахивай, да и говори понежнее.

В общем, пока ехали, Серега сто раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. Но уж очень привлекательным выглядело вознаграждение.

— А чего ты сам не вырядился Снегурочкой? — со смешком проговорил Серега.

— Слушай, это ж меня позвали! Значит, руковожу процессом я.

— Логично, — сдался Серега.

Как только они переступили порог детского дома, все страхи и сомнения отпали. Перед ними шеренгой стояли разнокалиберные дети всех возрастов и оттенков, их роднило одно — они были отвержены этим миром. Сереге вдруг захотелось хотя бы на вечер сделать всех счастливыми. Молодым людям зачастую мнится, что мир вокруг задыхается от счастья, вступая с ними в диалог, касаясь взором их прекрасных лиц, заражаясь их энтузиазмом. Даже сам факт их существования должен восприниматься окружающими с восторгом. Ибо именно они находятся в центре Вселенной, а вокруг зарождаются миры, завихряются людские потоки, завиваются божественные складки замыслов. Вероятно, в своем большинстве актеры так и остаются вечно юными в душе, и самый непреодолимый соблазн актерского труда — потакать всеобщему восторгу. И только с годами самые мудрые из них начинают шире и пристальнее всматриваться в пространство вокруг.

Детей же захватить в свой плен всегда бывает непросто, тут надо перевоплотиться в чародея, извлечь из своего мешка на свет Божий три огнедыша-

щих головы Змея-Горыныча, полную яств скатерть-самобранку, всех усадить на ковер-самолет и унести в дали дальние.

Так или иначе, в тот день Сергей впервые почувствовал в себе дар Божий. Он выудил со дна своей памяти все: все свои шутки, песенки, байки и даже лихие пляски, он на какой-то миг забыл даже, что за дверью ждет его вызова Дед Мороз. Веселье приняло плясовой характер, все скакали вокруг елки, включая самых маленьких детей и их не слишком счастливых воспитателей. Последними к хороводу присоединились поварихи в пышных колпаках и толстая медичка в белом халате, закрутившимся сзади и по бокам, как лепесток увядающей розы. Петька за дверью нетерпеливо напоминал о себе тяжелым стуком дубового жезла. Снегурочка была столь великодушна, что и Деда Мороза, наконец, включила в не прекращающийся ни на минуту карнавальный вихрь. Четыре часа они плясали вокруг елки, это был невиданный марафон, никогда больше он не веселился так славно. Серега и не заметил, что уже больше часа от него ни на шаг не отставал смешной мальчуган — рыжий, с оттопыренными ушами, все лицо в веснушках. Когда наконец, после вручения подарков, обессиленная Снегурочка рухнула на ближайший стул, который тут же подозрительно зашатался под нею, но все-таки устоял, рыжий мальчишка спросил его вдруг:

— Дядя, тебя как зовут?

— Снегурочка.

— А впозаправду?

— Серега.

— А можно я буду считать тебя своим другом?

— А почему нет? Валяй! Тебя-то как звать?

— Тимофей!

— Вот и отлично, Тима!

Серега с Петькой замертво свалились на маты в спортивном зале интерната после того, как распили бутылку водки, выданную в качестве премии заведующей, и заели ее двумя мешками конфет.

Утром их немного подташнивало, но настроение было замечательное. Их проводили на вокзал дружно всем детдомом. Тимофей в последний момент сунул ему в руки записочку. В электричке Серега полез в карман за сигаретами, наткнулся на записку, вспомнил, вытащил ее. «Дядя Серожа», — писал малыш корявыми печатными буквами, — «ты такой сильный и виселый у меня такой папка я его никагда нивидил я расту и буду как дядя Серожа...» Этот рыжий мальчишка еще долго преследовал его по жизни. Когда было особенно тошно, хотелось рвануть в тот детдом и забрать Тимофея к себе. Будто малыш так и остался ждать его — навсегда в том нежном возрасте, с теми же рыжими веснушками и оттопыренными ушами.

Он давно догадывался, что-то в его жизни не так. В ту пору он еще любил театр, любил лицедействовать, он впадал в состояние блаженства, когда роль была его, когда он чувствовал, просто знал, — до покалывания в пальцах, до холодка в шейном позвонке, — что она у него получилась. Потом, когда щенячий восторг по поводу того, какой он талантливый, красивый, умный, поулегся, стал все чаще выплывать вопрос: а что это они так хлопают, и когда он в ударе, и когда откровенно халтурит, они хлопают с одинаковым энтузиазмом. Потом случались вообще обломы: он забывал текст и повторял монолог дважды, и это сходило с рук. Бывало, он играл чуть-чуть навеселе, и имел тогда просто бешеный успех. Но самая крамольная мысль закралась значительно позже. Вся их актерская братия, считалось, несла в массы свет, но стали меняться времена, и они снова несли свет, но это был

уже иной свет, выхватывающий в ночи иных богов и иные истины, а зрители по-прежнему рукоплескали им. Но дело было даже не в этом. Просто в обыденной жизни все эти рупоры правды, глашатаи свободы, к которым он причислял и себя, мельчали, блекли, их истины стирались в труху, и все больше закрадывалось сомнение: а правильно ли это, правильно ли продолжать поклоняться идолам, которым ты уже не веришь. Он боялся спросить себя: нравственно ли? Он давно не произносил громких слов, он бежал от всякой идейной навороченности, но это ничего не меняло. Сам собой напрашивался вопрос: как скоро он со всем этим покончит.

За стеной заскрипели половицы. Баба Соня, видимо, поднялась и начала утреннюю разминку. Сергей услышал звук льющейся из крана воды, потом зашумел чайник. Чуть позже старуха заглянула к нему в комнату.

— Сержик! Не спишь?

Сергей не отозвался.

— Ну, ладно-ладно. Поспи, малыш! Не буду беспокоить. Ой, нафталином в комнате пахнет. Надо будет сказать Франческе, пусть тщательно все проветрит.

Вот беспокойная старуха! Еще тут только Франчески не хватало. Где она откапывает их, из каких карманов достает, — всех этих своих Франчесок и Изабелл. Надо будет сказать ей, чтобы дала всем расчет.

Он снова задремал. На этот раз явилась Машка. И не той, затянутой в шелка, что сначала соблазняла на сцене его героев, а потом незаметно и его самого, а резкой и раздраженной, не довольной жизнью, режиссерами, подругами-конкурентками. Да и какие могут быть в театре подруги?! Вечно она была на взводе, вечно готова дать отпор всякому, кто усомнится в неповторимости ее таланта. О, он прекрасно ее понимал! В театре трудно иначе. Достоинство здесь — непозволительная роскошь. Иметь достоинство может позволить себе Люська — прима местного масштаба. Ей пришлось через многое в жизни пройти, чтобы стать стабильной. Теперь другим приходится раскланиваться с нею, интересоваться здоровьем ее болонки, обсуждать темы, которые волнуют только саму приму: например, в чем секрет ее неувядаемой красоты, или почему так трудно растить сыновей в одиночку... да, собственно, и так все ясно, вы правы, мужчины такие бесчувственные и неблагодарные, они совсем из другого теста... А чуть более независимый в сторону примы взгляд, чуть не та степень восторга, и вся карьера летит к черту — роль уходит, вместе с ней молодость, надежды, жизнь. Господи! Кто выдумал театр?! Это врата ада... Это чистилище...

Сергей с наслаждением сделал первый глоток утреннего кофе, когда раздался телефонный звонок.

— Это Франческа, — радостно выдохнула баба Соня, зажав ладонью конец трубки.

Сергей поцеловал ее в щеку, процедил в ухо:

— Баба Соня, дай ей расчет или, на худой конец, отпуск. Не стоит ей доверять нашу тайну.

— Ах да, Сержик, я забыла, прости старуху!

В одиннадцать она начала собираться.

— Ты куда? — он подозрительно взглянул на нее.

— За молоком и булочками для тебя.

— Ты меня извини, баба Соня! За причиненные неудобства.

— Да что ты! Я даже рада. И мне веселей. Да и Любаша с Лизой будут мне благодарны.

Старуха явно начала заговариваться.

Ходила она долго, перемещалась медленно. Сергей решил привести себя в порядок, хотя бы побриться. Двинулся было в ванну, но вспомнил, что бриться, собственно, нечем. Глянул на себя в зеркало и ужаснулся: перед ним стоял старик. Лицо было жалким, взгляд затравленным, морщины избороздили чело. Так выглядит свободный человек! — с горькой усмешкой подумал он.

Сергей прошелся вдоль комнаты, выглянул в гостиную. В Сониных чертогах не хватало пространства. Книжные шкафы были доверху забиты книгами, заставлены многочисленными фотографиями. У бабы Сони была богатая на знакомства и встречи жизнь. Все это не вызывало сегодня в нем ни малейшего отклика, словно в очередной раз он знакомился с музейными экспонатами, до блеска отполированными взглядами равнодушных посетителей. Волею судьбы он и сам превратился в экспонат — этакую окаменелую древность. Сергей вытащил первый попавшийся томик из книжного шкафа, полистал. Это был Дюрренматт. Странное дело: как много истовых умов прошествовало по земле, и среди них личности неоспоримо гениальные, у них многому можно было бы поучиться, да вот только беда — когда ты действительно нуждаешься в помощи, выясняется, что как раз в твоем случае все они бессильны. Он отложил книгу.

Зазвенел входной звонок. С рысьей устремленностью Сергей подался к двери, но тут послышалось энергичное скрежетание ключа — это была явно не баба Соня. Пришлось срочно ретироваться в дальнюю комнату и спрятаться за дверью. Лоб покрылся испариной... Прошуршали легкие шаги, что-то громыхнуло, потом возникла долгая пауза, так что он уже приготовился обнаружить себя со словами оправдания — так, на всякий случай, — или шутки, в зависимости от впечатления, которое они с гостьей произведут друг на друга, но снова почудилось порхание, а потом резкий хлопок закрывающейся двери. И тишина... И лишь ощущение сухого жара ужаса. Он слышал, как пульсирует кровь в висках, как по телу волной прокатилась дрожь.

Через час появилась баба Соня. Она тяжело дышала, еле передвигала ноги. Стало ясно, что она совершила ради милого Сержика настоящий подвиг. Он ее буквально вволок с сумками в гостиную, помог снять верхнюю одежду. Балахон был какого-то немыслимого покроя и больше походил на древние одеяния римлян.

— Баба Соня, в каком веке носили такие формы?

— Сержик, я немного отдохну, потом мы с тобой пообедаем. Я купила курочку — тебе нужен бульончик, ты очень бледный. Любаша расстроилась бы.

— Баба Соня, тут в твое отсутствие был совершен набег на апартаменты.

— Это, верно, Франческа.

— Какая еще Франческа? — снова удивился он.

— Правнучка. Я тебе говорила о ней.

— Баба Соня, не заговаривайся! Откуда у тебя правнучка? Ты ведь и замужем никогда не была.

— Сержик, я устала. Мы с тобой после поговорим. А сейчас отдыхать!

В три начало темнеть. Сумерки наползали, как старая больная летучая мышь. В долгую зимнюю пору Ленинград едва выносим своим мертвым светом и ранними сумерками. И все-таки света он боялся еще сильней. Он не мог ни на чем сосредоточиться, и это пугало его. Словно мозг уже ничего не фиксировал. Словно ползучий, гадкий, перекатывающийся клубок мучительных мыслей, вернее, их обрывков, стал единственным продуктом физиологического процесса, то вспыхивающего, то затухающего в его больной голове. Словно все, что доселе сверлом вбуравливалось в черепную коробку,

окончательно разрушило способность логически и ясно мыслить. Он думал об Аленке. Он хотел задержаться на этом теплом лоскутке своей прежней жизни, но тот ускользал все дальше.

Потом почему-то вспомнилась Ленка. Вот о ней вспоминать совсем не хотелось, но она садняще напоминала о себе: своим незабываемым смехом, в котором зазывное, загульное, запредельное переходило в прекрасное, преодолимое, пресыщенное, премерзкое. Потом наступал отлив, когда обнажались все эти голыши прибрежного дна, они мгновенно высыхали, картинка становилась безжизненной и вовсе не такой, чтобы долго держать ее в памяти. Все было мелко и убого.

О Насте думать не получалось вообще. Он просто не дотягивал до ее планки. Никогда. Рядом с нею он чувствовал себя обманщиком... Словом, он давно и безнадежно запутался в своих женщинах.

— Сержик, иди скорее сюда. Тебя снова показывают.

Он не отозвался. На себя смотреть не хотелось.

— Сержик, ну что ты тянешь?!

Через минуту она воскликнула снова:

— Господи, Сержик, ты был гениальным актером! — она запнулась. — То есть, я хотела сказать... ты и есть гениальный актер. Прости меня, старую дуру.

— Да перестань ты извиняться каждую минуту! Я не обиделся. Все равно все сдохнем!

— Кажется, Любаша успела увидеть тебя в этой роли.

— Баба Соня, ты никогда не вспоминаешь мою мать! Все только бабку...

— Ну, отчего же! Я всегда обожала Лизу. Но даже, когда она была маленькой, я не завидовала Любаше. В молодости я мечтала только о сыне. Да и Любаша была помешана на тебе.

— Почему ты не родила? У тебя ведь были романы?

— Ах, Сержик! Не береди душу! Это один такой большой грех на всех актрис... Мы боимся потерять лицо, талию, шарм. Правда, теперь молодежь стала смелее, нахальнее, но это ровным счетом ничего не меняет. Ой, взгляни на экран! Я всегда хотела иметь такого сына, как ты... Ты не играешь, ты — живешь. А как я люблю этот твой отрешенный взгляд! — и она снова вперилась в экран. — Жаль, я почти ничего не вижу. Но все отлично помню. Нынешние думают, что можно служить двум идолам: театру и своему ребенку, — она продолжала развивать какую-то давнюю свою мысль. — Театр этого не прощает. Театр принимает избранных. Театр принимает тех, кто во имя искусства готов продать душу дьяволу. К тому же жизнь актрисы изначально порочна.

Сергей не успевал за ее мыслью. Она скакала с предмета на предмет, с оценки одного явления на другое.

— Актриса должна вызывать вожделение в сердцах многочисленной публики — и мужчин, и женщин. А это уже противно Богу.

— Ты заговорила о Боге?

Баба Соня не слушала его.

— Вот ты говоришь о моих романах. Самый волнующий свой роман я пережила в жизни с женщиной. Со зрительницей. Я никогда не видела ее, но получала от нее письма. Тонкие, умные, восхитительные письма. Такой точной оценки, такого понимания природы моего таланта, — а ты ведь знаешь, я гениальная старуха, — такого восторга передо мной не выказал ни один мой любовник, ни один поклонник.

— Баба Соня, ты уверена, что хочешь дальше мне об этом рассказать?

— Вот вы все нынче испорченные, развращенные. Ведь я тебе сказала, что никогда не встречалась с нею. И иногда жалею об этом.

— Но ведь...

— Молчи! Не оскверняй свои уста! — выдохнула старуха.

— Значит, не будем тратить слов. Что ж, я рад, что мы так быстро научились понимать друг друга. Хотя порою искренность запутывает нас куда сильней. Ведь можно во многом признаться, не так ли, но так и не открыть самой главной своей тайны.

— Мы говорим многое, что в данный момент является правдой, — неожиданно согласилась старуха. — Правильной правдой, — зачем-то добавила она.

— Наша честность, наше желание казаться искренними — это лишь завуалированная игра с неправдой, чтобы как можно глубже спрятать наше подсознательное стремление выглядеть прилично в любой ситуации. Получилось не совсем стройно, но деваться-то все равно некуда.

— У тебя особый дар к переворачиванию смыслов. Я ничего не поняла. Нельзя повторить чужой бред. И не надо носиться со своими обидами и несчастьями как с писаной торбой, — грубовато заявила она и снова уперлась взглядом в экран. — Ой, Сержик, до чего же ты здесь хорош! Ты искришься, как бенгальский огонь. Иногда я завидую твоей Машке.

Сергей не стал продолжать разговор. Прихватив свежую «Литературную газету», он удалился в свою комнату. Сколько раз он давал себе слово никогда не пускаться с женщинами в философские разговоры.

Поздно вечером зазвонил телефон. Баба Соня едва доковыляла до него.

— Маша? Какая Маша?.. Ах да, Машенька, ну конечно, Машенька! Я очень рада... Как живу? Да так и живу. День прожит, и слава богу!.. Да, конечно, заходи! Я буду очень рада.

Выглянувший из комнаты Сергей не сводил с нее глаз.

— Чего смотришь?! Да, твоя звонила! Вот никогда не звонила, а сейчас взяла и позвонила. Как почувствовала... Здоровьем моим, понимаешь, интересуется... А ты приуныл, соколик. Да не переживай ты так. Спрячем тебя, законспирируем. Комар носа не подточит. Авось не догадается... Да не трогай ты эту посуду. Я сама утром ее помою. Ах, Сержик, как же ты хорош в этом фильме. Видела бы Любаша... ну и Лиза, разумеется, тоже. А твоя Машка — баба хитрая, чувственная... Боже мой, Сержик, что же ты натворил со своей жизнью? — и она тяжело вздохнула.

Сонечка Залевская родилась в конце девятнадцатого века в семье преуспевающего золотопромышленника. Родилась она на улице Офицерской, ныне Декабристов, в доме, где много позже, в 1912 году, в квартире номер двадцать семь поселился со своей женой, Любовью Менделеевой, Александр Блок. Она помнила его своей угасающей памятью худым и бледным, лишенным воли к жизни — таким он был в свои последние годы. Сама Сонечка была натурой пламенной, мечтала страстно о театре, о незаурядной актерской судьбе. И еще ей очень хотелось, чтобы великий поэт обратил на нее внимание. Она не пропускала ни одного его выступления, дарила цветы, писала восторженные записки. Когда он читал стихи о Прекрасной даме, ей чудилось, что он посвящает их ей. Люба Менделеева рядом с утонченным Блоком казалась грубой девкой, впрочем, девкой она уже вряд ли могла считаться. Сонечка смутно помнила ее образ. Мать же Блока, жившая по соседству, в квартире номер двадцать три, напротив, запала в память на редкость отчетливо. Ее болезненная любовь к сыну, кажется, и доконала его.

Сонечка, сколько себя помнила, всегда была в кого-то влюблена. Сначала в гимназиста, жившего этажом ниже. На нем безукоризненно сидела гимназическая форма, он был дружелюбным малым, с ярким румянцем на щеках и веселым блеском в глазах, всегда улыбался очарованной им соседке. Потом, когда в доме на Офицерской поселился Александр Блок, чувства к нему вытеснили все прочие привязанности. Глядя на его точеный профиль и изящный стан, она ни минуты не сомневалась: перед ней подлинный поэт и непревзойденный гений. Он был бледен, высок, красив в каком-то нечеловеческом смысле: красота его была божественного происхождения. Впрочем, у нее на глазах красота его поблекла, а жизнь завершилась, процедив невнятно все стадии: из кумира женщин и тонких ценителей поэзии он превратился в бесприютного человека с безумным взором, больного, одинокого, не всегда трезвого, а потом он и вовсе покинул этот бренный мир, как будто гибель, которую он всю свою сознательную жизнь страстно призывал в своих творениях, наконец настигла и его.

Неужели его удивительная, невероятно насыщенная жизнь протекала рядом? Теперь в это трудно было поверить.

В разные годы в доме жили артисты оперной труппы Мариинки, музыканты, дирижер Крушевский. Блок мало с ними общался. Но зато любил беседовать с прачкой, швейцаром, старшим дворником. Здесь же проживал и врач Пекилис, славный был человек. Он пытался лечить Блока, поставил свою подпись под заключением о кончине. Он же и рассказал Залевским о том, как бредил, умирая, Блок.

В такой среде Сонечка не могла оставаться в стороне от той насыщенной интеллектуальной жизни, которую вели в большинстве своем жители дома, волей-неволей из разговоров окружающих людей она впитывала в себя любовь к высокому искусству. В семье ее, правда, более сдержанно относились к представителям литературной и театральной богемы, осуждая за иждивенчество, но ради любимой дочери Николай Иванович Залевский зарекся высказывать резкие мысли по поводу некоторых людей и событий. После революции он и вовсе затих, добросовестно сдал большевикам все, что не успел надежно припрятать, незаметно расклеился, стал болеть, видно, душа так и не смогла смириться с потерянным положением.

С тех времен у Сонечки появилось ощущение принадлежности к миру избранных. Театральные студии, в которых она робко играла первые роли, подарили ей чувство общности с замечательными людьми. Потом наступили обнадеживающие времена НЭПа. Она уже была известной, на нее стали ходить. Свеженькая, пышущая здоровьем молодая женщина. Ей стали поклоняться. И даже волна репрессий, которая накрыла страну в более поздние времена, не смыла ее с театральных подмостков. Просто ей всегда хватало благоразумия не кичиться своим буржуазным происхождением, не носить бриллиантов куда не надобно, не кричать повсюду о сестре-итальянке, не делать громких политических заявлений. Она играла в новых пьесах, воспевающих новую действительность, столь же правдиво и талантливо, сколь правдиво и талантливо блистала когда-то в спектаклях, воспроизводивших дворянскую жизнь. По вечерам, после премьер, она принимала в своем доме высоких гостей, чья дружба была самой надежной защитой...

Потом, в сорок первом, была эвакуация в Ташкент, где вся театральная братия как будто замерла, закуклилась в ожидании возвращения к прежней устоявшейся жизни. Когда же ее земляки после войны хлынули в благословенный Ленинград, она, одна из немногих, получила назад свою любимую квартиру на улице Офицерской, ныне Декабристов, правда, в несколько

урезанном виде, но все-таки это была квартира, а не жалкая комната в тесной коммуналке. Старела она со вкусом, всегда окруженная воздыхателями и почитателями ее добротного таланта. Со временем стала реже менять мужей. Последний, Николай, вообще задержался надолго. Но вот уже девятнадцать лет жила она в полном одиночестве. Впрочем, всегда готовая к самому главному событию своей жизни. И вовсе не обязательно это должен был быть уход в мир иной. Просто ей по-прежнему было чрезвычайно интересно жить. Последний год она была занята исключительно судьбой Франчески.

Земля уходила из-под ног. Маша прилагала неимоверные усилия, чтобы контролировать ситуацию, но цепная реакция была запущена. Да, ей сочувствовали, сокрушались, обещали помощь, но в глазах была пустота. Она едва не совершила ложный шаг: уже подалась было к Люське, состроила-скроила соответствующее выражение лица, уже готов был сорваться вопрос о здоровье именитой болонки, но Люська оставалась каменной, видно, помнила, стерва, все. Пока был жив Сережа, с Машей считались. Илья, конечно, не заменит ей мужа. Да, Илья стабилен, предсказуем, всегда знаешь, чего от него ждать, и именно поэтому Маша знала, что ждать уже нечего. И если при жизни Сергея в ее сторону все же совершали определенные действия режиссеры — эти монстры о двух головах и шести руках, — то теперь и с этим будет покончено.

О, как она была счастлива в ту пору, когда осознала себя впервые актрисой. Казалось, она разучилась ходить, она парила над знакомыми улицами и домами, над головами тех, кто непременно будет ей когда-нибудь рукоплескать. А потом была сумасшедшая, прямо-таки бешеная любовь к Сереже, ее гордость, что вот он — ее муж, ее любовник, и пусть все девчонки страны умрут от зависти.

Со временем страсти улеглись, чувства вошли в более спокойное русло. Ролей не было. Стало казаться, что в этом тоже повинен Сережа. Его слава, его феерический талант затмевали все вокруг, и, как водится, чем ближе находишься к звезде, чем ярче зона света, тем труднее сохранить себя рядом. Чуть позже Сережа стал отдаляться от нее, закрутились вокруг какие-то начинающие актрисули. Дальше и вовсе пошли затяжные экспедиции.

Тут и возник Илья. Нет, он был рядом всегда, друг и однокашник Сергея, но рядом с Машей он возник именно в тот момент. Всегда внимательный и предсказуемый. Родилась Аленка, и Маша думать даже не хотела, что будет, если Сергей начнет вычислять, чей это ребенок. А Сережа пришел в восторг. Он стал вдруг домашним, ручным, забавным. Настоящий папашка. И Маша решила, что он вполне мог им быть, — он приезжал на день или два из той долгой, бесконечной командировки.

Муж приучил ее к роскоши в советском понимании слова. При этом у них никогда не было денег. Пока они были молоды, веселы, это их не смущало — когда-нибудь деньги снова и снова причалят к их счастливым берегам, ведь они талантливы, умны, успешны, а главное — любят друг друга.

Но в какой-то момент в их жизни что-то резко изменилось, и однажды зимним тусклым утром они обнаружили вдруг, что проснулись чужими... А теперь он и вовсе покинул ее. Можно сказать, окончательно предал. И именно в тот момент, когда рассчитывать только на себя было уже поздно. Да, она в свои тридцать семь все еще хороша. Не зря ведь Люська патологически ненавидит ее. Но ведь на пятки наступают молодые. И у них нет понятия о морали.

— Илья, забери, пожалуйста, Аленку из сада, — прокричала она в телефонную трубку.

— Ты куда-то собралась? — осторожно поинтересовался Илья.

— Да! К Софье Николаевне, — замявшись, ответила Маша.

— Что еще за Софья? — встрепенулся он.

— Сонечка Залевская, ты должен помнить ее! — Маше не хотелось сейчас вдаваться в подробности.

— Она еще жива, старая греховодница? — искренне удивился Илья.

— Ну да! Жива! Еще как жива!

— Что ты задумала, Машка?

Все долгие грязные зимы, практически лишенные солнечного света, Маша с нетерпением ждала, когда же снова зазвенит воздух, вздыбится на Неве лед, станет бездонным небо. Город преображался на глазах. И каждое лето она неожиданно для себя открывала, как сильна ее привязанность к этому странному городу, так не похожему ни на какой другой город России. Сколько бы она ни внушала себе мысль, что она имеет право здесь быть, что она истинная ленинградка, что здесь родился ее отец, и даже задолго до революции родилась ее бабка, все равно она ощущала себя всего лишь гостьей в этом городе шпилей, каналов, дворцов и кружевных чугунных оград.

В детстве она любила сбегать из Ленинграда в деревню, откуда родом была ее мама. До деревни было хороших пятьсот километров, к северо-востоку от города. Там Маша жила простой, безыскусной и по-своему прекрасной жизнью. Вставала, как и все деревенские, рано, после кружки парного молока с куском черствого хлеба (бабушка всегда давала ему подсохнуть, чтобы внуки не съедали слишком много за один раз) вместе с младшим братом Андрюшкой выгоняла корову в стадо, затем с соседскими детьми убегала в лес. Намаявшись, наигравшись, детвора купалась в прохладном лесном озере. И Колька, бравший на себя заботу о юном деревенском отряде, непременно заплывал на глубину, чтобы достать самую большую водяную лилию. Однажды он подарил прекрасный цветок десятилетней Маше. Потом он учил городскую неженку плавать и все приговаривал:

— Ну, трусиха! Ну, неумеха! И чему вас там в городе учат?

Потом, когда Маша подросла и уже не хотела никому и ни в чем уступать, они совершали дальние заплывы вдвоем. Иногда она даже ухитрялась обогнать быстроногого и сильного Кольку. Не зря ведь ходила в бассейн три зимы подряд.

— То-то, спортсмен великий! — поддразнивала она приятеля. — А теперь посмотрим, кто первым назад доплывет.

— Воз-вра-щай-тесь! — кричали им с берега. — Пора домой уже идти!

Через несколько лет Колька превратился в застенчивого парня, он стеснялся своих пробивающихся усиков, огромных, привыкших к работе рук, своего срывающегося на фальцет голоса: ему казалось, что не так должны говорить сильные и уверенные в себе мужики. Но больше всего он стеснялся того, что никогда не сможет с легкостью найти подходящую тему для разговора с Машей, он терялся, краснел и от этого смущался еще больше. Ему нравилось просто молчать рядом. Наблюдать, словно невзначай, как Маша двигается, будто чуть-чуть покачиваясь на своих тонких и длинных ногах. Нравилось, как она покусывает губы, как смотрит вдаль на озеро, словно и нет ее в данный момент рядом, то есть оболочка ее оставалась сидеть на берегу, в этом сомнения не было, а душа парила-парила над озером.

Колька мечтал поехать учиться в Ленинград, будто случайно однажды встретиться с Машей на Невском. Но не доехал, застрял в Петрозаводске, устроился на какой-то завод, там и осел. Больше Маша его никогда не видела.

Чем старше она становилась, тем реже случались поездки в деревню, а когда бабка умерла, они и вовсе прекратились.

Зато она открыла для себя Крым — его суровую красоту, напоенный запахом степной полыни раскаленный воздух, ощущение свободного полета и греховность своих мыслей. Здесь, в Тихой бухте, недалеко от Планерского, куда, считалось, однажды ее заманил Сергей, на самом же деле все было точно наоборот — это она увлекла его в столь прекрасное, сколь и безлюдное место, здесь и прошла их первая ночь. Под звездным куполом, под шум набегающей волны и восхитительный треск цикад. Такого восторга, такого накала чувств не пережить уж больше никогда. Может быть, поэтому их влекло сюда снова и снова. Чтобы вернуть ту ночь, то блаженство. Но все было тщетно — счастье не возвращалось. Нельзя сорвать один и тот же цветок дважды, нельзя повторить полюбившийся миг.

В другой раз они примчались в Планерское веселой и пестрой компанией: с Эдькой, Ильей, с Сашкой Трофимовым — этим потрясающе красивым, просто-таки обольстительным мужиком. Позже к ним прибились знакомые ребята и девчонки с курса, какие-то начинающие художники и музыканты. Было невероятно весело, по-настоящему здорово, но — иначе. Ею восхищались всякую минуту, и даже девчонки не ревновали ее к мужчинам, что само по себе было уже удивительно, ибо по какому-то неоспоримому праву она всегда была первой; просто случился момент некоего вселенского единения, сплоченного актерского братства. А Маше как будто было этого мало, хотелось еще, чтобы и Сережа по-прежнему пылал к ней самыми сильными чувствами. Только песня любви не звучала вновь. Ну не звучала, и все тут! И так это обижало Марию, что не удержалась она от упреков, наговорила Сергею колкостей и стала ждать, когда же он придет с повинной. А он не только не пришел, но еще и до чертиков напился с раздолбаем Эдькой в какой-то паршивой забегаловке на берегу. А потом промотылялся с ним ночь напролет. И никаких тебе уговоров, оправданий, обещаний. Только присутствие Ильюши не дало ей в тот вечер раскваситься, бросить все к черту и улететь первым же рейсом в Питер.

Софья Николаевна открыла дверь сразу, будто ждала ее в прихожей весь вечер. Перед ней стояла Мария — редкая красавица. Лицо загримировано и так удачно огрублено. Вот только любая красота когда-нибудь да начинает меркнуть. Старыми подслеповатыми глазами баба Соня увидела на лице гостьи следы подлинного страдания, и это потрясло ее. Она всегда воспринимала Машу как блестящую и дорогую куклу, а тут едва ли не слезы готовы были брызнуть из Машиных глаз. Конечно, не любить Сержика невозможно, тем более легко смириться с его потерей. И все же Софья Николаевна никогда не была слишком высокого мнения о Марии. Первая ее мысль при появлении Сережиной жены: может быть, просто она, баба Соня, все еще ревнует эту избалованную особу к дорогому мальчику.

— Заходи, Мария! Я все знаю! Молчи! Я страдаю вместе с тобой.

Она закрыла за Машей дверь, жестом указала на диван в гостиной, сама двинулась на кухню.

— Я тут принесла вам вкусненького, — Маша суетливо схватилась за сумку.

— Оставь, Мария! Я почти ничего не ем. Диабет, больная печень и так далее.

— Ну, так гостей попотчуете.

И Маша стала доставать из утробы своей шикарной, парижской сумки апельсины, яблоки, конфеты. Она всегда немного побаивалась старухи, та

казалась ей... Да что говорить об этом! Когда в былые времена Софья ворковала с Сережей где-нибудь в углу, на кухне, нашептывала ему что-то в своей обычной манере благодушной повелительницы, у старухи менялся тон, он становился чрезвычайно заинтересованным, восторженным, кокетливым, она ласкала его своим взглядом и голосом, нежно вылизывала своего дорогого Сержика. Потом она переводила взгляд на Машу, и во взоре загорался недобрый огонь экзаменующего: всю жизнь она выставляла ей оценки, соответствует ли она высокому званию жены Сергея.

Двери во все прочие комнаты квартиры были плотно прикрыты. Почему-то у Маши сразу возникло ощущение, что в доме кто-то есть еще. Но это, в общем, было не важно.

Софья Николаевна накрыла на стол. Поставила чашки старинного сервиза.

— Вот остались последние две чашки бесценного сервиза.

— Хотите, Софья Николаевна, я вам подарю новый.

— Ах, Машенька, дело вовсе не в сервизе. Я сама могу купить себе все что угодно, даже сервиз, которого уже ни у кого нет, слава богу, драгоценности кое-какие у меня еще сохранились. Только разве купишь прежние чувства! Просто эти две чашки — как бы это правильнее сказать — истаивающие символы моей истаивающей жизни.

— Ну что вы! Вы еще такая бодрая, такая...

— Не утруждай себя утешениями в мой адрес. Я смерти не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. Я только, может быть, страдаю. Я ведь тоже любила Сержика...

Маша решительно взглянула на нее. За дверью что-то тренькнуло, потом и вовсе задребезжало.

Гостья напряглась:

— Что это?

— Да это, видно, Мурка проказничает. Не стоит ее выпускать, — ответила старуха, заставив Машу пропустить «Хотите, я ее выпущу?», — не стоит ее выпускать, — повторила она. — Она ведет себя неважно последнее время. Пачкает где попало. Видно, и ее век подходит к концу. Так что, милая, привело тебя ко мне?

Маша смутилась.

— Да ты не смущайся. Я тебе всегда рада. Ты хорошая актриса и хорошая жена. Была хорошей, — поправилась баба Соня. — Тебя не оценили по достоинству в театре, я знаю. Просто театр — не твоя судьба.

Темная тень набежала на красивое лицо, гостья вдруг улыбнулась.

— У нас ведь тоже одно время Барсик жил. Еще до рождения Аленки. Когда Сережка возвращался домой пьяный, первое, что он делал, снимал носок с правой ноги и тут же напяливал его Барсику на морду. Несчастный кот метался по комнате, орал дурным голосом, пока я не спасу его. А Сережка от души веселился. Потом Барсик научился за километр чуять, что хозяин его не трезв, забивался под тахту в самый дальний угол и сидел там, не шевелясь, до утра. Теперь мне смешно вспоминать это, а тогда я ужасно злилась.

— Ты слишком умная. Слишком независимая. Да, я никогда тебе не говорила об этом. Я ревновала тебя к Сержику. Но в театре ум не нужен. Актеры в своем большинстве и не особенно умны, и не особенно глупы. Театр не исключает ни того, ни другого. Здесь все как в жизни, все находится в зыбком равновесии.

— Я пришла...

— Я знаю. Тебе кажется, что ты у меня найдешь Сержика, — она сделала паузу, — или воспоминания о том, каким он был. — Маша с благодарностью

посмотрела на старуху. — Я сама тоскую по нему. Помнишь, у тебя на свадьбе было испорчено платье?

— Вы помните и это? — удивилась Маша и, неожиданно побледнев, проговорила сокрушенно: — Неужели это сделали вы?

— Да! Затмение какое-то нашло. Мне так хотелось быть на твоем месте. Да, я знаю, я старая дура. Просто какое-то помутнение рассудка вдруг случилось. Я нашла в столе флакон чернил и вылила на твое платье.

— Вы тем самым чуть не сломали мне жизнь... А, может быть, и сломали. В этом было некое предупреждение мне, — глаза Маши увлажнились.

— Ну, не переживай ты так сильно, не переживай! Хочешь, я восполню тебе моральный ущерб, пусть и с большим опозданием?

— Зачем?

— Я не о бриллиантах. Конечно, возможности у меня уже не те. Но все же Сан Саныч ко мне по-прежнему привязан. Иногда он заходит ко мне на огонек. Я поговорю с ним. А тебе, детка, придется немного полицемерить. Да ты и сама прекрасно знаешь истерический мир кулис. Не мне тебя учить. Уж если театр тебя ничему не научил, тут и я буду бессильна. Разумеется, я говорю о лицедействе. Другие твои достоинства бесспорны.

Что-то колкое прозвучало в последней фразе. Ну, да бог с ней, с последней фразой. Маша долго готовилась к этому разговору, но никак не предполагала, что старуха сама все скажет за нее. Гениальная старуха! Она произнесла именно те слова, которые Маша жаждала услышать. Ей решительно везло. Старая чертовка! Это надо же! Столько лет спустя, призналась, что испортила свадебное платье! А тогда и свадьба чуть не расстроилась: Маша увидела во всем дурное предзнаменование. Хотя именно баба Соня, как называл ее Сергей, сделала самый великолепный подарок: Маша до сих пор обожает серьги с изумрудами и бриллиантами, преподнесенные непредсказуемой старухой.

Если бы только она забралась на эту вершину! Они бы ничего не смогли уже изменить. Маша думала о Горяеве, о Люське Пономаревой, обо всех своих многочисленных недоброжелателях и обидчиках.

Софья Николаевна двинулась в спальню, что-то вынесла в руке, подошла к Маше, сказала:

— Это твоей Аленке! — на ладони у нее лежала тоненькая золотая цепочка с крошечным бриллиантовым кулончиком. — Так и скажи ей: «От бабы Сони!»

— Нет, дорогая Софья Николаевна, я не могу принять этот подарок.

— Да не артачься ты. Бриллианты давно уже потеряли для меня всякую ценность. Это в молодости только кажется, что без бриллиантов ты и не красавица вовсе. Все это мишура жизни. Только начинаешь понимать это слишком поздно. Теперь вот, правда, они не дают мне умереть с голода, за то им и спасибо.

— Можешь выходить! — крикнула баба Соня, когда дверь за Машей захлопнулась.

Сергей вышел в гостиную, выражение его лица было страшное.

— Сержик, милый, я думала, может, ты спишь! — невозмутимо пропела старуха.

— Я все слышал! — в голосе звучала угроза.

— Но я не думаю, что ты узнал что-то такое, чего не знал раньше!

— Ты великая интриганка! И актриса при этом некудышняя. Ты переиграла. Машкино свадебное платье облила чернилами Алка Вознесенская. Она сама мне призналась в этом.

— Ну, не из-за этого, надеюсь, ты так расстроился? — искренне удивилась старуха.

— Я, пожалуй, пойду прогуляюсь. Что-то снова разболелась голова. — Он нервно двинулся в прихожую. Соня посеменила за ним, в расстроенных чувствах стала наблюдать, как он медленно облачался в свои странные одежды.

На улице дул пронизывающий, ледяной ветер. Ржаво поскрипывали детские качели во дворе. Дрожал, погромыхивая, кусок гофрированного железа, козырьком прикрывающего вход в ближайшее кафе на углу. Мимо с тяжелыми сумками проковыляла женщина лет пятидесяти. Казалось, у нее не было лица, не было истории, ее никогда не любили. Даже дети ее, которым она несла свои переполненные сумки, были, скорее всего, беспорочного зачатия. Она выглядела сломленной жизнью. Впрочем, как и он. Пронеслись девчонки — без шапок, в тонких чулках, — этим все нипочем. Ветер рвал их непослушные волосы. Господи! И от всего этого он отрекся, отказался добровольно, заживо похоронил себя в старом доме с живой мумией, кожа которой напоминает стершийся пергамент, а душа продолжает жалобно трепетать.

В театральном мире Сан Саныч Горяев слыл тонким знатоком человеческой души, неутомимым исследователем ее скрытых глубин, тайных ходов и закоулков. Он всегда точно знал, к какой струне неведомой души необходимо прикоснуться, чтобы извлечь из ее хитрого нутра чистейший звук, пусть даже бы речь шла о ноте «фа» или, бери чуть выше, — о «фа диез», струна сама начинала звучать в требуемой тональности. В известном смысле, он был шаманом, ибо с помощью тех или иных заклинаний мог уничтожить, а потом и воскресить приглянувшуюся душу. Но с той минуты спасенная душа становилась ему навеки преданной.

Горяев нутром чувствовал, кого из актеров следует объявить врагами или, на худой конец, чуть-чуть стравить, а кого обречь на вечную дружбу. И вот что интересно: из этих перекрученных, мучительных отношений на самом глубинном уровне рождался порой некий трудно поддающийся определению диссонанс, который усиливал звучание роли, поднимал спектакль до уровня откровения, и тогда случалось еще одно открытие в театральной жизни города.

Бывало, актеры сопротивлялись такому вмешательству пусть и обожаемого режиссера в их сокровенные мысли, в святая святых их подсознания, они оберегали свою частную жизнь, независимость, при этом теряли роли, однажды завоеванные позиции. Свою человеческую свободу они ценили выше премьерных спектаклей, заграничных гастролей, квартир, которые бывало сыпались манной небесной на родной театр. Но были и такие, и их было большинство, кто слепо следовал зову шаманского бубенца, позволял зомбировать себя, ибо верил в мощную интуицию Горяева, в то, что только он один знает, на какие кнопки души надо нажать, чтобы извлечь на свет Божий глубоко запрятанный актерский талант. И если учитель считает, что ты должен подхватить роль не выходящего из запоя приятеля, значит, так и должно поступить. Да и кто тебя осудит: с пьянством в театре испокон веков шла тотальная, никогда не прекращающаяся война. И когда еще выпадет другой такой шанс?

Что касается Сергея и Ильи, Горяев чувствовал, — о, как хорошо он это чувствовал! — какое мучительное, закамуфлированное соперничество идет между приятелями, и всегда подливал масло в огонь.

Он частенько говорил Илье:

— Ты сегодня, брат, силен! Ты сегодня тоньше Сергея сыграл эту сцену. Ты сам не знаешь, на что способен!

Когда же рядом оказывался Сергей, Сан Саныч шептал ему, между прочим, на ухо:

— Э, нет, голубчик, ты еще не всю душу вывернул наизнанку, не все ее богатства выставил на обозрение. Ох, не все! Я вижу в ней такие закоулки, такие тайные шуфлядки, что и на десяток актеров, вроде Ильи, хватило бы с лихвой. А Бог дал тебе одному. Ты не должен зарывать свой талант.

Ах ты, боже мой! Какой, однако, тонкий льстец!

— Ты должен продемонстрировать человеку всю глубину его ничтожества и неохватную громаду его гения, — как всегда, начав говорить, Горяев не мог остановиться. От шепота он перешел к громкому вещанию, так что последний рабочий сцены мог приобщиться к осознанию общих законов творения, к пониманию высокой миссии творца, сложных взаимосвязей человека и вселенной. Так уж повелось, что трибуну Сан Санычу всегда давали в первую очередь. Хотелось бы знать, бывает ли в других театрах иначе. — Всякий актер, — продолжал Сан Саныч, — на сцене материализует темные стороны своего «эго». Он все время подпитывает свой талант личными катастрофами, самыми страшными пороками, воспоминаниями, который любой нормальный человек хотел бы вытравить из себя навеки. На сцене актер — царь и Бог, он может все, он неприкосновенен, ибо он неподсуден. Когда бы и где бы он не вышел на сцену, он должен немедленно взять зрителей за горло... Ты не должен зарывать свой талант, — после некоторой паузы он закончил одну из своих классических речей.

И Илья с Сергеем разбивались в доску, из кожи вон лезли, чтобы доказать всем, что они лучшие, а спектакль тем временем приобретал невиданную мощь, сильнейшее напряжение: зал замирал так, что, казалось, было слышно биение их сердец.

Прошло немало театральных сезонов, прежде чем Сергей разгадал изощренную игру Горяева, особенности его режиссерского стиля. И возненавидел его раз и навсегда. Прекратил всякие попытки осмыслить его человеческую суть.

Теперь, когда перед Сергеем открылась бездна свободного времени, он стал снова много размышлять о театре, о человеческих взаимоотношениях в нем. И сделал для себя запоздалое открытие: Горяев не прощал никому и намека на привязанность. Перед глазами проплыла вереница актеров, дruживших со студенческой скамьи, не многим удалось сохранить подобие приятельских отношений. Сергей вдруг со всей очевидностью осознал, что и супружеских пар в театре почти не осталось. Стоило только влюбленным перестать прятаться по углам, решиться приходить на репетицию вместе и вместе уходить со спектакля, как Горяев под любым благовидным предлогом парочку разбивал. Разводил влюбленных по разным спектаклям, подсовывал между делом новых партнеров, организовывал выездные спектакли, так что влюбленные и вовсе оказывались по разные стороны баррикад, словом, творил свое темное ремесло. Наверняка считал при этом, что совершает еще одно доброе дело, и все во благо театра: держит всякого в состоянии напряжения и бесконечно длящейся муки, что для творческой жизни, само собой, весьма полезно.

Сергей неожиданно вспомнил, как за год до рождения Аленки Горяев позвонил ему и, сдержанно ликуя, объявил:

— Сереженька, я выбил для тебя потрясающую роль. Ты будешь благодарен мне до конца жизни. О такой роли мечтает всякий актер. Я даже отпущу тебя в экспедицию на полгода. Ильюша заменит тебя!

Когда он вернулся в Питер, Машка смотрела на него чужими глазами. Господи, какой же он дурак! Как же он не разгадал сразу подлую игру Горяева?

Потом Горяев женился сам на молодой бездарной актрисе, она годилась ему во внучки. Это был странный брак, лишенный тепла, привязанности, симпатии друг к другу. Иногда на репетициях Сергей бросал на них случайный взор: они сидели рядом, всегда чужие, всегда в глубоком молчании, но при этом оба картинно элегантные. Она была похожа на дочь, приехавшую навестить отца, покинувшего семью до ее рождения. Тем для разговора не находилось. В этом странном браке родился мальчик, кукольное создание с голубыми глазами. Он-то и перевернул сознание Сан Саныча раз и навсегда. С тех пор благословенный режиссер перестал смущать слабые души, у актерской братии появилась некая свобода от его тотального контроля над их мыслями, над их жизнями. И все же на репетициях он не мог удержаться, чтобы не покуражиться над ними снова и снова.

— Нет, так играть нельзя! Это же детский сад! — кричал он из зала со своего любимого места в десятом ряду. Его молодая жена сидела рядом, что-то вывязывала крючком. Даже тень маломальской мысли не осеняла ее чела. Ребенок носился между рядами зачехленных кресел. — Это игра бездарей! Вы когда начнете думать?! Анализировать?! Когда перестанете быть студенистой массой, тестом для режиссера? Включите, пожалуйста, свой мыслительный аппарат! Если он у вас, конечно, присутствует.

Между тем, Горяев остро чувствовал ситуацию в актерском коллективе, порой он прилагал неимоверные усилия, чтобы удержать в своем крепком жилистом кулаке этот центробежный, вечно стремящийся к пресловутой свободе, театральный люд — сборище неврастеников, недоучек и, как правило, прилично пьющих людей. Без сомнения, среди них встречались личности талантливые, этих он вычислял мгновенно: по первой актерской пробе. Начинал у него один такой когда-то, теперь вот ведущий актер известного московского театра. Пришел мальчишкой, не суетился, ради роли не унижался, но уж если выходил на сцену — все! Жил и умирал вместе со своим героем. Увели сволочи! Посулили квартиру, машину, звания. Как устоять?! Слаб человек. А эти... ремесленники, чтецы... Бог не дал им главного — умения прожить чужую жизнь как свою. Суетятся на сцене, орут дурными голосами, идею спектакля всегда угробят. Вечно как дети: ради роли сподличают, оговорят друг друга, будут льстить ему, Горяеву, грубо и безыскусно, забыв о всяком чувстве меры.

Сережа был иной. Ну и что, что талантлив? Театр и не таких видывал. А вот то, что не хотел с прочими бежать в одной упряжке, вот это, пожалуй, и испортило их отношения. Ладно, хотя бы вид делал, что с почтением к главрежу относится, так нет — этот его всегда иронический взгляд, с трудом подавляемая ухмылка, вечно готовые сорваться слова раздражения... А пришел легкий, искрящийся, прекрасно дебютировал. Карьера и впрямь поначалу задалась. Со временем, пожалуй, страсти улеглись бы, смотришь, и жизнь устоялась бы. Но нет, Бог распорядился иначе.

Все хотят видеть режиссера этаким добрым, покладистым, справедливым папочкой. Когда надо, он пожурит, а когда и по шерстке погладит. А ругаться — ни-ни, топать ногами — тем паче. А уж выгнать из театра бездарного, заврашегося, спившегося негодяя — это вообще антигуманный, антиобщественный поступок, весь театральный мир за это осудит. Вот ведь беда какая: всех накорми, всех обласкай, но и лицо театра не потеряй при этом!

А уж если, не дай бог, поужинаешь с какой-нибудь из начинающих смазливых актрис, что так и вьются пачками вокруг, да еще норовят при этом

к бедному старику в постель запрыгнуть, тут уж и вовсе прослывешь личностью безнравственной, нечистоплотной, греховной во всех отношениях.

Он вспомнил вдруг о Марии. Ужинать с ним она категорически отказывалась. Она тоже начинала неплохо, как и Сергей. Они заражали друг друга азартом, смелостью, потрясающей раскованностью. Но со временем стала играть штампами, ушли куда-то очарование, вдохновение, легкость. Осталась внешняя красивость, а страсти уже не стало. Ей бы графинь да цариц играть.

Через неделю явилась Ленка. Обросший щетиной, похудевший, почерневший, как будто лишенный чего-то первостепенного, Сергей глянул в глазок и сразу же испуганно отпрянул. На миг показалось, что Ленка узрела его, — таким немигающим оком смотрела она в завораживающую глубину глазка. Бабы Сони дома не было. Это несколько облегчало его положение. Серега на цыпочках отправился в спальню, плотно прикрыл за собой дверь, завалился на диван и вдобавок прикрылся пледом, словно продолжал спасаться от Ленкиного пристального взора. Ленка звонила долго, очень долго, а он лежал, не дыша и не шевелясь, как будто боялся себя выдать неосторожным движением. Кровь бешено пульсировала в висках, сухой жар ужаса снова охватил его.

Сергей стал бояться показываться на улице днем, боялся наткнуться на бывших сослуживцев, на преданных поклонниц, на дотошных соседей. К вечеру он становился несколько раскованнее, но все равно выходил из дома в усах и с намотанным чуть ли не по самые глаза шарфом. И хотя шарф закрывал большую часть лица, а значит, и выцветшие, нелепые, бутафорские усы, перед выходом за пределы квартиры он упорно проделывал один и тот же набор действий, как будто совершал глубокомысленный обряд.

Баба Соня каждое утро отправлялась в магазин за нехитрой корзиной продуктов для себя и для дорогого Сержика. Она даже помолодела от свалившихся на нее забот. Сергей тем временем старался выполнить хоть какую-то работу, чтобы снять с нее часть нагрузки. Чистил ковры допотопным пылесосом, который то и дело глох, и всякий раз надо было проделывать необъяснимые с точки зрения здравого смысла манипуляции, в результате которых пылесос вдруг начинал снова истово работать. Мыл разнокалиберную посуду, среди многочисленных тарелок с выщербленными краями встречались редкие экземпляры, место которым было разве что в музее. В общем, он был рад любому делу, только бы не отдаваться вновь печальным мыслям.

Ленка больше не являлась, и он ничего не сказал о ее визите старухе.

— Сержик, как ты думаешь, вот почему одних женщин мужчины боготворят, а других, вроде твоей Машки, обходят стороной. Хотя Машка твоя хороша, ей-богу, хороша!

— Ты, верно, хочешь рассказать мне, почему мужики летели на тебя, как осы на мед?

— Право, какой ты грубый! Не хочешь говорить обо мне, давай поговорим о Лиличке Брик. Я многому в жизни научилась у нее.

— Например, варить любовное зелье? Сейчас мы станем с тобой обсуждать все тридцать три рецепта дивного напитка?

— В зелье не было нужды. Достаточно говорить мужчине каждый день о том, насколько он гениален, и позволять ему делать все, чего жаждет его душа.

— Нехитрая наука!

— Еще какая хитрая! Вот, например, твоя Мария...

— Оставь Машку в покое.

— Ну, не злись, не злись. Я знаю, ведь она не единственная в твоей жизни.

Звонок зазвенел резко и требовательно. Баба Соня пошаркала в прихожую, а Сергей, прихватив свою чашку, привычно ретировался в спальню. В последний момент он вернулся за пачкой сигарет и пепельницей. Баба Соня лет двадцать из-за одышки не курила.

Софья Николаевна открыла дверь, не поинтересовавшись даже «кто».

— Милая девушка, я что-то не припоминаю вас, — начала она.

— Софья Николаевна, ну как же? Я Лена Смирнова. Я играла с Сережей в театре. Я его постоянная партнерша. Вы ведь часто бывали на наших премьерах.

— А! Леночка Смирнова! Ну как же! Как же! Проходите! — и она указала на гостиную тем же царственным жестом, каким неделю назад приглашала войти Марию. — А знаете, знаменитый закон парности все-таки работает. Я вам принесу сейчас чашку. Как раз только сели... только села пить чай.

Ничего не поняв из туманных речей хозяйки, молодая женщина стала вытаскивать из сумки бананы, виноград, печенье — гостинцы, надо отметить, довольно редкие — даже для северной столицы. Софья Николаевна бросила вожделенный взгляд на бананы, едва сдержалась, чтобы не приступить немедленно к лакомству. — Еще я прихватила колбаску, — скромно добавила Лена, явно довольная произведенным впечатлением. Ей было приятно угодить старухе.

— Право, не стоит. Я ведь не голодаю. Да и с зубами проблемы. И что вас ко мне привело, милое создание?

— Я знаю, вы были близкими подругами с Сережиной бабушкой.

— Ну и?..

— Вы ведь любили Сережу? — заискивающе спросила гостья, она никак не находила верную интонацию и поэтому ни на минуту не замолкала.

— Любила, — коротко ответила старуха.

— Я скучаю по нему! — Ленка растерялась. Она не оказалась готовой к мгновенному переходу старухи к сдержанности. Даже бананы не помогли растопить ее холодность.

— Я тоже, — старуха все еще не была настроена на душевную беседу.

— Мне не с кем даже поговорить о нем. Ведь не с Машкой, в конце концов.

— А что вы хотите, собственно, от меня? — баба Соня не могла отказать себе в удовольствии слегка подковырнуть чужую маску.

— Знаете, он был потрясающим любовником, — неожиданно выпалила Ленка.

— И что же? Вы хотите поделиться подробностями? — тон старухи несколько смягчился.

— Я хочу вспомнить вместе с вами, какой замечательный он был.

— Вы хотите меня уверить, что он был единственной страстью в вашей жизни? — вместо каких-либо приличествующих случаю слов произнесла старуха.

— Я думала, вы поймете меня лучше других. Но вы, кажется, сегодня не в настроении. Пожалуй, я пойду.

— Ну, отчего же так сразу! У всякого в прошлом могут быть печальные и не слишком красивые обстоятельства, память о которых хотелось бы стереть навсегда. Что ж! Давайте поговорим. О дорогом Сержике, — старуха, наконец, смягчилась.

— Да, у меня было много мужчин. Но не вам меня судить. И не с вами обсуждать, почему так случилось.

— Действительно! Куда такой старой, глухой и подслеповатой ведьме, какой своим зорким, артистическим оком видите вы меня, пытаться понять молодую обворожительную женщину? Ведь вы это хотели сказать? — Софья Николаевна решила вдруг обидеться.

— Я заполняла пустоту, которая всегда образовывалась всегда и везде, откуда уходил Сергей. А уходил он всегда. И я не могла дожить до утра. — Лена чуть не расплакалась. — Я не знала, куда девать остаток ночи, куда девать саму себя.

— Я не думала, что вы так ранимы, Леночка, — неожиданно прониклась сочувствием старуха. — Мне казалось, вы не похожи на одержимую... Знаете, Сереженьке было лет шестнадцать, когда он влюбился впервые. Ну и намаялась с ним тогда Любаша, да и Лизе досталось. Физиология, доложу вам, страшная сила... Он был похож на взбесившуюся газонокосилку.

— И кто была она?

— Она? — баба Соня сделала вид, что забыла, о чем шла речь, а может быть, ее мысли были действительно уже далеко.

— Ну, его первая любовь...

— О, это была великая женщина. Искусительница редкой породы. Она измучила его. Но и отшлифовала. Так или иначе мы все шлифуем друг друга.

— Она была актриса? — Лена не могла скрыть своего любопытства.

— Представьте себе — нет! Она была поэтом! А это, доложу я вам, покруче будет. Это интеллект особого замеса. — Софья Николаевна замолчала, верно, снова унеслась куда-то мыслями.

— И что с ней стало?

— Не знаю. Укатила в Америку. С богатым мужем. Трудно ей пришлось.

— В каком смысле? — не поняла Лена.

— Оформить этот брак, вырваться из системы. Вы же знаете, у нас не любят отпускать на свободу... Много ей пришлось провести утомительных экскурсий по Эрмитажу, много разных приезжих заморышей перетаскать в свою ободранную коммуналку на Фонтанке, пока не запал на нее коротышка с глазами навыкате и тугим кошельком.

— А что ее поэзия?

— Она постарела, и стихи перестали литься сами собой. Ведь для поэзии, как и для любви, нужна особая влага души.

— Это была неправильная любовь! — неожиданно заключила Лена.

— Со стороны всякая любовь кажется неправильной.

— Софья Николаевна, можно как-нибудь я снова загляну к вам на огонек? — спросила осторожно Лена, допивая вторую чашку чая.

— Загляните! Милости прошу! Если вам не скучно со старухой.

И они расцеловались, как добрые подруги.

— Что же ты творишь со мной, негодник? — обрушилась на Сергея баба Соня, лишь только за Ленкой захлопнулась дверь.

— Я? Творю? — Сергей искренне недоумевал. Он приготовился убрать со стола, да так и застыл с грязными чашками в руках.

— Ты что это, активизировал свои флюиды? Являются одна за другой твои бабенки, да еще несут исключительно доброкачественные взятки. Наверно, чтобы было чем тебя покормить! Устраивают сплошное испытание границ моего сердоболия. А что? Совсем недурственно для первого раза! Мне приходилось играть значительно более слабые драматические сцены. Во всяком случае, никто не может сказать, что я не старалась. Признавайся, кого мне ждать еще! И что мне с ними со всеми делать?

— Как что? Одаривать бриллиантами! Ты же у нас миллионерша! Да ты не переживай! Настя точно не придет, она ничего о вас не знает. — Сергей не заметил, как перешел с ней на «вы».

— Ты меня решил доконать, несносный мальчишка. Что еще за Настя? Выкладывай!

Тем временем Лена спускалась по темной грязной лестнице, покусывая от отчаяния губы. Она сама не знала, зачем пришла к Залевской. Ну, был некий зов души — только это же смешно. Что она могла сказать старухе? Верните Сержика! Так ведь не вернет. Не в ее это власти. А унижаться, пытаться что-то вызнать у старухи, будто та могла сообщить нечто важное, как например, об огромной любви дорогого Сережи к Леночке, рассчитывать на это было глупо и бессмысленно. И никому не объяснишь, как страшно идти домой, в ватную пустоту, ведь никогда больше не зазвучит в телефонной трубке его незабываемый голос, никогда больше не ворвется он сам в ее сонную коммуналку со звонким возгласом: «А не забуриться ли нам с тобою на Петькину дачу? Поваляемся на песочке, порыбачим в заливе? А? Я сварю дивную уху. Ленок, ты даже не представляешь, какой классный я повар. Если захочу, конечно».

О, да! У нее все еще впереди. Будут другие поклонники, много поклонников... И будет новая тоска. Господи! Ну почему она не родила тогда ребенка!

У Лены был дар такой особенный: внушать всякому встречному мужчине некое подобие страсти. Пообщавшись с ней вечерок, кандидат в поклонники едва сдерживал свои буйные фантазии. Нет, она не бросалась никому на шею, не говорила дерзких слов, способных порой разжечь мужчину до немыслимых пределов, особенно если слова эти слетают с уст необыкновенно привлекательной особы, нет, она не позволяла себе ничего подобного. Просто она могла сотворить взгляд, полный загадочного отсутствия, как бы говорящий окружающим: мне никто не нужен, моя жизнь и без вас прекрасна. И уже не терпелось очередному соискателю ее благосклонности доказать ей, что как раз с ним жизнь станет еще прекраснее. И бросались мужики угождать ей в мелочах и искать милостивого взгляда. Когда-то это льстило молодой актрисе, но лишало воздыхателей малейшей перспективы. Лене нужен был кто-то, кто, не поддавшись на ее игру, увлек бы ее саму, захватил в плен, приподнял над обыденностью. Впрочем, иногда она позволяла все же незаурядным личностям, вроде Эдуарда Аверченко, увиваться вокруг себя, и, если эти незаурядные личности могли помочь ей утвердиться в нелегкой актерской судьбе, подняться на ступеньку выше в сложной актерской иерархии, тех она одаривала более нежной дружбой.

Роман с Аверченко поначалу носил благотворный характер. Она сыграла главные роли в двух его пьесах, с ней уже стали раскланиваться почтительно и даже восхищенно, как вдруг это пугало, этот леший с жидкой бороденкой увлекся юной актрисой. Ленка не страдала от предательства, да и предавать-то было по большому счету нечего, между ними была лишь удобная сделка, а для нее к тому же и великолепная возможность брать главные роли: легко, без унижения, словно роли сами искали ее. В общем, и роли были не бог весть что, собственно говоря, теперь она думает, что и пьесы были довольно заурядными. Что-то Эдьке, безусловно, удавалось: легкие, воздушные, порой сверкающие диалоги. И если играть роли живенько, то это могло на мгновение заворожить всякого, кто имел некоторую степень воображения. Но ведь диалогов одних недостаточно, блистательными диалогами не сотворишь глубокой идеи, и если нет надежной платформы, то вся конструкция неми-

нуемо рухнет. В лучшем случае останется висеть в воздухе. И все-таки она была благодарна Эдику. За то, что разглядел ее в массовке. Он же и увел ее от Сергея. Вот за это не было ему прощения.

После утомительной репетиции, одной из тех, когда неминуемо приходит мысль о том, что с этой химерой, под названием театр, пора кончать, Лена столкнулась с Эдуардом Аверченко в театральном буфете. В тусклом вечернем свете довольно ободранная стойка бара и низкие столики с детскими на вид стульями казались жалкой декорацией. Эдуард был один, выглядел потрепанным. Он сам окликнул Елену.

— Привет! Как дела? Куда ты пропала?

— Пропадать имеют свойства те, в ком в той или иной мере нуждаются. В ком не нуждаются, те попросту отваливают.

— Ленка, не дури! Ты же знаешь, как я всегда счастлив тебя видеть.

— Именно поэтому ты всячески меня избегаешь... Тебе не выдержать такого накала чувств... Вечно звенящая струна лжи!

— Ты все-таки немного сумасшедшая. Ты думаешь, я свалил из-за Юльки? Я просто не мог видеть вечную тоску в твоих глазах. Думаешь, я не замечал, что все наши разговоры крутились исключительно вокруг личности Сереги? Ты научилась говорить об одном, думая при этом совершенно о другом.

— Оставь! Я не хочу говорить о нем, — резко оборвала его Лена.

— А раньше ведь только и говорила...

— Заткнись! — Лена готова была разрыдаться.

— Ну, ладно-ладно. Я тут новую пьесу задумал. Главная роль — твоя.

Он, по-видимому, все еще надеялся сохранить некое подобие дружбы.

— Юлия не справится? — с сарказмом спросила Лена.

— Не с ее куриными мозгами.

— Не рецензируемо. Полагаю, она недостаточно вспенилась страстью к великому драматургу всех времен. Слушай, Эдька! Ну тебя к черту с твоими бездарными пьесами, диалогами, которые легче бамбука. Играй в своих творениях сам, сам выкручивайся из историй, в которых нет ни малейшего смысла. Невозможно всю жизнь превращать пространство в приключение. Ты изгнал Серегу из моей жизни. Я ненавижу тебя.

— Не преувеличивай! Театр не любит долгих привязанностей — ты прекрасно знаешь об этом сама. Только люди с изменчивой природой могут вынести эту вечно изменчивую жизнь. Ладно, не будем об этом. Когда остынешь, позовешь.

— Знаешь, у нее был перстенек... — баба Соня снова что-то выудила из глубин своей безмерной памяти.

— Ты о ком это? — равнодушно спросил Сергей, даже по краю Сониной истории не хотелось следовать сейчас.

— У нее был перстенек... Володин... с выгравированными на нем ее инициалами. Л.Ю.Б. Как ни крути, все выходило — Л.Ю.Б.Л.Ю. Она носила его на золотой цепочке до самой смерти. Все завидовали ей.

— Соня, она угробила его! А потом, навьючившись славой роковой женщины, пронеслась по жизни с этим сомнительным багажом, принесшим ей, в конце концов, немалые дивиденды. А про перстенек тот только ленивый не рассказывал мне душещипательную сказку. Пошлая, доложу тебе, вышла история.

— Сержик, ты жесток! Даже правительство признавало ее заслуги.

— Вот это-то и любопытно.

— Впрочем, в одном ты прав, Л.Ю.Б. не были ее подлинными инициалами, — выждав паузу, веско проговорила баба Соня, хотя Сергей и словом не

обмолвился об этом. — В самом деле, она была Уриевна и вообще Каган, так что славные инициалы получались с большой натяжкой. Ей платили пенсию за Володю, целых триста рублей, — наравне с матерью Володи и его сестрами. У нас в стране, сам понимаешь, так просто пенсию никому не платят.

— Соня, я иногда сомневаюсь в твоем здравомыслии. Хотя, конечно, как иначе: ведь он был кормильцем семьи! Я имею в виду семью Бриков. Осип же играл роль нахлебника, то есть, говоря языком казенным, иждивенца. Думаю, было бы правильно установить на Триумфальной площади в Москве памятник не только Маяковскому, но и Брикам. Маяковский большой, а Лиля и Осип маленькие, как дети, и тянутся в радостном нетерпении к его карману.

— Жестокий ты, Сержик! Ты не знал Лилю, тебе не понять ее магии, которую она как потрясающе талантливая женщина великолепно сама осознавала. Она внушала страсть всякому, если только того хотела, и тогда огонь нечеловеческой страсти сжигал несчастную жертву изнутри.

— Заметь, ты сама заговорила о жертвах. В общем, с вами все ясно, дорогая Софья Николаевна! Вы будете отстреливаться до последнего патрона, но своих не сдадите! — зло заметил Сергей.

— Ах, Сержик, это все слова. Чувства сильнее всяких слов. Лиля умела внушать любовь, виртуозно расставлять приманки и силки, словно гипнотизируя мужчин, и они покорно следовали ее воле. У нее в юности был роман с собственным дядей, потом — с учителем музыки. Представь себе, какова была сила искушения, что даже дядя, а потом и учитель не смогли устоять перед юной обольстительной особой, какой была в ту пору Лилечка. Думаю, они не могли не осознавать свое грехопадение. А Володечка, между прочим, влюбился сначала в Эльзу.

— И?

— Ну, ты сам понимаешь, Лилечка бы этого не стерпела. Она была необыкновенно талантлива. Во всем. Сначала училась на математическом факультете Высших женских курсов...

— Вот уж этого не могу представить: Лиля Брик и дифференциалы. Уж не там ли ее научили, как мужиков охмурять?

— Ну что ты! С этим надо родиться. Потом она поступила в Московский архитектурный институт, хотела стать скульптором. Даже лепила кое-кого из тех, кем бывала увлечена.

— Думаю, конструируя то или иное лицо, она тщательно изучала слабые места своей новой жертвы.

— А в двадцать втором с ней вообще случился казус. В нее влюбился Фроим-Юдка Мовшев Краснощек, заместитель наркома финансов, член комиссии по изъятию церковных ценностей.

— Господи, и как ты запомнила это чудовищное имя?

— Актерская память — особенная память. В общем, перед ней открылись неисчерпаемые возможности. В какой-то момент коллекция ее драгоценностей превзошла мою. Как и полагается, Фроим в конце концов растратил крупные суммы, его посадили. Потом выпустили «по состоянию здоровья». Так вот, он написал пьесу, на спектакль ломилась вся Москва. Лиля была выведена как Рита Керн. Он рассчитался с Лилей за все...

— А твоя роль в ее биографии была какая?

— Мы нежно дружили.

— По-моему, про Бриков Пастернак как-то сказал, что их квартира, в сущности, была отделением московской милиции? Уж не с тех ли пор у тебя тянутся высокие связи?

— Ты преувеличиваешь значение моих связей, они достаточно скромные, я далеко не так всесильна. У Лили, конечно, было больше возможностей. Твою судьбу она решила бы в два счета. Где-то с двадцать седьмого года в литературных собраниях в Гендриковом переулке, где Володечка получил квартиру, начал принимать участие Яков Агранов, он был видным работником из когорты Ягоды, — Соня произнесла это предложение на одном выдохе и осеклась. Она поняла, об этом вообще не стоило вспоминать. — Кажется, в двадцать восьмом он помог Лилечке доставить в Москву автомобильчик, купленный Володей в Париже, — как будто оправдываясь, закончила она фразу.

— Не тот ли это Агранов, который фактически убил Гумилева?

Соня в одно мгновение изменилась в лице. Оно стало серым. Сержик выказал удивительную осведомленность в данном вопросе.

— И как это ты ухитрилась сохранить дружбу и с Брик, и с Ахматовой. Не понимаю.

— Ладно, Сержик, спокойной ночи! Я очень устала, договорим в следующий раз. Последние сорок лет Лиля прожила вообще с приличным человеком — с Васей Катаняном. Василий Абгарович снял с нее все грехи, — зачем-то добавила напоследок старуха.

...Сергей долго ходил по комнате, курил сигарету за сигаретой. Не спалось. Ай да Соня! От нечего делать он протянул руку к книжному шкафу, прошелся пальцами по бархатным корешкам старинных фотоальбомов. Он почувствовал, что на подушечках пальцев осталась мелкая пыль. Он сморщился, но все-таки вытянул самый неприметный на вид альбом. Раскрыл. Пахнуло чем-то застарелым: плесенью, тлением. Сергей стал листать пожелтевшие страницы. Перед ним прошла череда театральных фотографий, на которых Сонечка была ослепительно молодой: чуть пухлое лицо, глаза огромные, пышные волосы... Время неумолимо. Оно убивает всякого, кто приходит в этот мир. Но видит Бог, от всякой жизни что-нибудь непременно останется, хотя бы эти мгновения, отраженные по чьей-то чудной прихоти на черно-белых листках. И хочется верить, волшебные мгновения запечатлены где-то еще, подобно тому, как в бороздках пластинок застывает музыка... Вот уже Соня постарше, все чаще ее поклонники со скромными шевелюрами, последний вообще без волос: голова похожа на огромное бугристое яйцо. Из-под фотографии выглядывал уголок вчетверо сложенного листка. Сергей осторожным движением извлек его на свет Божий, раскрыл. Пахнуло приятным. Неужели духи могут так долго хранить свой аромат? Женским аккуратным почерком было выведено: «Соня, ты меня разочаровала. Ну, подумаешь, делов-то! Для тебя пустяк, а мне ты сослужила бы великую службу. Нора не оправдала моих надежд. Володечка все еще душой рвется в Париж. Вся надежда на одну тебя. Л.Ю.Б.»

Сережа приготовился сложить письмо прежним образом, все равно оно ничего не меняло, это была Сонина жизнь, в которой поздно что-то переделывать, как вдруг его взгляд зацепился за Л.Ю.Б. У него задрожали пальцы. Соня, Нора, Володечка, Париж... и в конце Л.Ю.Б. Ай да Соня! Ай да Божий одуванчик! Неужели и она приложила свою руку к травле гениального поэта?! Нет, этого не может быть! Бежать из этого дома, бежать...

— Милый мальчик, наивный и добрый! — думала, засыпая, Софья Николаевна. — Все они такие, выросшие после войны. Они не знают, что значит выживать, что значит совершать поступки, которые противны воле. Человеку свойственно цепляться за жизнь, даже когда все обстоятельства против. Да и совесть ее по большому счету чиста. Бог миловал. А Лилечка... Она сама в ответе за свою жизнь. Господь сотворил ее такой. Всякий, ее познавший,

погибал в любовном угаре. На тот костер она безжалостно отправляла очередную жертву, но все-таки, правды ради надо отметить, на возведенные мостки несчастный зачастую поднимался сам. Лилечка была жадной до жизни, ей хотелось всего и много: дорогих духов, шелковых чулок, розовых рейтузов, зеленых бус, креп-жоржетового платья, в конце концов понадобился автомобильчик — желательно из Парижа. И они сами, по доброй воле, несли ей в клювике все, что ни пожелает эта обворожительная женщина. А потом, когда жертва истекала последними каплями той волшебной энергии, что совсем недавно брала Лилю в плен, тогда она, испив все до дна, умело растворяла это тело и эту душу в мерзком студенистом вареве. Великая женщина! Страшная женщина! И никаких угрызений совести, угрызения в принципе не ее стезя.

— Сержик, я хочу пролить свет на одну давнюю историю, — начала баба Соня после просмотра новостей вечером следующего дня.

— Стоит ли ворошить прошлое? — равнодушно произнес Сергей. — Да и устал я, честно говоря, от твоих историй.

— Сержик, ты не очень вежлив. Когда говорят старшие, надо слушать.

— Ах, оставь! Меня сейчас мало интересует, кому кружила ты голову, кто был когда-то в тебя влюблен.

— Ладно, не хочешь — не буду! — обиделась баба Соня. — Между прочим, если бы ты больше интересовался окружающими тебя людьми, ты быстрее пошел бы на поправку.

— А разве я болен? — Сергей был явно задет. Он был уверен: да, жизнь сыграла с ним злую шутку, но он-то выстоял. Какие могут быть в том сомнения?

— Понимаешь, милый мой мальчик, как только человек начинает думать только о себе... впрочем, не будем об этом. Это взрывоопасная тема.

— Ну ладно, валяй! — лениво сдался Сергей.

— Что значит валяй? — задумчиво переспросила баба Соня.

— Валяй свою историю! — промямлил он.

— Да, собственно, и истории никакой не было. Просто в какой-то момент Лилечка решила, что надо спасать Володечку из объятий Тани Яковлевой, а то, не ровен час, убежит за ней в Париж и бросит мою подругу на произвол судьбы. Вот тогда она и подсунула, — нет, нехорошее это слово, — подтолкнула к нему Нору. Он увлекся Норой, но как-то не всерьез. И тогда Лилечка решила, что для этой цели больше подойду я. Она пригласила меня в первопрестольную, в Гендриков переулок, на одно из заседаний «Нового Лефа». Собирался там, стало быть, узкий круг знатоков и истинных ценителей прекрасного. Это было еще то сборище, доложу я тебе. Хотя Володечка мне понравился. А вот стихи его — нет. Да и Лилечка стала тонким апологетом его поэзии лишь тогда, когда это начало приносить ей ощутимые дивиденды. Мне просто нравилось его слушать, смотреть на его мощную, прямо-таки скульптурную фигуру. Он был потрясающе раскован, от него веяло грубой элегантностью. Я тебе уже говорила, что Лилечка училась на скульптора. Возможно, она оценила Володечку поначалу именно со скульптурной точки зрения.

— Соня, я впервые слышу сочетание «грубая элегантность». Ты мне скажи лучше, он запал на тебя?

— Сержик, не будь таким грубым.

— Значит, Володечке можно было быть грубым, а мне нет? — поморщившись, уточнил Сергей.

— Там был лефовский теоретик Чужак. Он все обвинял Володю в измене, говорил что-то о несовместимости его новой поэзии с угрюмой ортодоксией.

Володечка в ответ обозвал его чуть ли не масоном и ругал за приверженность к масонскому обряду. Вообще, я думаю, это был тот редкий случай, когда Всевышний задумал человека не только для величайшей миссии, но и вытолкнул его в наш жестокий мир в том месте и в тот час, где и когда в этом был особенный смысл.

— А что Лиля?

— Лиля вела себя как хозяйка, во все вмешивалась, пыталась руководить процессом. Шкловский грубовато ее осадил. Она побледнела, потом краска залила ее лицо. Она была вне себя от бешенства. И потом... — баба Соня вдруг замолчала.

— Что потом? — нетерпеливо поинтересовался Сергей, история его неожиданно увлекла.

— Потом, по-видимому, ей показалось, что Володечка стал бросать на меня чересчур откровенные взгляды.

— Так ведь она, кажется, для того тебя и пригласила?

— Отчасти да. Но в ее планы, по всей видимости, не входило, чтобы кто-то всерьез распалил его чувства.

— А ты могла их распалить? Тебе это было под силу? — чуть подняв бровь, спросил Сергей.

— Не знаю. Но когда я увидела, какой он большой, сильный, необыкновенно обаятельный и при этом доверчивый, как ребенок, я поняла, что не смогу включиться в общую игру притворства, не смогу долго обманывать этого человека.

— Отчего так? — язвительно поинтересовался Сергей.

— Видишь ли... ему хватило Лилечки.

— Ну а по-настоящему влюбиться в него ты разве не могла?

— Нет, Лилечка всегда была бы между нами. А я не терплю никаких треугольников.

Страшную зиму двадцать второго года Сонечка едва пережила. Было голодно, холодно и бесприютно. В театр-студию молодая актриса продолжала по инерции бегать на репетиции, по вечерам играла в спектаклях, и это придавало ее жизни некую основу, без которой гибель, казалось, была неотвратима. Шел второй год ее замужества, которое, впрочем, едва ли можно было назвать счастливым. Петр Константиныч, начинающий режиссер и по совместительству директор студии, которых, как грибов после дождя, открылось в ту пору, после блистательной премьеры «Горя от ума», предложил проводить Сонечку домой, поднялся в ее великолепную квартиру на Офицерской улице, да так и остался, невнятно пробормотав что-то о безграничности своих чувств к обворожительной Соне. Соня, конечно, мечтала об иной любви. Она грезила о белых ночах на набережной Невы, о будоражащих криках чаек на берегу Финского залива, о поездках на Голландский остров, да мало ли романтичных уголков в Петербурге и на его окраинах! Она мечтала об отношениях, которые ей довелось когда-то наблюдать между Александром Блоком и рыжеволосой Дельмас. Соня как-то даже отрастила волосы, перекрасила их в яркий рыжий цвет и стала брать уроки пения.

Во время очередного спектакля «Горе от ума», впрочем, в тот роковой день он стал для нее последним, она почувствовала себя неважно прямо на сцене. Ей было жарко, кружилась голова. Она решила, что это от голода. Поначалу ее не насторожил даже тот факт, что жарко было ей одной. Актеры играли в теплых пальто, тонкие струйки пара поднимались вверх при каждом глубоком выдохе. У Фамусова из шарфа, кольцами намотанного на шею,

торчал один лишь нос, редкие зрители в зале шикали: актера совершенно не было слышно.

После спектакля Соня ждала Петра Константиныча в комнате, приспособленной под гримерку, а он все не шел. Тогда она, превозмогая чудовищную усталость, вдруг свалившуюся на нее, подалась к своему Пете, толкнула с трудом дверь — он сидел напротив Стефки Мещерской, держал ее руки в своих, заглядывал искательно в глаза.

— Ах, Соня! Это ты! Ты меня не жди сегодня, мне еще надо встретиться по делам студии кое с кем, — он даже не повернул голову в ее сторону.

Соня не произнесла ни слова, лишь хлопнула дверью, насколько хватило сил, зашатавшись от гнева и бессилия. Тут же схватилась за перила лестницы, чтобы не рухнуть, да так и выбралась, цепляясь за перила, на мороз. Закоченевший извозчик со своей клячей был рад любой работенке. Он-то и доставил Соню, правда, не слишком прытко, до Офицерской улицы.

В тот день она свалилась в горячечном тифу. У нее начался бред, он продолжался несколько дней, Соня потеряла им счет. Обрывками она явственно видела лицо Якушина, своего давнего страстного поклонника, он что-то бормотал себе под нос про доктора, про лекарства. И — испарился. Словно не он, а его туманный призрак навестил больную актрису. Однако вскоре пришел доктор, это был Пеликис, добрейшей души человек, в минувшем году безуспешно лечивший Блока. Потом стала забегать Палашка, дворника старшая дочь, она приносила ей еду, ужасную на вкус, но, по-видимому, очень питательную; это, вероятно, Соню и спасло. Позже она вспоминала, как краснощекая Палашка стягивала с нее мокрую рубашку, пропитанную тифозным потом, меняла постельное белье, отделанное ручным кружевом, все это собрала в узел, потом, немного подумав, бросила в него лучшее Сонино платье, крепко все перевязала и вынесла вон. Больше Соня никогда не видела ни своей рубашки из тончайшего батиста, ни французского платья. Палашка вынянчила ее, вытащила, можно сказать, с того света. И все события последнего перед болезнью дня: пятнистый жар, головокружение, самодовольное лицо Стефки, измена Петра Константиныча, бегство Якушина из ее дома — все перемешалось в охваченном болью и горечью сознании, скрутилось в тугой узел. И само собой вызрело жесткое решение: пусть она умрет от голода, холода, болезней, но никогда больше она не поставит свою жизнь в зависимость от чувств даже самого идеального на свете мужчины. Нет, она не собиралась вовсе отказываться от отношений с представителями сильной половины, просто теперь она знала, что никакое, даже самое сильное чувство гроша ломаного не стоит перед лицом смерти и что только она сама в ответе за свою ничтожную жизнь. Палашке она отдала золотое колечко с маленьким бриллиантом, подарок отца в день ее шестнадцатилетия.

С того памятного дня Сонечка стала играть чувствами мужчин подобно тому, как в безветрие набегающая морская волна кокетливо перебирает прибрежную гальку. Надо отметить, что занятие это доставляло ей в молодости немало приятных минут. Чувствовать безграничную власть над мужчинами — не это ли еще одно доказательство того, что она не только не погибла в тот страшный день, валяясь в тифозном бреду, покинутая и преданная теми, кто ей когда-то истово поклонялся, не погибла не только физически, но и вышла из всей этой передряги с чувством морального превосходства, неуязвимости и абсолютной свободы от каких бы то ни было привязанностей. Отныне ей решать, кто имеет право к ней приблизиться, а кому такого счастья не видать вовек. Слишком дорогую цену она заплатила за свою свободу.

— Сержик, я нашла одну записочку — из тех, о которых тебе говорила. От моей поклонницы — той, с которой я так и не встретилась ни разу.

Старуха много говорила, она не давала ему сосредоточиться на чем-то главном.

— Может, ты ее придумала, свою глупую поклонницу, ты ведь известная фантазерка. Сама и записку сочинила.

Баба Соня пропустила фразу мимо ушей.

— Вот! «Я люблю ваши глаза — они расскажут больше о страданиях вашей души, нежели ваши неповторимые руки. Так смотреть — отрешенно и сосредоточенно одновременно, — словно вы одна знаете истину, могут только ваши глаза. Актрисы трагического мироощущения, подобные вам, всегда ценились на вес золота. Сегодня, впрочем, как и всегда, вы были чуть-чуть отдельной, и вся эта то вялая, то беснующаяся камарилья вокруг лишь оттенила вашу инаковость, вашу принадлежность миру высоких и сильных чувств. Мне, как всегда, хотелось воспарить над залом, чтобы не пропустить ни одной детали, чтобы в полной мере насладиться каждой вашей интонацией. Вы умеете гениально держать зал». Ну, и так далее. Не буду тебя утомлять.

— И вы никогда не искали с ней встречи? — Он не заметил, как снова перешел на «вы».

— Нет!

— Что ж, воля ваша. Вот только умный зритель — редкий бриллиант.

— Что это мы все о бриллиантах, Сержик! Сдается мне, ты разлюбил театр.

— Разлюбил, баба Соня! Еще как разлюбил!

— И с этого начался твой внутренний разлад? — она осторожно заглянула ему в глаза. Проницательная старуха.

— Возможно. Я не мог смириться с тем, как мой театр все рвут на части. Эти огненно-алчные Карабасы-Барабасы. А мы лишь хлопаем деревянными ушами.

— Сержик, но ведь все то же происходит с нами... время от времени... в масштабах страны...

— Баба Соня, не утешай. Я для себя давно осознал одну безрадостную истину: успех актера в огромной степени зависит от способности вступать в интимные отношения с теми, кто руководит процессом. Я говорю, разумеется, о душе, хотя не исключаю и прочего. Наверно, неправильно проводить какие-то аналогии между актерством и самой древней профессией, но, ей богу, у них очень много общего. Баба Соня, я потерял веру в разумное устройство мира.

— Ах, милый мой мальчик! Если бы ты только знал, как много раз я теряла эту веру. А она возрождалась вновь. Может быть, все дело в том, что не было в твоей жизни настоящей женщины? Мне сегодня попалась заметка о тибетской медицине, о всяких там снадобьях и зельях. Помнится, что-то там было о сушеном цветке эдельвейса, который надо собирать в сентябре-октябре, не раньше и не позже, сушить его, потом дать истлеть на огне и прикладывать к больным местам, и боль обязательно уйдет. Сдается мне, все твои женщины сорваны до срока, и потому боль твоя не уходит.

— Это все слова, баба Соня, красивые слова и только, — поморщился Сергей.

— Я вижу, ты хочешь заразить меня своим нигилизмом. А между тем, я берусь утверждать: жизнь — капризная, коварная, беспощадная, чудовищная штука, но и тонкая, совершенная, изысканная и восхитительная в то же время, — торжественно подвела черту баба Соня.

В Ташкенте, в эвакуации, Софья Николаевна пережила одну из самых сильных своих влюбленностей. Молодость осталась в довоенном прошлом, в прошлое ушли утомившие ее браки. И вот теперь в этом городе, где царило воистину вавилонское столпотворение, где с легкостью рушились былые привязанности и так же легко возникали новые, ибо никто не знал, что будет с ними со всеми завтра, Сонечка влюбилась самым роковым образом. Ей было слегка за сорок, и надеяться по большому счету было не на что.

Ее приютила большая армянская семья, выделила комнату на втором этаже с окном, выходившим на узкую улочку, затененную разросшимися чинарами. Приняли ее достаточно гостеприимно, вскоре она и вовсе стала членом семьи, ибо выразила готовность обучать музыке двух хозяйских дочерей, девочек живых, смышленых, в меру одаренных. Чуть позже она стала преподавать им французский, что произвело на армянина прямо-таки гипнотическое воздействие. За это ей позволили столоваться вместе с семьей, никогда не обходили аппетитным кусочком курятины, если случался семейный праздник, горячей лепешкой с глотком настоящего вина.

Впрочем, Сонечка вряд ли бы пропала и без хозяйских разносолов, к тому же весьма скромных ввиду военного времени. Она привезла из Ленинграда кое-что из своих драгоценностей, из тех, что решила все-таки не оставлять с основной коллекцией в полости за изразцовой печью, в опустевшем доме, на набережной реки Пряжки, ибо вовсе не была уверена, что найдет их вновь, когда вернется, да и вопрос еще — вернется ли. К счастью, прихваченные в спешке драгоценности ушли не слишком быстро, главным образом, на покупку соболиной шубки, так как убегала она налегке, с одним чемоданчиком в руках, что сообразила в спешке бросить в его худую утробу, с тем и прибыла на железнодорожную станцию «Ташкент». В первый же месяц Сонечка прикупила себе два теплых платья, несколько блузок из креп-жоржета и пару абсолютно новых ботиков. Все это благополучно перекочевало в гардероб из чемоданов приятельниц, которым меньше повезло с обустройством, да и французский знали не многие. Они были рады удружить Сонечке, лишь бы их голодные дети не забыли вкус молока и настоящего ржаного хлеба. Остальное, в том числе и великолепные ботики, было удачно выменяно на блошином рынке. Но главное, Сонечка помнила всегда, там, на Офицерской, в тайнике, покоится ее неприкосновенный запас, гарант ее безбедной жизни в будущем.

Скоро у Сони появилась соседка — милая и тихая Любаша с восьмилетней Лизкой. Они прибыли в Ташкент месяцем позже, порассказали страстей о Ленинграде, да и притихли надолго. Любаша оказалась великолепной портнихой, до войны работала в театральных мастерских. К ней потянулся потихоньку киношный люд, кто с куском бостона, а кто и с китайским шелком. Широкое армянское сердце хозяина не выдержало, трудолюбивая Любаша была тоже принята в семью.

Любаша с Лизой и стали свидетелями небывалого романа, нежданно разгоревшегося между Соней и майором НКВД. Майор был значительно моложе Софьи Николаевны, к тому же у него была семья, но он не смог устоять перед такой столичной штучкой, какой казалась ему Сонечка. Он никогда не видел таких точеных плеч, такой матовой кожи, мерцающей в пламени свечи, не знал подобных манер обольстительницы. Он потерял голову. Сонечка ни на что не претендовала, семью разбивать не собиралась и хотела лишь одного: ежеминутного восторга и проявления товарищем майором самых пламенных и нежных чувств. Все шло замечательно, насколько замечательно может идти жизнь у стареющей актрисы в чужом городе в тяжелейший для страны период.

Лизка росла на глазах. Из худющей, угловатой жердочки превращалась в дивный цветок. Здоровый румянец не сходил со щек. В этом она не уступала холеным армянским дочкам. На первых порах характера была застенчивого, но росла наблюдательной, с живым интересом к окружающему миру. Вскоре выяснилось, что нрав у нее, на самом деле, независимый и пылкий.

Когда пришла первая ташкентская весна, Сонечка только зажмуриться успела: от обилия солнца, от абрикосового и айвового цветения, от изнеживающего тепла. Нет, ей-богу, если бы она не родилась в Петербурге, стоило бы подумать о том, чтобы остаться здесь навсегда. Они выходили с Любашей во внутренний дворик, Любаша со швейной машинкой пристраивалась в тени, Соня — с учебником французского, купленного по случаю на блошином рынке, вытягивалась рядом на курпачах, облокотившись на удобную подушку в форме валика, со звучным названием «луля-болиш». Позже выплывали сонные дочки хозяина, прибегала Лизка, и начинался долгий урок французского вокруг деревянной хан-тахты под монотонное жужжание жирных азиатских мух. В центре двора располагался глиняный тандыр на специальных подпорках. Армянская семья переняла обычаи и нравы страны, в которой окончательно осела. По праздникам на вертикальных, обмазанных глиной стенках тандыра, выпекали ароматные лепешки, патыру и самсу с мясом из баранины. Самсу подавали в керамическом лягане. Ее крепкий дух еще долго витал над махаллей. И будто не было ни войны, ни голода, ни ежедневных смертей, ни потери близких.

Майор время от времени по служебным делам отправлялся в Шахруд — живописное местечко между Бухарой и Каганом. Иногда Сонечка увязывалась за ним. В прошлом Шахруд был одной из резиденций бухарского эмира. Тяжелые воды Зеравшана превратили пустыню в цветущий оазис. Дворец эмира все еще имел пристойный вид, однако не шел ни в какое сравнение с дворцом Ситора-и-Махи-Хаса в центре самой Бухары. Майор повез однажды Сонечку взглянуть на сей замечательный памятник древней архитектуры. Поговаривали, последняя жена эмира была англичанкой. Наверно, не так плохо жилось эмирским женам, если холодная, чопорная, привыкшая к роскоши англичанка снизошла до любви азиата. Иногда Соня пыталась представить себя на месте той англичанки. Нет, не представлялось. Даже если у нее была относительная свобода, где и с кем она могла общаться на равных, не ощущая постоянной униженности? Ведь она была одной из многочисленных жен, пусть и осыпанных милостями мужа, и он — не она — решал, с кем провести ближайшую ночь.

В Бухаре нашли временное пристанище Подольское артиллерийское училище и Харьковский тракторный завод, который практически мгновенно перепрофилировался в танковый. Все это Соня узнавала из скупых реплик немногословного майора. Всякий раз, когда приезжали в Бухару, майор останавливался в военной гостинице, Соню же селил в доме полковника, в интеллигентной семье. По ночам Соня просыпалась от дикого утробного гула направляющихся на фронт танковых колонн.

По вечерам на узкую ташкентскую улочку за Соней приезжал майор, увозил ее в театр или в компанию сытых мужчин и женщин, иногда долго катал по городу, возвращал далеко за полночь, бывало, оставался до утра.

В один из таких вечеров, когда Соня крутилась у зеркала в только что сшитом Любашей платье, в бриллиантовых серьгах, которые рискнула достать из тайника, в новых туфлях, поглядывая с нетерпением на часы, она услышала звук резко притормозившего автомобиля. Следом раздался чеканный шаг,

так не похожий на мягкий, крадущийся шаг майора. Она побледнела, мгновенным движением руки стянула с себя серьги, сунула их Любаше, все еще приглаживающей платье на Сониных плечах, прошептала:

— Если что, все в подушке! Все твое и Лизино!

Ее увезли в тот же вечер, но уже утром она вернулась, бледная, перепуганная насмерть, но живая.

— Его убили... — процедила она. — Ничего не спрашивай, я ничего не знаю! Благо, полковник, что должен был меня пытать, оказался моим преданным почитателем. Стал вспоминать все мои премьеры, кажется, не пропустил ни одной. Сказал, что надеется на встречу, — с тоской проговорила Соня.

Встреча, к счастью, не состоялась: полковника срочно призвали на фронт. Соня вздохнула, затихла, закуклилась. Перестала наряжаться.

А потом все чаще стали приходить обнадеживающие сводки с фронта, замаячила надежда на скорое возвращение в родной Ленинград. Все чаще стали вспоминаться пронизывающие ветры, темная поднимающаяся вода в каналах, с грохотом раскалывающийся лед на Неве, белые ночи. До боли в сердце замаячили перед глазами дорогие всякому петербуржцу силуэты Петропавловки, Ростральных колонн. Дворцовая площадь стала манить своим неохватным простором, стали сниться мосты через Неву, родной дом на Пряжке. И она засобиралась домой.

Соня не узнала родной город. Дом, слава богу, оказался цел. Он зиял провалами окон, до спазма дыхания обдавал вонью загаженных подъездов, он будто онемел от ужаса и боли. Выяснилось, что квартира ее занята каким-то пришлым людом, но вопрос решился сам собой, лишь только она обратилась к своим благодетелям. Некоторых из них она нашла в тех же кабинетах, что и прежде. Только наград у них поприбавилось. Надо было начинать все с начала. Слава богу, тайник оказался цел.

Баба Соня пропала. Ушла утром на базар и пропала. Целый день надрывался телефон. Потом снова, как это было уже однажды, звонок в дверь — как предупреждение, как намек на скорое вторжение, затем скрежет ключа, бегство в темную, дальнюю комнату. А дальше тот же шелест платья, летящие шаги, какой-то забытый мотивчик — этакое мурлыканье с легким акцентом и... исчезновение. Сергея охватило беспокойство. Он уже всерьез приготовился лепить перед зеркалом противные усы, наматывать шарф, когда входная дверь снова внезапно распахнулась и на пороге возникло видение.

— Вы? — смущенно произнесла девушка. Нет, скорее, молодая женщина. Под тридцать. Не красавица. Но и не уродина. Таких много ошивается вокруг театра. А глаза умные, глаза замечательные. Нос аккуратный. Если у женщины красивый нос, ее можно считать почти красавицей.

— Что значит — «вы»? — спросил он не слишком дружелюбно.

— Вы, Сержик? — легкий, почти неуловимый акцент.

— Ошибаетесь! Смею вас уверить, что вы глубоко ошибаетесь.

— Нет! Вы Сержик! — уверенно повторила молодая женщина. — Вы Сержик и вы скрываетесь от своих женщин.

— Ах вот как, — сдержанно проговорил он, цепенея от ужаса, при этом лицо его стало каким-то опрокинутым, — понятно!

Это было слишком. Сергей верил бабе Соне как самому себе. Даже не так: в себе он мог сомневаться, но в бабе Соне — никогда. И вот эта старая греховодница, эта носительница всяческих пороков предала его в два счета.

— Простите, не имею чести быть с вами знакомым, я... — начал он надменно.

— Я Франческа. И Софья Николаевна наверняка вам рассказала обо мне.

— Допустим. Вот только подробностей я не припомню. Вы актриса?

— Я правнучка. Я правнучка Сониной сестры Луизы.

— У бабы Сони была сестра?

— Была. Но это давняя история. Луиза была на пятнадцать лет старше. Ее увезли из России ребенком. Врачи нашли у нее туберкулез, и родители отправили ее в Италию на лечение. Потом она вышла замуж за итальянца, моего прадеда... Вот я вам, собственно, все и рассказала. Хотя вы меня ни о чем таком и не спрашивали.

— А вы сами-то что тут делаете — вдали от вашей благословенной родины? — в голосе Сергея чувствовался сарказм.

— Я изучаю русскую литературу и театр.

Сергей слушал эту маленькую женщину с нескрываемым раздражением. И вдруг перехватил ее несколько удивленный взгляд. Последовав за взором молодой женщины, он увидел себя неожиданно со стороны: в стоптанных домашних тапочках с облезлым верхом, в линялой обвисшей пижаме, наверно, с плеча последнего Сониного мужа, и... невесело рассмеялся. Настолько нелепым он показался сам себе. Вот вам и признанный всеми обольститель женских сердец.

— Положим, изучать русскую литературу можно где угодно, вовсе необязательно для этого ехать в холодную и нищую Россию, — угрюмо заметил он.

— Что вы такой злой? Резкий, прямо скажем, человек. Почему это где угодно, если жива моя двоюродная прабабка, которая к тому же русская и живет в России?

— Ну да! Конечно! Вы правы. — Он пожалел, что затеял этот никому не нужный разговор.

— Простите, Сержик, я очень спешусь, — сухо проговорила итальянка. Видно-таки была задета его неприветливым тоном. Потому и смешное «спешусь», наверно.

— Торопитесь, то есть?

— Да, тороплюсь. Вот продукты для бабы Сони и для вас. Она сегодня за ними не пришла. Передавайте ей привет.

— Кстати, баба Соня пропала.

— Нет, не пропала. Не беспокойтесь. Она скорее будет, — снова не слишком точно выразилась молодая женщина.

И Франческа ушла, ускользнула. Франческа... Какое чудное имя. Сочное и сладкоголосое. Можно влюбиться в одно только имя. Мягкий голос, мягкие жесты, закругленность во всем. Господи, если бы можно было начать все сначала. Встретить такую бабу: без надрыва, без жажды все время кому-то доказывать, что ты лучше, краше, талантливее остальных. Приткнуться бы к такой. И не надо театра. И никакого лицедейства, послать к черту всю эту ненасытную жажду аплодисментов, эту эфемерную власть над зрителем, когда не можешь справиться даже с собой. Заняться простым делом. Мужским, мужицким. Строить дома, к примеру, прокладывать дороги, растить детей. Он снова стал думать об Аленке, и снова защемило в груди. Вспомнилось почему-то, как плакала она над трупиком котенка на проселочной дороге, как кривила ротик и умоляюще требовала: «Папа, ну скажи, правда ведь, котик останется жить, ему только лапку чуть-чуть отдавило?!»

Послышалась долгая возня у входной двери, скрежетание ключа, и, наконец, на пороге появилась баба Соня.

— Сержик, милый, я так устала, — сказала она, едва отдышавшись.

— Где вас носит, невозможный вы человек? — раздражение вырвалось наружу.

— Ты уж не обижайся на меня, глупую, — я встречалась с твоей Настей.

— С кем? — не сразу понял Сергей.

— С Настей. С девочкой, которая в тебя влюблена.

— Ну, это уж слишком! Когда же ты угомонишься? Что ты себе позволяешь, старая сплетница? — он не заметил, как снова перешел на «ты».

— Я должна была ее увидеть, — старуха потупила взор.

— Да чего, собственно, ради?

— Я хотела ее пожалеть. Хотела понять, за что они тебя так любят.

— Поняла? — в сердцах выкрикнул Сергей.

— Ни черта не поняла, — простодушно ответила старуха.

— Как ты ее нашла? Это же невозможно!

— В твоей записной книжке, — баба Соня стыдливо опустила глаза — прямо-таки, ни дать ни взять, подлинно святой человек, никогда не скажешь, что этот человек вечно обуреваем жаждой сомнительной деятельности.

— Так ты еще роешься в моих вещах?

— Какие там вещи? Только и осталось от твоей прежней жизни, что записная книжка. — Баба Соня поняла, что совершила бестактность, но было поздно. — Я хотела понять, кто любил тебя сильнее, — заискивающе добавила она. — А Настя — чудная девочка. Молодая и чистая. Обостренная такая, вся устремленная вверх. Она бредит тобой. Она тебя боготворит.

— Думаешь, я этого не знаю? Да только сознавать всякую минуту рядом с нею, какое ты ничтожество, было выше моих сил.

— Ну ладно, ладно! Ты только не волнуйся так! Тебе вредно так волноваться.

— А я и не волнуюсь. Вот возьму и закручу роман с твоей Франческой, и подамся в хваленую Италию. Буду ассистировать ей в вопросах искусства, — выпалил вдруг Сергей.

Что-то, видно, мелькнуло в его взгляде, ибо баба Соня тотчас побледнела.

— Франческу не тронь! Я не отдам тебе Франческу, — по-старчески бессильно взвизгнула она. — Я не позволю тебе испортить ей жизнь.

— Ну вот, ты наконец и сказала все, что думаешь обо мне. В общем, я понял. Я подлец, я последняя сволочь. Я дурачу всех своих баб.

— Сержик, прости!

— Что-то ты слишком часто прощения просишь, — холодно отрезал он.

— Прости меня! Я не то хотела сказать.

— Не надо, уважаемая Софья Николаевна. Я все понял. — И он, ссутулившись, побрел в свою комнату.

— Сержик, я просто... Я просто старая дура... И я ужасно тебя люблю.

Бессонная ночь была обеспечена. Надо бежать из этого дома, из этого склепа, где вещи и чувства живут как замшелая память о прошлом, где властвует старуха-призрак.

Когда-то она была феей из доброй сказки. Любаша привела его — ему было четыре или пять, он уже умел читать, — и оставила его на целый месяц. О! Что за чудный месяц это был! Это был фейерверк, череда удовольствий: шатания по кафешкам, килограммы мороженого, поездка в деревню, а там босиком по росе, верхом на лошади, и только старый Митрич страховал для порядка. Потом снова был город, детский музыкальный спектакль — нечто оглушившее и ослепившее его разом. А по вечерам — сказки, сказки, сказки. С костюмами, со сценой и занавесом. Вот тогда она и заронила зерно любви, отравила душу театром.

А потом случилось так, что он провел с ней целое лето в Гаграх, в роскошном особняке (наверно, принадлежащем очередному ее любовнику) на берегу моря. Любаша навещала их дважды, и оба ее приезда ужасно злили его. Ему было девять, и он отвык за лето от бабки и матери. И стало ему казаться, что Соня — настоящая его родня. Ему было весело с ней и с прибившимся к ним театральным людом: были там актеры и начинающие драматурги, и все выказывали к нему уважение и любовь. Никогда больше подобное сборище людей, близких к театру, не казалось ему столь симпатичным и занимательным. Любаша уезжала с горьким чувством покинутости: настоящую бабушку вытеснила лжебабка. Мать, как всегда, была где-то далеко, на съемках в бесконечных экспедициях, и чувство постоянной тоски по ней несколько приглушилось на фоне бесконечного, безудержного праздника.

Любовь к театру чередовалась, как водится у мальчишек, с романтической жаждой путешествий, приключений. Был период, когда почему-то очень хотелось строить мосты. Там, где горы разделяются бурными реками, где царит первозданная тишина, а в небе точкой зависает ястреб.

Лучше бы он строил мосты!

Сергей вспоминал свои частые ангины, когда день, казалось, замирал в долгий послеобеденный час: без покатостей, без шероховатостей, без всякой надежды на обычный свой исход. Он боролся со сном, но сон его все-таки одолевал как раз в тот момент, когда он изучал новый альбом с марками, купленными Любашей, чтобы поддержать дорогого внучка. И многочисленные марки с видами городов, заповедников, их флорой и фауной дарили небывалую уверенность в том, что жизнь бесконечна, прекрасна и что все у него сложится замечательно. Он так и засыпал на этой счастливой ноте, с марками в руках.

Потом, позже, по мере того как он взрослел, предметы, символизирующие благоразумное устройство мира, эти тотемы божественной истины, менялись, приобретая все более личный характер. К примеру, журнал с его фотографией на обложке, программка с его фамилией в день премьеры, восторженные статьи в разных журналах — доказательства его успешности становились все более зримыми, материальными, такими конкретными.

И вот теперь пустота. И он цепляется за образы, за воспоминания, он хочет выудить из всего этого трепетного барахла нечто главное, но все рассыпается в труху. Он пытается вспомнить дни, мгновения, хотя бы одно из них, когда он был безоговорочно счастлив. Январский день, морозный, ясный, чуть голубеющее небо, прозрачный воздух, Машкины глаза — такие же бездонные, как январское небо, их теплота, их обещание — все это слилось с высоким накалом чувств героев, которых они воплощали на сцене в день своего дебюта.

Потом — не сразу — что-то потихоньку стало ускользать, уже не хотелось со всякой мыслью бежать друг к другу навстречу, пошли какие-то упреки, мелкие придирки, подозрения, непонимание, а дальше и вовсе нежелание понять другого. В душу вползала скука. Театр еще как-то роднил, пока грел их души, но все больше они замечали фальшь на сцене и друг в друге.

Рождение Аленки стало праздником, вспышкой счастья. Этот день до сих пор окрашен в зелено-голубые тона. Все утонуло в нежной дымке весеннего утра, когда уставшая после ночного дежурства медсестра, в которой он вдруг почувствовал друга, разделившего с ним тяготы той ночи, сообщила по телефону, что у него родилась дочь. Он мысленно увидел свою маленькую девочку зеленоглазой, тоненькой, бегущей летним утром по изумрудному саду с голубыми ирисами под неумолкаемый щебет птиц... Он будет счастлив

рядом с этой крохой, спустившейся с небес, чтобы напомнить ему о чистоте Божьих помыслов. Только бы не перепутали ее ни с кем в роддоме!

Серый день тянулся бесконечно медленно. Франческа, загадочная и решительная одновременно, куда-то пропала: то ли в посольство ушла, то ли в издательство. Сергей не заметил, как начал тосковать по ней. Да и баба Соня в очередной раз отправилась «по делу» и как сквозь землю провалилась. Всеми покинутый, Сергей лежал на диване прошлого века, диван под ним покачивался и скрипел. Сергей выкуривал очередную сигарету. Сколько раз он пытался покончить с этой пагубной привычкой, все было тщетно. Порой он ненавидел себя. За то, что слаб, что не хватает воли, решимости расстаться с сигаретой. Бывало, не курил месяцами, но стоило учуять запах табака, как все возвращалось на круги своя. Что можно хотеть от окружающих людей, каких поступков, правильных, благородных, несуетных, если человек не может справиться сам с собою? Сергей глубоко презирал себя.

Первую сигарету ему вложила в сжатые губы Инна Виноградова. Ему было шестнадцать, ей тридцать пять. Она читала низким голосом свои туманные стихи, он внимал ей со страхом и волнением. Потом она осыпала его горячими поцелуями, жаром нерастраченных чувств. Много позже он понял, что страсти в ее жизни было предостаточно, просто эта страсть имела узкопрофессиональную направленность. Искусав ему губы, она снова принималась курить, театрально заламывала руки, страдала. Руки у нее были необыкновенно красивые... Сейчас бы он бежал от такой женщины со скоростью горного козленка, которого преследует ненасытная, кровожадная тварь, но тогда... он не мог дождаться очередного свидания. Он бредил ее руками, он тысячу раз и на все лады вспоминал и вспоминал, засыпая, как она проводит тонкими нервными пальцами по его затылку, и волна внезапной неизведанной радости снова накрывала его. Он дрожал от ее прикосновений, с нетерпением ждал, когда же, нацеловавшись до сумасшествия, до потери чувства реальности, она начнет расстегивать ворот его рубашки. Воздух был полон взаимного изнурительного томления. Поначалу эта женщина демонстративно искала причину, по которой должна была уступить мальчику, но поскольку Сергей вовсе не собирался ей в этом помогать, она как-то быстро обмякла и сдалась. В тот момент робкий шестнадцатилетний ребенок впервые прочувствовал до конца все повадки женской сущности, ее переменчивость и постоянство. Эта была минута абсолютного восторга перед глубиной открывшихся отношений.

О, эта женщина знала толк в любви. Со временем ее стихи стали жестче, ласки грубее. Он ловил себя на том, что хотел бы поскорее проскочить лирическую прелюдию, тем паче, он мало что понимал тогда в ее изысканных рифмах и ускользающих образах, — он хотел более осязаемых прикосновений, нежели душа к душе. А у Инны, как назло, пошел поэтический подъем, она писала в тот год много и жадно, чувства мучили ее, рвались наружу, ей не хватало аудитории, восторгов, ей казалось, все это она счастливо нашла в юном мальчишке с горящим взором. А потом приходил черед ласк, неистовых и жадных, — Сергей терял голову. Он похудел, стал бледным, нервным, и только огромные глаза горели особенным блеском. Мать и бабка перепугались не на шутку.

Сергей вдруг подумал, что если бы у него был юный сын, он бы за руки и ноги оттащил от него женщину, подобную Инне Виноградовой. Хищник не должен свободно разгуливать по пастбищам, где мирно пасутся стада невинных тварей. Ребенок не должен касаться больной, надломленной души,

в которой незаживающей раной зияет патологическая склонность к разрушению. Ребенок не должен касаться того гнойника, от которого, не ровен час, загноится и его неискушенная, дотоле чистая душа. Опыт — это первое погружение в холодные и темные воды ада.

Сергей снова закурил. Руки дрожали. Тьфу и еще раз тьфу! Что за жизнь? О чем ни подумает, все бередит сердце. Где обитает ныне Инна Виноградова? Превратилась, поди, на сытых американских харчах в бесполое существо, аморфное и неживое. Какие там стихи в стране, где все пресыщены и нелюбопытны? О чем петь, если любовь продается за углом? Фу ты, черт! Какие-то глупости в башку лезут. Ну, причем тут любовь за углом? Стихи ведь не голод диктует и не отсутствие отдельного сортира, и уж точно не факт наличия-отсутствия продажной любви. Стихами плачет душа.

Сергей решительно встал с дивана. Антикварная ножка хрустнула и надломилась.

— Ну вот! — с тоской подумал Сергей. — Началось! Где тут у бабы Сони молоток и гвозди?

Сергей не понял сам, как очутился в театре. Слава богу, не забыл приклеить свои бутафорские усы. И не напрасно. Потому что рядом, впереди, в зрительном зале сидела Настя. Она склонилась над программкой, по-видимому, изучала, кто заменит его в спектакле, и он залюбовался, как это не раз бывало, линией ее по-девичьи тонкой шеи. От нее повеяло утренней чистотой, свежестью проснувшегося сада. Рядом почему-то нарисовалась Аленка. И как они бегают по ожившему весеннему саду с маленьким дымчатым котенком.

Женщины в юности и женщины в молодые годы — это разные существа. В двадцать женщина, как натянутая тетива, готова выпустить стрелу в каждого, кто не признает ее интеллект, а уж тем более потрясающую красоту. Она изобретет способ наказать всякого, кто усомнится в ней, она пришла в этот мир, чтобы одержать победу. А через десять лет она источник совершенства, она уже понимает, что мир не переделать, да и ко всем, кто не восторгается ею, она теряет интерес, зато она точно знает, какие слова произнести, на какие кнопки нажать, чтобы мужчина потерял тотчас голову. Она утонченна, она остроумна, она вся — блеск и очарование. Она недвусмысленно говорит: пора незрелой личности в линялой футболке поумнеть и превратиться в мужчину, иначе пошел ты к чертовой матери. И если ты не оценишь сей важный факт, не уловишь скрытый намек уже в первый вечер, ты будешь раскаиваться в этом всю оставшуюся жизнь.

На сцене шел спектакль, в котором Сергей когда-то — как будто совсем недавно — играл главную роль. Настя часто прибегала посмотреть на него, она ему здорово помогала своим присутствием. Она чувствовала нерв спектакля, ее широко открытые глаза были зеркалом, в котором он читал мгновенный отклик на каждое движение своей души. Он пришел посмотреть, как Илья, а он ни минуты не сомневался, что именно Илья подхватит эстафету, — справится с новой ролью. Неяркость красок, невыпуклость приемов и, в конечном счете, незавершенность облика составляли актерскую сущность Ильи. Но именно эта контурность, эта пунктирность более всего привлекали в нем зрителя.

За Марию Сергей был спокоен. Однако что-то произошло, что-то сдвинулось в пространстве спектакля. Люська не давала ей играть в полную силу. На всех трудных Машиных монологах Люська то гремела стулом, то роняла книгу, потом что-то еще, — она всячески отвлекала внимание зрителей, — словом, начала известную со времен «Театра» Моэма игру. И Маша явно занервнича-

ла. Потом Люська и вовсе спрятала (спрятать что-то на сцене — это надо исхитриться!) телефон: поставила на пол и изящно так задвинула ножкой под кресло, Маша в это время стояла к ней спиной. В общем, у Машки чуть не началась истерика прямо на сцене. В конце концов, она сообразила, где его найти, этот чертов телефон, но всем посвященным стало ясно: объявлена война! Неужели обещанное бабой Соней вмешательство уже принесло свои плоды?! Правда, похоже, несколько иные, чем те, на которые рассчитывала Машка.

Настя сидела в зале и почему-то здорово нервничала. Давно пора прекратить эти визиты в театр: его здесь нет, и даже нет уже памяти о нем. И если уж быть до конца честной с самой собой, то это должно быть к лучшему. Еще недавно она замирала, лишь только звонил телефон, и летела к дорогому Сереже навстречу, и задыхалась, когда он целовал ее прямо в фойе театра, на виду у собравшейся публики. Но все остальное: равнодушие Сергея к ее жизни, пренебрежение к той ее части, в которой не было и быть не могло его, потому что Сережа сам этого не хотел, — все это больно ранило ее...

А теперь эта старуха утром, как привидение, как привет с того света, напугала и позабавила Настю одновременно.

Актеры играли ужасно. Все, что прежде притягивало ее в театр: его воля, его энергия, — теряло нечто главное, растаскивалось на сцене по углам, студенисто расползалось, словно лишенное каркаса. Что-то разладилось на сцене, что-то чужое, инородное вторглось в это пространство и разрушило ауру спектакля. Насте показалось или на самом деле послышался некий глухой, бесконечный, неконтролируемый всхлип? Девушка оглянулась — какая-то неведомая сила заставила сделать ее это. Мерзкий тип в старомодных очках, с куцыми усами немигающим оком глядел на нее. Она поднялась, не дождавшись антракта, и под шипение зрителей поспешила прочь, подальше от всего этого кошмара...

— Нет! Ты только подумай! Ну, сука! — Маша металась по гримерной. Собственно, ей было все равно, что ответит Илья, бешенство клокотало в ней. — Ну, с-с-ука! Она мне сломала жизнь. Она не дала мне ни одной роли, пока я была молодой, она всегда настраивала его, этого безмозглого деятеля от театра, против меня. Теперь она и вовсе решила меня уничтожить. — Черные подтекшие разводы туши вокруг глаз изуродовали Машино лицо.

— Маша, да не волнуйся ты так. Подумаешь, спрятала телефон. Сцена обрела некую глубину. Согласись, эта ее акция была в русле драматургии спектакля.

— Слушай, ты часом не в ее команде? — зло прошипела женщина.

— Маша, ты говоришь ерунду. Тебе надо успокоиться. Если уж хочешь знать мое мнение, раз Люська пошла ва-банк, значит, почуяла близкую кончину. — Илья смотрел на нее преданно и, несмотря ни на что, чуть влюбленно.

Маша удивленно подняла глаза на Илью. Эта мысль была достаточно новой и показалась заслуживающей внимания.

— Думаешь?

— Не знаю, что такое могло произойти, но Люська занервничала.

— Кажется, я догадываюсь, — сказала разом успокоившаяся Маша. — Давай пить какао, плесни, будь добр, кипятку из термоса — что-то горло сушит.

Во втором действии она вышла другой. Она успокоилась и позволила Люське вытворять все, что той заблагорассудится, смотрела на нее немного иронично и как будто со стороны. Это было некое новое прочтение драматургического материала. Сергей мысленно поаплодировал Маше.

Чем больше дней уходило с момента непоправимой беды, тем дальше отдалялся он мыслями от Маши, пока не осознал, что ушел навсегда. Иногда он представлял ее в объятиях Ильи, но это уже не ранило его столь сильно, как в день — тьфу! — его похорон, не казалось предательством. После того, как человек предает себя сам, справиться со всем остальным остается лишь делом времени.

Он выскользнул на улицу. Шел дождь, самый настоящий дождь в декабре. Однако Сергей не чувствовал ни холодной промозглости, ни ледяного ветра. Он видел лишь неоновые огни, отраженные в мелкой ряби лужиц, парочки, спешащие под зонтами к автомобилям, пьяного посетителя кафе, только что покинувшего его уют и теперь неуверенно голосующего на дороге, молодых людей за высокими окнами того самого кафе, невеселую официантку, обслуживающую посетителей, молоденьких девушек, спешащих на позднее свидание. И только ему в этом мире не было места.

Баба Соня смотрела телевизор, когда он наконец добрался до ее дома.

— А! Сержик! А тут такой веселенький спектакль. Садись, я тебе приготовлю чаек, — по-старушечьи тяжело засуетилась она.

— Спасибо, я сам.

— Ты только посмотри на Рубенчика! Ни кожи, ни рожи, а как играет! Вот что такое талант, Сереженька!

Сергею не хотелось ввязываться в этот извечный разговор о театре. Он знал, что баба Соня может говорить о театре сутки напролет. Причем то, что она будет утверждать сегодня, зачастую идет вразрез с тем, что она говорила вчера. Все зависит от настроения, от того, кому и что она хочет в данный момент доказать. Иногда доходит до смешного. «Театр умер! — говорит она, если оппонент вдохновенно начинает рассуждать о театре. — Театра в известном смысле уже нет, как нет и истинной литературы». В другой раз она как бы вскользь заметит тому, кто станет слишком уж хулить театр: «Э, голубчик! Не вам судить о театре! Не вам объять эту громадину. Театр вечен, пока существует жизнь!»

— Сержик, — начала она издалека, — я тут разработала некий план по твоему спасению. Если ты, конечно, не возражаешь.

— Вы невыносимо добры ко мне, почтенная Софья Николаевна, — проговорил он так, что трудно было понять, разозлился ли он снова либо был полон прочувственной благодарности. — Меня спасти нельзя. Меня можно только добить. Но это лишь дело времени.

— Сержик, ну поиграл немного в трагедию, и довольно. Ты гениальный актер! Я всегда утверждала это. Хотя мне редко приходилось слышать, чтобы ты учинял детальный анализ выпавшей тебе роли. Да и оценки великим драматургам ты тоже выставлял нечасто. А ведь бывало, в жизни мне приходилось становиться свидетельницей потрясающе глубоких и удивительно тонких умозаключений. Правда, порой их почему-то выдавали на редкость бездарные актеры.

Сергей криво усмехнулся. Иногда Соня все-таки умиляла его.

— Послушай, у меня есть кое-какие связи в паспортной службе.

— Откуда, баба Соня! — неожиданно развеселился Сергей. — Уж не шпионка ли ты? Не разоблаченная со сталинских времен!

— Ну, не шути так. Я же была в свое время человеком известным, среди моих поклонников попадался народ серьезный, а у них были дети, потом пошли внуки, и кое-кто из них и теперь любит театр и даже знает его историю.

— И что из этого следует?

— Я, пожалуй, смогу организовать тебе новый паспорт на чужое имя, какое — выберешь сам. Если ты, конечно, окончательно решил покончить с прошлым. Хотя, повторяю, ты делаешь большую ошибку. Нельзя так просто русскому актеру перешагнуть в иноязычную среду.

— Поэтому ты помогаешь мне исправить ошибку самым радикальным способом?

— Ладно, мы еще поразмышляем на заданную тему. В конце концов, это ничуть не хуже, чем депрессировать и дальше на диване. Франческа организует тебе визу в Италию.

И, не дожидаясь ответа, старуха поковыляла на кухню.

Сергей был не просто сбит с толку, вот только теперь он окончательно осознал, как далеко зашел. Ну и проницательная ведьма баба Соня! Франческа поможет... Франческа. Он повторил ее имя несколько раз и вдруг почувствовал, что в его жизни что-то враз изменилось самым волшебным образом. Может быть, это был знак, которого он так долго ждал.

Зазвенел телефон. Он автоматически взял трубку.

— Алло! Алло! — это была Ленка. Вот ведь неймется кому. Только он собрался хлопнуть трубкой, как она продолжила:

— Сереженька, милый, не бросай трубку. Я знаю, это ты, милый. Милый, я буду молчать, что ты жив, если ты этого хочешь. — Сергей надавил на рычаг.

Окончание следует.





ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

Всю правду о жизни сказать

* * *

Почему облака не ложатся на землю?
Почему они в небе, как птицы парят?
Почему и куда — отступают метели,
И — синее небес — ручейки и моря?

Почему только в мае кукует кукушка?
И считает года, говорят, а кому?
Почему так люблю я из детства игрушку —
Самодельную куклу — никак не пойму.

И люблю я не замок, а дом — в три окошка:
На окошках — краснеет, белеет герань,
На завалинке дремлет с котятами кошка,
И встаю я, босая, в рассветную рань,

До зари, чтобы встретить ее и приветить,
Вот моя панорама — крыльцо и окно:
Дрогнет занавес ночи и робко осветит
Первый луч тихо-тихо... А вот и Оно

Солнце! Чуть показалось, опять, снова — чудом,
Сквозь лазурь, что налита в прозрачный стакан
Утра, вспыхнет, сверкнет изумрудом,
И, пульсируя, света польется река...

Я всю жизнь одного неизбывно хотела —
Уложить этот свет — на невиданный холст,
Только красок таких не нашла, не сумела.
Много лет мне, но — снова, все тот же вопрос:

Почему...

Что думаешь ты, мой попутчик?

Скажи мне, что думаешь ты, мой попутчик,
Об этой метели? Не видно ни зги...
О чем ты молчишь? Может, было нам лучше
Рассвет подождать? Лошадей распряги,

Ямщик! Слава Богу, мы на перекрестке,
Останемся в теплой избе ночевать!
Пусть буря утихнет. Поганые версты
Пришлось нам — полжизни — преодолевать.

Кого только мы с тобой ни подвозили:
Озлобленных лузеров, с язвой в груди —
Тупых себялюбцев... Завистники злые
Нам мстили за то, что мы с ними в пути

Делились теплом своих песен и хлебом,
Порой, отдавая последний кусок,
Но — необъяснимая злоба — под небом
Растет, как лавина.... И — пулю в висок

Направил обласканный раньше — твой близкий...
За что? Ни за что. Потому, что — чужим
Он видит тебя, потому, что — прописка
Теперь не роднит на земле... Едок дым

Горящих костров, изживают со света
Любви идеалы и дружбы святой,
Но все ж.... Вслед за ночью — приходят рассветы,
Сквозь сердце, сквозь сердце... Ведь мир этот — мой.

* * *

И пали стены крепости огромной,
Овины и дома сожгли дотла,
Остыли печи, фонари и домны....
А крепость, впрямь, Великою была.

Но заглушили сад полынь и терний,
Поэзия исчезла без следа...
Бал правит над обманутою чернью
Кто сам обманут. Всюду, и всегда.

* * *

Пришли времена: обступают нас маски, не лица:
Предательство — нормой считается, доброе — злом,
И силы иссякли, осталось одно лишь: молиться,
Чтоб душу спасти... Зло сидит за почетным столом...

Уйми свое сердце, что слова не знало «измена».
Мы жизнью своею построили эти пути,
Мосты и дороги крепили идущим на смену,
Но «смена» пришла, и спешит уничтожить мосты.

Беда, коль вандалы глумятся над воином, павшим
В бою за Отчизну, и ворон уже за спиной,

А наши-то, где? И вокруг почему-то не наши?
И дом разделился на части, мой дом — не чужой.

Как выжить, не сдаться, ведь если — не вор ты, то — жертва,
И, коль не подлец, суждено тебе жертвою стать.
Одно только держит так крепко еще среди смертных,
Что я не успела всю правду о жизни сказать.

* * *

Этот ветер и ночь, и метель — всего
Повидала, по сердце в снегу я.
Так случилось: всю жизнь я любила его,
А он любит всю жизнь — другую.

Как сказать и кому: васильки и луга,
И березы из самого детства,
Все, что помню, что знаю, ему берегла,
И куда теперь это все деть мне?

Я читаю тебя между знаков и строк,
Я давно о тебе все знаю,
Как заученный с детства священный урок,
Потому что — я — замерзаю.

Я спасусь, только надо всю жизнь забыть,
Золотые ее крупинки
Подвели меня: свили канат, не нить,
Привязали к Брянским тропинкам.

Что за люди идут по твоей судьбе?
Что за души — все нараспашку?
Я поеду, поеду домой, к себе,
Погадать на белой ромашке.

* * *

И жалею, и зову, и плачу.
Только нет ни голоса в ответ.
Что деревни нет давно — есть дача,
Правда, детства моего — там нет,

Где меня окликнули бы: *«Тома!*
За водою! Бочку наноси!
Прополи картошку! Чисто в доме
Вымой пол. Не ной. Не голоси.

Не забудь нарвать крапивы кошель,
Порубить и с зернем помешать,
Поросят накормишь, ну, а после
Можешь сесть, стихи свои писать!»

Где он, этот рай? Сияет месяц
Над волшебным ночи полотном,
Ива, косы в хрусталях развесив,
Сказочным сияет фонарем!

Чудо — рядом было, под ногами:
Помидоры, яблоки, морковь,
Георгины — рядышком с кустами
Хмеля и акаций... И — любовь!

Так легко все, радостно давалось,
Все цвело, звенело наяву:
И украдкой, при луне — читалось,
Пелось, танцевалось и влюблялось,

Потому — и плачу... И зову.

* * *

Все стонем, рассуждаем:
«Перевернулась жизнь!»
А жизнь идет по краю
Околицы, не зная,
Что мы по ней страдаем,
Она при чем, скажи?

Вот — вспыхнула закатом,
Вот — песней разлилась...
Она не виновата —
Кому не удалась.





ЛАРИСА КАЛУЖЕНИНА

Два рассказа

Василичи

Министр иностранных дел на открытии выставки не был, находился с визитом в соседней, кажется, Литве, хотя с его подачи эта вся каша и заварилась: пригласить из Парижа бывшего соотечественника, известного французского живописца, а может и не только французского, а вообще, европейского, мирового, никто из чиновников в посольстве не рискнул бы точно определить статус мосье Андрэ Ромашкофф теперь, когда любая из его картин, даже мелких, камерных, уходила за большие деньги по всему миру.

— Запомни, пока я здесь живу и дышу (стук палкой об пол), тебе никогда, запомни, (еще раз — громко, палкой) никогда не увидеть своей выставки, ни в этом городе, ни в этой стране!

«Как все просто было тогда, в семидесятых», — подумал Андрей, поднимаясь вместе с тучей чиновников минкульта, журналистов и прочей публикой по мраморной лестнице Национальной картинной галереи, где его ожидало открытие персональной выставки, интервью для первого канала телевидения и после всего, по слухам, грандиозный фуршет в ресторане национальной же кухни с веселым названием «У Лявона».

«Да, просто было. Черно-белая гуашь, без полутонов. Любовь — ненависть. Выездной — невыездной. Загнивающий запад и победный соцреализм. А дед, оказывается, жив, ему чуть не девяносто, но еще в позапрошлом году стучал палкой на студентов Академии, учил студиозусов уму-разуму, а теперь, говорят, просто работает в мастерской. Пишет, а ему скоро десятый десяток!»

В ногу Будник был ранен под Будапештом, так и ходил с палкой с юности, привык к ней настолько, что пользовался виртуозно, как третьей рукой. Многорукий Шива, бог Академии, профессор, лауреат и орденоносец. Авторитет. Мальчики середины 70-х, послевоенные мальчики в замусоленных, длинных патлах, с безусловным принятием всего, что удавалось пронюхать с запада, ему, в самую раннюю пору жизни на этом западе сражавшемуся, искалеченному в той жестокой битве, любое отступление от твердых живописных канонов казалось предательством. Обижаться на него? Но ведь это была сама искренность, только покрытая пленкой застоя, как красивое, с белыми кувшинками, камышовое болото.

Мысли Ромашкова перебило движение. Он шел, машинально переступая по ступеням, покрытым приглушенно-вишневой, новенькой еще ковровой дорожкой, уже больше ни о чем не думая, не вспоминая больше ничего, пока его вели на место и устанавливали как мебель в центре зала под жалящими вспышками фототехники. Он был спокоен, собран как всегда, любезен, кивал, отвечал на вопросы, и вся канитель закончилась довольно быстро.

Стали вновь перемещаться с группой сопровождающих к лестнице, как вдруг его кто-то тронул сзади за руку, дернул довольно выразительно за рукав пиджака, так что он не мог не обернуться. Лешка Сидорчик, постаревший, в темной с проседью бороде, с глуповато извиняющимся выражением лица тянулся к нему навстречу. Ну да! Я же не чиновник ЕС, не военный атташе. Художник. И потому сопровождение такое: пестрое, и без охраны. Вот и настиг старый приятель. Довольно просто. Прошел сквозь толпу и дернул за рукав пиджака.

Теперь банкет? Хотелось хорошего французского полусухого. В последние годы он стал позволять себе бокал-другой на всяких торжествах. Интересно, есть ли у них хорошее французское вино, или хотя бы болгарское. В прошлом году, в Пловдиве...

— Слушай, ты мне нужен по делу, очень нужно поговорить, — Леха, истребитель прекрасных воспоминаний, смотрел на него в упор. Но ведь стариннейший приятель, вместе с первого курса Академии, снимали комнатенку у старухи на Гамарника, питались вместе... чем? Об этом лучше не вспоминать. Но и потом — одна мастерская на двоих под самой крышей многоквартирного дома, огромное окно и каждый в своем углу, пока не обрушился на Ромашкова Париж. Переписки не было. Но какая переписка с Парижем в те годы! А позже все как-то само собой заглохло. Потерялись. Но он узнал его сразу, будто не седовласый дяденька стоял перед ним, а тот самый худющий блондин в единственном темно-синем свитере, растянутом чуть не до колен, с неумелой заплатой на левом локте, прихваченной зеленой случайной ниткой. Пожали друг другу руки, вместе стали спускаться по лестнице и оба молчали. Группа сопровождения тоже безмолвствовала. В вестибюле все както замешкались у вешалки. Лешка уже одетый (и когда успел?) снова стоял перед ним. И что оставалось делать? Ромашков сказал:

— Слушаю.

* * *

До Василичей езды оказалось часа два, хотя Сидорчик уверял, что максимум час с небольшим.

— Ты только посмотришь, что да как, с отцом Геннадием побеседуешь, и мы сразу назад, как пули, моментально назад.

Но ехали на старом «форде», километров 80 в час тащились. Андрей от таких скоростей в Европе отвык, но решил благоразумно вытерпеть все до конца. Через час спросил только:

— А что-нибудь поесть у тебя найдется?

Ничего у него не было, конечно.

— О, придорожный сервис у нас развивается! — Лешка то ли ерничал с испуга или пиетета, а может оттого, что отвык от приятеля, то ли и сам есть хотел, непонятно. Остановились на минуту в придорожной гостинице, зашли в буфет.

— Видишь, и у них евроремонт, — не унимался Сидорчик, — можешь зайти в туалет смело. Уверен и бумага будет, и все на свете, даже мыло.

Андрей окинул взглядом буфетную стойку. Безнадежно. Бутылки «Спрайта», что-то еще, дурно обжаренное, и прошел в холл гостиницы, где сидела тетенька, как показалось вначале — злая. «Нельзя проезжающим, только своим туалет».

— В самом деле? — смутился Андрей.

Но тут неожиданно смутилась тетенька.

— Конечно, идите, надо вам, идите, — и протянула ему ключ от туалетной комнаты. И почему-то спонтанность этой доброты так поразила Ромашкова, что после, выйдя к машине, он стал вытаскивать из кошелька местные деньги, стал спрашивать у Сидорчика совета, сколько дать на чай портье, но Сидорчик, в свою очередь, еще больше удивился и заверил, что ничего давать не нужно, пустила и ладно.

Они тронулись с места и опять пошли по обеим сторонам дороги бесконечные лиственные леса, ласковые березовые рощицы вперемешку с корабельными соснами. Ноябрь стоял необыкновенно теплый, ни снега, ни холодных дождей, и в лесах еще кое-где виднелись старые листья, а хвоя и вовсе радовала глаз беспримерным своим вечнозеленым праздником.

Под конец пути, усталый от вчерашней суматохи Ромашков, незаметно для себя уснул и только тогда открыл глаза, когда густой, хриплый бас большой овчарки на привязи резанул в уши.

— Приехали, — сказал Сидорчик, — вылезай, гостем будешь.

— Приехали! — какая-то девчушка на длинных, журавлиных ногах, выскочила откуда-то с бокового входа, радостно подбегая к собаке: — Я подержу, вы его не бойтесь!

Ромашков действительно недолюбливал собак и замялся, стоя у открытой машины. А девчушка, схватив пса за ошейник — такая длинненькая, хрупенькая, держала его, огромного, рвущегося с цепи, приговаривая: — Тетя Вера его целую неделю лечила, он же под машину попал, дурень, она его бинтовала, и теперь, смотрите, поправился.

Тетя Вера уже спешила к ним навстречу, тоже без пальто, в переднике, с изящно повязанной на голове косынкой, по виду совсем простая женщина, но с каким-то природным изяществом и даже щегольством, как сразу почувствовал Ромашков.

Прошли боковым входом через маленький коридорчик и очутились в просторной темной истопной с котлом в центре и в глубине с лежанкой бабы Кати, бывшей уральской бомжихи, прибившейся сюда, в дом милосердия на краю белорусской деревни, у самой почти границы с Латвией, с год назад. Андрей машинально оглядел существо ростом метра в полтора: теплые лыжные брюки, вылинявшие так, что цвет их определить было невозможно, старая девчачья курточка с закатанными рукавами. Баба Катя следила за котлом и сейчас только, засыпав туда порцию торфяных брикетов, как ребенок, моргая глазами, застыв у синего шведского котла, молча смотрела на них.

— Пошли, пошли, — заторопила всех Вера, и они стали подниматься на второй этаж, в гостиную, куда уже прибежала та самая девчушка Вика, что удерживала во дворе собаку, и где Андрей увидел еще двух девочек, лет десяти и пятнадцати, тоже молча стоявших под портретом шведской королевской семьи, висевшем на голой стене.

Длинный стол посреди комнаты, полдюжины разномастных стульев, телевизор рядом со старым, неработающим компьютером и справа, во всю стену, самодельный киот с иконой Спасителя по центру, покрытой вышитым белорусским рушником. Вера все хлопотала, бегала на кухню на первый этаж, строгала капусту, морковку, делала салат. Девчонки тоже — приносили приборы, расставляли посуду на пустой, без скатерти, стол, а после тихо, застенчиво застыли у стены.

Сидорчик, о чем-то вспомнив, встряхнул руками и побежал вниз к машине:

— Привез немного, — передал он пакет девчонкам. Те взяли, но не стали ничего разворачивать, не только жадности, но даже и обычного любопытства не проявляя, пока Вера, на ходу зыркнув на пакеты, не бросила: — Ну что же,

угощайтесь. Тогда осторожно вынули по апельсину, стали очищать кожуру, остальное положили на край стола. Стояло в углу еще два широких, размашистых кресла. Оба гостя устроились на поцарапанных обивках, подлокотник на кресле у Андрея совсем отвалился, но все равно сидеть было удобно, покойно и тепло, и если бы не Вера, которая все летала по комнате, все кружила в хозяйственном ознобе, мелькая перед глазами, то и совсем прекрасно.

Внизу послышался шум машины и Вика, засияв, кинулась со всех ног вниз по лестнице: — Отец Геннадий!

И другие девчонки, словно встряхнувшись ото сна, бросились следом: — Отец Геннадий!

— Батюшка наш приехал, — Вера как-то подобралась вся и, тоже сияя, заспешила на первый этаж. Так и вошли они в гостиную всей толпой и во главе ее лет пятидесяти, среднего роста, худощавый священник, тот самый отец Геннадий. Неторопливо и приветливо, радостно даже поздоровался с Алексеем, а затем протянул руку Андрею, тоже радостно, но глаза его при этом исподволь изучали гостя, зорко и недвусмысленно. Уселись за стол, Вера подала рыбу, хорошо протушенную, вкусную. Были еще какие-то шведские консервы, девчонки их ели неохотно, а Ромашкову их и вовсе не предложили.

После ужина, когда взрослые остались одни, отец Геннадий какое-то время сидел молча, словно не зная, с чего начать разговор, но тут сотовый его задребезжал настойчиво, вызывая на требы в соседнюю деревню, и он, быстро собравшись, отъехал, пообещав возвратиться часа через два. Сидорчик же, словно только и ждавший этого случая, нервно соскочил с кресла, возрадовался: — Ну, прекрасно все получается! Отдохнешь, девчонки тебе покажут хозяйство, осмотришься, а после сразу в Минск, назад, как пули!

— А то бы и заночевали у нас, — вступила в разговор Вера, — в комнате для гостей. И чтобы уже наверняка убедить странноватого гостя, добавила: — Там и шведские спонсоры ночуют, когда на свое Рождество к нам приезжают. Оба стояли и смотрели на него. Андрей кивнул, и Вера кликнула Вику. Та прибежала вместе с Леськой и сообщила, что Танька уже внизу, кормит кроликов и птицу.

— Вот и проводите туда гостя, — сказала Вера. Девчонки тотчас повиновались и кубарем скатились вниз по лестнице на первый этаж. Без визгу правда, но весело, а Вера, плавно спускаясь вниз по крутым ступеням милосердного дома, на ходу распекала их:

— Как твой нос? — спрашивала Леську. — Все сопли? Где платок? Носовой платок где?

Леська, на ходу вытащив платок, быстренько дунула в него и первой открыла дверь на улицу, куда и выскочила прямо на мороз в одной кофтенке, и все также весело поскакала к небольшому сараю в углу голого, покрытого чахлой травой, двора. Сидорчик с Андреем совсем было двинулись следом, как из боковой комнаты на первом этаже выкатила сухонькая, словно сморщенный фасолевый стручок старушка, и, засеменив к группе гостей, вежливо им поклонившись, чмокнула Андрея в руку. Сама поднесла к губам и чмокнула. Остолбеневший Ромашков застыл на пороге.

— Это бабушки наши, — заулыбалась Вера, — одинокие. Привыкли, как у нас говорят, за польским часом, ручки целовать панам, так и не отвыкли за советскую власть. Трое их у нас живут и еще одна приходит на обед. Поест, уйдет и спасибо не скажет. Ну, я на кухню.

— Да, верно, — соображал Андрей, — ведь это Западная Белоруссия, это же Польша была до войны.

В сарае вовсю хозяйствовала Танька, подстилая солому кроликам, вычищая клетки. Приглядевшись, Андрей понял, что эта щуплая, с маленьким, осунувшимся лицом девчонка, совсем не подросток, что лет ей может 18 и даже больше. Но во всем облике ее было что-то такое ребячье-беззащитное, что делало ее не просто моложе, а именно целомудреннее и беззащитнее.

Алеська, опередив всех, уже стояла, прижимая к себе серого кроля, а вслед за ней и Вика, бестрепетно ухватив другого кролика за длинные уши, по временам наклоняя к нему аккуратную головку, зарываясь тонким, точеным носиком в кроличий мех, удерживала его на руках. Обе мешали Таньке работать. Но та не жаловалась, не протестовала, а продолжала скрести клетки, только перешла к самой дальней из них.

— Мы еще и козу заведем, — похвасталась Вика и, взглянув на нее пристальней, Андрей поразился: перед ним было чудо едва раскрывшегося бутона какого-то в будущем диковинного, прекрасного цветка. И эта удивительная фигурка на грациозных, длинных ножках, и черные, вразлет, брови, которые век назад назвали бы соболиными, и вся она, лицо, волосы, вся обещала стать такой неповторимой красавицей, что у Ромашкова перехватило дыхание и мысли побежали какие-то совсем восторженные, одна нелепей другой. О каком-то портрете ее и, возможно, о подиуме — за такую красоту заплатят миллионы, чтобы только видеть ее на постерах ежедневно. Потому что это натурально, или даже нет, не просто натурально. Это природно, изысканно. Это настоящее! Не плебейские рысьи мордашки из привычного обихода последних лет, но что-то донельзя породистое и именно настоящее.

— Красивая девчонка, — Сидорчик улыбался, глядя на него. — Зося сделала несколько портретов с нее в смешаной технике. Хорошо получилось, тонко.

Они уже выходили из сарайчика и шли по двору к дому. Зося? Зоська Цитович, их общая на младших курсах любовь? Так они поженились все-таки, и Зося жена его...

— А где она? — спросил Ромашков машинально.

— Как где? В Минске. Преподает в училище, пишет. Здесь в гостевой комнате ее работы, хочешь взглянуть?

Он, конечно, хотел и долго рассматривал несколько небольших рисунков над кроватью, аккуратно застеленной стар采еньким пледом. Мелкая какая-то речушка, местная, наверное, речка. Старые валуны. Сосны на закате с оранжево-красными стволами. И девочка, тихая, задумчивая, с белой лентой в темных волосах, а глаза голубые... Не мелочное осмысление фактов бытия, людей, пейзажа, и даже не особая какая-то одухотворенность, творческая самобытность, ему, как профессионалу очевидные с полувзгляда, нет, не это завораживало в небольших картинках над кроватью. А что? Он бы не смог сказать, в словах выразить то, что ощутил так сразу, ясно, и только удивился, вздохнув: — Надо же, как Зоська теперь пишет...

И было понятно, что женская это рука, по плавности линий понятно, по прозрачности и самому настрою. «Но ведь здорово, не хуже знаменитых японцев, честное слово, не хуже, во всяком случае, также своеобычно», — решил Ромашков.

— Выставляется она где-нибудь? — спросил у Сидорчика.

И про самого Алексея хотел расспросить, но как-то замялся, убоявшись, и они быстро вернулись в гостиную, где девчонки, сидя на коврике перед телевизором, смотрели видеофильм о снисхождении Благодатного огня от Гроба Господня на Пасху. Размеренный, хорошо поставленный, несколько усталый голос актера Баталова с едва заметным московским говорком, комментировал происходящее. Вначале яркие всполохи по всему куполу огромного собо-

ра, спуск Патриарха ко Гробу, молитва его, и вот он — Благодатный огонь в тысячах свечей сразу, по всему храму из рук в руки переливающийся. Безудержные вопли каких-то африканских паломников, прыжки их, радостная сдержанность монахов, разноязыкие паломники-миряне, огромное людское пространство и весь собор — одна сплошная радость и ликование, у каждого своя и всеобщая.

Время шло к десяти. Леська уже клевала носом, девчонки ушли к себе в комнату. Отец Геннадий, только что вернувшийся с треб, сидел за столом вдвоем с Верой. Большая коробка конфет от прихожан лежала здесь же, на столе.

— Ну, забросали ваших подопечных сегодня конфетами, — обратился к нему бодро Ромашков. Священник устало кивнул, опустив веки. Вера хлопотала у чайника, Сидорчик — тут как тут — стал рассказывать гостю, что по весне думают они разбить свой сад, посадить яблони, кусты смородины, будут свои витамины, а Зося привезет из Ботанического сада какую-то удивительную сирень. Отец Геннадий кивал все также устало, а после заговорил о солярке. Три тонны солярки для котла, вот оно, главное, для зимы. Торфобрикеты дорогие, а соляра — она не подведет. Ромашков вынул чековую книжку, но батюшка замахал руками: не так все просто, оказывается, взял, выписал чек. Кучу бумажек надо оформить. Ромашков растерялся: — А если из Парижа перешлю, по приезде? — Еще хуже, оказывается. Кто переслал? Зачем? Почему? Сложно. Лучше уж тут, на месте, но с бумажками. Сидорчик страдальчески морщился над своей чашкой. — Но у меня завтра рейс, в три часа, самое позднее — к десяти утра я должен вернуться! — взорвался Ромашков. Мужчины дружно закивали. Никто не возражал, надо, значит надо. И тут Вера, не выдержав, заговорила о доверенности. Как бывший бухгалтер, а теперь молодая пенсионерка, знала о чем говорит. Выписать доверенность и точка. А оформить бумаги можно и после. Мужчины опять дружно закивали, и все стали пить чай. Через час милосердный дом погрузился в глубокую тишину.

* * *

Зося все выбирала: Андрей или Алешка? Ромашков или Сидорчик? Нравилась обоим, и ей оба нравились, но как-то вяло нравились, все-таки больше думала об учебе тогда, о будущих великих своих творениях. Но после Академии время помчалось еще быстрее, чем в студенчестве, его стало мало для всего задуманного. И оказалось, задумать — одно, а жить, не творить даже, а просто жить изо дня в день — совсем другое. Через полгода после отъезда Андрея за границу они поженились с Сидорчиком, она перенесла свои причиндалы, как называла холсты, краски, кисти и прочее, к нему в мастерскую, и теперь они работали здесь вдвоем, каждый в своем углу, она в том, где раньше работал Ромашков. Через год умер их сын-первенец, глупо, беспощадно, от полного, как тогда казалось, недоразумения. Стало тихо в мастерской. Тимощенко, собиратель древностей, как они между собой в компании его называли, больше не приводил на вечерние посиделки начинающих поэтесс, молодых театральных звездочек местного измерения. Не являлся больше и косматый Рудик с вечным насморком и бессмертными пейзажами, и многие еще богемные друзья и подружки, всех выдул холодный декабрьский ветер вечно открытой форточки. Она годами приходила в себя после потери. Не было тогда ни психотерапевтов, ни церквей, во всяком случае, никто о них не ведал. И Зося годами перемалывала свое горе и долго жила по инерции — все

существуют, и я тоже существую. Не писала года два. Потом пошел какой-то давящий кошмар. Время тянулось бесконечно. А по телевизору одни за другими шли похороны генеральных секретарей. Собственная молодость, безмерные, казалось, силы, давили ненужным грузом. Алексей молча страдал рядом, молча, словно не вмешиваясь ни во что. Было плохо обоим, но он работал. Он теперь работал как бы за двоих, за нее и за себя. Только через десять лет родилась Маша, худенькая, слабенькая, любимая дочка Маша. А Союз разваливался. Маша росла, а все вокруг шаталось и растекалось мутными потоками дождя по стеклу. Потом стало как-то стабильнее, но Зося уже ничего не замечала: у нее была работа в училище, и работа в мастерской, и у нее было дитя, дочка, растущая не по дням, а по часам, и требующая своего. Время опять побежало стремительно, но не только для нее. Тот временной галоп начала девяностых со многими сыграл злую шутку. Людей разбросало, разнесло по разным континентам и странам. Рудик в Израиле пейзажи свои оставил. Старик-отец его, через короткое время после приезда впавший в глубокий маразм, нуждался в лечении, нужны были деньги и на учебу старшего сына. И он ушел на завод минеральных вод простым работягой на конвейере. Но с годами выдвинулся, а позже и вовсе выкупил завод у хозяина, отбывшего куда-то в Европу, процвел и разбогател. И однажды появился в родном городе, раздобревший, без кучерей, но азартный, и, собрав бывших друзей, устроил грандиозный пикник с фейерверком, где под всполохи фантастических огненных цветов на ночном небе обнимался со всеми, даже с неизвестно откуда вдруг появившимися незнакомыми прихлебателями, пил шампанское и в конце концов совсем раскис, разрыдался, и его увезли в дорогой отель отдыхать. Зато Тимощенко, уже не только де факто, но и де юре главный приватный антиквар столицы, заполучив вместе с прибывшим капиталом и хроническое заикание, от старых богемных привычек отрекся начисто. Повел дружбу с охотниками и при всяком удобном случае старательно ускользал из города, чтобы пострелять уток где-нибудь в Тьмутаракани. Подружки его, поэтессы и писательницы, тоже рассеялись в пространстве. Об одной было известно, что сперва открыла она косметический салон в Техасе, а после переехала куда-то в Калифорнию. Другая, помаявшись в безработных актрисах, вышла замуж за итальянца, но быстренько возвратилась на родину и сейчас руководит детским театральным кружком.

* * *

Алексей оставил Ромашкова одного. Две гостевые кровати стояли в комнате второго этажа, но после всех событий вечера и он хотел побыть один, и на лице Андрея ясно прочитывалась усталость ото всего, не столько от событий даже, сколько от окружающих, привычная усталость современных людей друг от друга. И теперь, скорчившись на коротком для его роста диванчике в гостиной и пытаясь уснуть, Алексей по временам открывал глаза, жмурясь, пытался разглядеть дальний лик Спасителя на противоположной стенке и едва различимую в темноте икону преподобной Евфросинии, хранительницы здешнего очага. В церкви ее имени служил отец Геннадий. Небольшое местечко, километрах в двадцати от милосердного дома.

— И когда он все успевает? — сонно соображал Сидорчик. — Мотается по всей округе на стареньком джипе, подарке шведов. А от церкви, где служит, до другого местечка, где живет, еще километров тридцать. Привычные для него, столичного жителя километры, здесь, на сельской Белой Руси, и он теперь хорошо знал это, превращались совсем в другие расстояния.

Исхоженные пешком в ожидании нечастых автобусов дороги, становились бесконечными путями, из деревни в деревню, полем, лесами, бесчисленными песчаными проселками.

В свой первый приезд сюда в начале января прошлого года, когда он шел от дома милосердия к магазинчику на другом конце озера, колкая неподвижность зимнего воздуха и какая-то отстраненная голубизна холодного неба, и то, что за весь путь до магазинчика не встретил он ни единой души, словно раздвинули для него границы окружающего пространства. Он шел мимо старого кладбища и дальше, по берегу большого мелкого озера, покрытого прозрачным слоем льда, охваченный странным чувством одиночества и полной своей заброшенности. И потому как родной обрадовался незнакомой продавщице в магазинчике, шутил с ней, накупил сразу несколько килограммов лежалых бананов — из фруктов ничего здесь больше не было, — и еще больше возрадовался, возвратившись под кров милосердного дома, в его тепло и свет, хотя топили так сильно только для него, гостя. В обычные дни, как он узнал позже, топливо экономили и жили, по выражению Веры, прохладно. Также и Зося, хотя приехала сюда уже в начале весны, в самый разлив бегущей от озера мелкой речки, побродив по окрестностям, повосхищавшись старинной архитектурой заколоченной церквушки у кладбища, первозданной чистотой сельского воздуха, вдруг села в уголке гостиной молча и также промолчала весь обратный путь, глядя сквозь ветровое стекло куда-то, скорее всего, в никуда.

Пришел знакомый художник к Сидорчику, о чем-то поговорили и тот вдруг предложил: — Не хочешь отдать картинку на продажу, любую, надо помочь милосердному дому.

Так впервые услышал он об отце Геннадии, в прошлом выпускнике их Академии, только курса на два помладше. Сидорчик его и не помнил совсем. Картину он, конечно, отдал, а через время еще одну. А после поездки в Василичи звонил знакомым ребятам, клянчил у них работы, и все давали, у кого просил.

Какая-нибудь персональная выставка в пятьдесят, к юбилею. И это все? Но галерей мало, даже конкурса в Академию теперь нет, случайные люди поступают. И его ровесники, как-то незаметно ставшие солидными дядьками, толкуют о самобытности, о корнях, но пропуск на биеннале в Венеции как пропуск в рай. А там в прошлом году вовсе даже и не художник победил, а бывший какой-то музыкант, и музыка его — набор скрипов заезженных пластинок. Да, господин Малевич, такой от вас подарок мировому искусству. Черный квадрат как итог, а живопись, сказал, кончилась. Ну и кончилась... Молодых жаль. Играют с вещами, как правило, шокирующими. Изобретательность, изощренность ума. Бедному обывателю и не вообразить такое. Но ведь для него стараются. А разве это цель? Не дерзость даже, а просто глупость. И невдомек им, что западные авангардисты годами рисуют гипсы, прежде чем впасть в ересь отрицания.

Сидорчик перевернулся на правый бок.

— Святая простота! А ведь она есть, ее не может не быть, святой и недоступной, как небо.

В четыре утра наверху, на втором этаже, измученный, невыспавшийся Ромашков, позабывший в гостинице лекарства от бессонницы, от желудка, ото всего, поняв, что ни секунды больше не сможет пробыть в тесной комнатушке с иконой какого-то святого прямо над входной дверью, встал, резко отбросив старенький плед, и, ежась от нервного озноба и холода комнаты, принялся натягивать на себя одежду, модные ботинки, а после, крадучись,

хватаясь руками за стенки, неверным шагом начал спуск вниз, в холл, где замер, не представляя, как выбраться наружу. Два выхода было в доме, во двор и на улицу, но как найти их, он не знал.

* * *

О неимоверной работоспособности студента Ромашкова в Академии ходило много слухов. По приезде во Францию, в первые пять-шесть лет, он работал так, что времени оставалось на еду, краткий сон да изредка на созерцание метровой зеленой лужайки у глухой стены дома напротив. Мастерская его — убогая клетушка убогого блочного дома на окраине, единственным окном выходила на эту замусоренную лужайку, которая и спасла его, связав с реальностью. Все остальное было не просто фантастично, но похоже на нехороший, тяжелый сон, долгий и тягуче-однообразный. Никому неведомый и не нужный художник откуда-то с востока. И добро бы с востока настоящего, пряно-тайваньского, с каких-нибудь океанских островов. А то ведь славянин, да еще из коммунистической империи. В семье Ромашковых хранилось предание о каком-то далеком предке французе, якобы замерзавшем при отступлении разбитой наполеоновской армии, больном и умиравшем, но доброй белорусской семьей спасенном. Фотографий тогда не водилось, и был ли этот француз лицом реальным, а не фольклорным, неизвестно. Внешность у Ромашкова была вовсе не французская, скорее в отца-волжанина, после другой, уже Великой Отечественной войны, осевшего в Белоруссии, которую он освобождал. Только вот странность: несмотря на замкнутость первых лет во Франции, язык Андрей освоил сразу, с лету, и говорил на нем почти без акцента, точнее с акцентом парижским. «Мадам Настя», как называл он впоследствии свою несостоявшуюся благодетельницу, наоборот. Хотя и жила во Франции всю жизнь, с ранней юности, за долгие десятилетия своего белорусско-крестьянского акцента не преодолела, да наверное и не хотела преодолевать. Мадам-вихрь, она неслась по жизни на бешеной скорости, жена известного супрематиста и сама своеобразный, интересный, как многие полагали, художник. Миновать Андрея она не могла. Из-за железного занавеса тогда не так много просачивалось людей. Тем более он был свой, компатриот, белорус. И Андрей получил приглашение в Кальян, куда и отправился в наемном «ситроене» один, без жены. Старуха только что вернулась из СССР и накрыла его с головой. Здесь были Плисецкая и Брежнев, собирание навоза по дорогам в детстве, и белая шубка в июне, в современной деревне на родине вызвавшая настоящий шок. Музей мужа в Бьоте, который достраивала и собиралась подарить Франции, и еще один музей его памяти, в Нормандии. И репродукции всех великих художников всех времен и народов, которые собиралась после напечатания их в Швейцарии кому-то в Союзе дарить. Они ужинали в тесном кругу, как она сказала, и эта добрая дюжина домочадцев и гостей, сидевшая за столом, дружно попивая вино, хохоча, споря и перебивая друг друга, оглушила его.

— К Пикассо тебе пока рано, старик совсем стал желчен, ужалит насмерть и не заметишь. А к Шагалу зайдем непременно, познакомлю.

Она знала сотни, а может тысячи людей, и почти всех помнила по именам. Крепенькая, термоядерная «мадам Настя», великая труженица, правоверная коммунистка и заядлая спорщица.

Когда большой, со вкусом обставленный дом ее наконец затих, Ромашков крадучись спустился со второго этажа, куда его поместили после затянувшегося чуть не до рассвета ужина, и в темноте довольно скоро отыскав

наружную дверь, вышел на стоянку к своей машине. От красного вина, выпитого вдоволь за ужином в нарушение всех житейских правил, которым он следовал всегда, даже в пьяненьком студенчестве, и позже, даже в богемном окружении, неукоснительно и строго, как солдат, не осталось и следа. Голова была ясной, только ноги предательски подрагивали. Но он, не раздумывая, забросил на заднее сиденье дорожную сумку, и включив зажигание, как вор, вполне серьезно умоляя чужой, наемный «ситроен» не тарахтеть сверх меры, вырулил вначале на узкое шоссе, а после на магистраль, по которой покатил сперва осторожно, но вскоре понесся во весь дух на север, к Бордо, откуда часов около одиннадцати, наскоро перекусив, устремился к Парижу, к своей клетушке, метровой лужайке, тишине и работе. От краткого рывка на юг в памяти еще несколько лет жили отрывочные воспоминания о знойном духе кипарисов и созревающих лимонов, о легком, все пронизывающем свете, да настойчивом треске цикад. Скуластое лицо пожилой женщины с аккуратным пробором гладко уложенных волос, ему, широко известному впоследствии мастеру психологического портрета, и в голову не пришло бы изображать. В политике он разбирался слабо, но фальши не любил. А фальши было много и здесь, но еще больше в покинутом Союзе. «70 драгоценных камней к 70-летию дорогого Леонида Ильича». Как можно было принимать такое или даже восхищаться? И то, что он никогда не увидит галереи Флоренции, Лувр, росписи Сикстинской капеллы, живьем, а не на слайдах или в репродукциях. Но главное — вечный окрик: то нельзя, это нельзя, вечная палка старика Будника, страх, который уже в тебе, ты сломан, как бедняга Васька Мезевич со своими многострадальными танцорками у фонтана в Центральном парке. Группа девчонок в хороводе, легкие платьица, веночки на голове, пляшут вокруг воды. Он вылепил их такими легкими, почти невесомыми. — Вы что это! — сказали. — Надо уплотнить. — Он уплотнил. — Но это же толстые тетки, — сказали, — тогда почему в веночках?

И он сдался, он сделал все, как просили, что-то совсем уже непотребное, потому что дело запахло судом, растратой «народных денег». В городе смеялись, но у Ромашкова история эта всегда вызывала не смех, а священный ужас. И еще он знал, что может больше, что карьера успешного книжного графика, купание в заказах и деньгах, словом, все, что не раздумывая оставил на бывшей родине, не его потолок. И потому не рассуждая устремился к цели, как молодой, упрямый ослик, только по временам прядая ушами и вздрагивая всем телом, когда быт или безденежье, жалобы жены или такие вот стихийные броски на юг, не отрывали его от работы. Он был аскет? Может быть, Ромашков не копался в этом. Но те, кто вывел его, наконец, на широкую дорогу признания, и впрямь были аскетичны. Мужчины и женщины в нелепых, как у Чаплина шляпах-котелках, широченных юбках-штанах, с длинными, лоснящимися прядями иссиня-черных волос. Каждая черта их бронзовых лиц хранила невозмутимую аскезу, древний, абсолютно незыблемый код индейской расы, так и не разгаданной до конца человечеством, непонятой и им самим, жалким потомкам некогда великих народов, бредущих теперь босиком по горным тропкам от селения к селению с грудой пустых горшков на продажу, наваленных высокой, в два человеческих роста горой, на согнутые спины.

Первый его серьезный покупатель на западе был аргентинец, женатый на француженке и осевший навсегда в Париже. Его рассказы заинтересовали Ромашкова. С деньгами только на обратный билет он прибыл в Байрес, как местные жители для краткости именовали свою столицу, и сразу утонул в потоке уличной жизни, делая бесконечные наброски, впитывал, наблюдал, работал. Но уже через неделю, пресытившись сильно европеизированной

здешней жизнью, сбыв несколько привезенных с собой картин, попал в боливийские Анды, где задержался уже подольше. А позже и вовсе добрался до гватемальских Антигуа, Санто Томас и Чичикастенанго. Купание в глубоком прохладном озере у подножия вулкана обернулось бронхитом. Он отравился местными тортильяс с непонятной начинкой, которые покупал у торговки на рынке в Солола. Его сутки выворачивало наизнанку, а спас вечно сонный, простодушный местный Гиппократ отваром из каких-то корешков, вместе с пучками сухих трав, развешанных под потолком хижины, куда приходил лечиться весь поселок. Странно, но после успеха латиноамериканской серии, на корню закупленной в Штатах, он ни разу не подумал вернуться на континент, ни разу не оглянулся назад, в прошлое. Даже с новой своей женой, бразильянкой, познакомился в Брюсселе. После развода и новой женитьбы были куплены апартаменты с видом на Сену, но кажется это так и оставалось самым крупным его приобретением. По-прежнему равнодушный ко всему кроме работы, свой успех у немцев он воспринял уже как должное. Немецкие живописные ценители, в вечных комплексах, в вечном соревновании с лягушатниками, как бы чего нового у тех не пропустить, платили хорошо, но его занимали мало. Он уже трудился свободно, легко, он уже был Romashkoff, имя на арт-рынке, уважаемая личность для арт-дилеров.

Примерно в это же время развалился Советский Союз, и его родина стала независимой республикой. Однажды он получил приглашение на прием в парижское их посольство, но был за границей и приглашение осталось без ответа. Через год, ко Дню независимости, приглашение повторилось, и Андрей ему внял. Было мило. Он познакомился с атташе по культуре и послом, приятной, средних лет женщиной, внучкой легендарного партизана. Еще позже последовало официальное предложение о персональной выставке. Он внял и ему с двумя мелкими оговорками: безупречное освещение и убытие через 48 часов после приезда. Было обещано и это. Так Андрей очутился на бывшей родине. Впервые за тридцать один год.

* * *

В шесть утра после недолгого, нервного сна, Сидорчик встал, спустился вниз и мимо пустой лежанки бабы Кати вышел на заднее крыльцо. Было темно особенной, предрассветной темнотой ноябрьской глухой ночи. Но постепенно облака рассеялись, и лукавый месяц осветил двор неверным светом. Баба Катя была уже на ногах и кормила собаку. Пес жадно ел, а маленькая, все в тех же лыжных брюках фигурка, попыхивая папиросой, стояла рядом. От Веры Сидорчику было известно, что баба Катя по старой бомжевой привычке проводит на улице целый день, даже в дождь, а ее застарелый цистит Вера лечила долго, но все-таки вылечила травами. Сейчас баба Катя, молча кивнув Сидорчику, продолжала стоять, глядя на собаку и улыбаясь чему-то своему. Алексей вдруг вспомнил, как она молилась. В один из приездов, вечером ненароком увидел их всех, обитателей милосердного дома, молящихся перед сном. Одна из старушек при поклонах все хваталась за поясницу, громко охая, девчонки фыркали от смеха, а Вера, прерывая чтение, строго одергивала их. Баба Катя стояла как все, уже не в брюках, а в непонятной какой-то, чужой юбке и тоже крестилась вместе со всеми и кланялась, и ее сосредоточенность и отстраненное спокойствие сильно поразили тогда Сидорчика.

Отворилась дверь. Заспанная Танька вышла во двор и поздоровавшись с ними, прошла к сараю кормить живность. Сидорчик вернулся в дом и вспом-

нив, что Вера вчера жаловалась отцу Геннадию на неисправность в котле, присел на корточки возле непонятного агрегата.

— Батюшка уже починил вчера, еще когда в первый раз приезжал, — Вера наклонилась к нему приветливо. — Идемте завтракать, я напекла блинов.

Алексею совсем не хотелось есть, он никогда не ел в такую рань, но поплелся за Верой на кухню, где за накрытым столом, обе еще сонные, уныло мокая носы в чашки с молоком, сидели две младшие девчонки. Тут только Алексей вспомнил о Ромашкове. Словно угадав его мысль, Вера доложила:

— Спит внизу, в кресле, я его пледом накрыла, даже не пошевелился. — Алексей взглянул на часы, было семь утра.

В восемь они, наконец, решительно подошли к спящему Ромашкову и Сидорчик тронул его за плечо. Ромашков спал, закинув голову и как-то неудобно, набок, повернув ее и во всю длину вытянув обутые в ботинки ноги, торчавшие из-под пледа вместе с задранными краями брюк. Открыв глаза, в первую секунду с удивлением увидел перед собой вежливо улыбающееся лицо Веры. Но тотчас пришел в себя и, справившись у Сидорчика, который час, завтракать не пожелал, умываться не пожелал, даже зубы чистить не пожелал и, захватив сверху дорожную сумку, выскочил во двор, к машине, держа в руках теплую свою куртку. Сидорчик, стараясь не отставать, юркнул на водительское сиденье, и на всей возможной скорости машина устремилась вперед, к столице.

* * *

Из-за тумана самолет взлетел на час позже. Место Андрея оказалось рядом с дамой в сари, секретарем индийского посольства, летевшей в Париж на каникулы. Они перебросились несколькими фразами и дама, зябко кутаясь в шубку, углубилась в свой ноутбук. Понимая, что не заснет, хотя поспать в самолетах он любил, Ромашков достал небольшой томик Доминика де Вильпена «Le cri de la gargulle», который накануне поездки бросил в сумку так, на всякий случай. «Крик горгульи», однако, оказался криком души самого автора, бывшего министра иностранных дел пятой республики. Чтение поучительное, но тоскливое. «Мир потребления, мир безделиц и мимолетностей, в котором здравый смысл и идеалы сгорают на костре тщеславия... С одной стороны, безграничное расширение кругозора, информация в реальном времени, с другой, крушение морали, обесценивание этики, размывание понятия «смысл жизни». Наши алтари опустели, мы в плену у абсурда, как бывало всегда при великом переломе, крушении империй, или когда всходила заря перед наступлением Ренессанса...»

— Ренессанс, — повторил про себя Ромашков и ухмыльнулся. — Все они жаждут Ренессанса, мадам и мосье с безупречным сорбоннским прошлым, безукоризненными манерами и вкусом. Но стоило ли так упорно восходить по служебной лестнице, чтобы в конце карьеры, оглянувшись, разбиться о пустоту?

Краем сознания он отметил про себя, что сейчас мысли его отстранены от Франции, от страны, где прожил последние три десятка лет, и удивился сам себе. Да, антураж его жизни, вся поверхность бытия были французскими, а сердцевина — какой? Оставалась будто замороженной, ничейной. Но так не бывает. Тогда чьей? И вдруг вспомнил бойкую дамочку на банкете — журналистка? критик? — так и не узнал. Но как она устремилась к нему, потрясая кулачками, что-то доказывая в запале. Бедные! Они все еще спорят всерьез о современной живописи. Конечно, и в постмодернистской навозной

куче можно отыскать настоящую жемчужину, и не одну. Но делать из этого серьезный предмет для спора уж как-то слишком провинциально. Все давным-давно катится по известной колее. Куда? Ну уж об этом точно не стоило размышлять.

Но вот девочка. Красивая девочка, а отец алкоголик. А у другой, совсем малышки, тоже, и кажется уже умер, а мать пьет. А та, третья, и вовсе, как сгусток горя: муж утонул, родителей давно нет в живых, а пьяница-свекр бил ее, беременную, и она родила мертвого ребенка. И старушки! Ромашков улыбнулся. Целуют ручки! Но на этой земле я родился, прожил детство и юность, и что-то главное во мне, что-то не зависящее от моих желаний, вкусов, от самой жизни, оно отсюда, и другим никогда не будет. Да, не будет! — вдруг с ужасом и восхищением понял он. И стало ясно, он догадался наконец про эти тридцать стогов сена. Каждый год рисовал стог, обычный, деревенский стог, а сверху воткнутая палка, как это принято в белорусских деревнях. Рисовал не на продажу, сам не зная для чего, и складывал картины в углу мастерской. Тридцать стогов. Настоящих. Никому, кроме него, не нужных.

Объявили о посадке. Ромашков пристегнул ремни.

— Но кажется в одном мосье Вильпен все-таки прав. Париж сильно изменился за последние годы, и не в лучшую сторону. Придется, наверное, подыскивать еще что-нибудь в провинции, коттедж где-нибудь у моря. Ну хоть в районе Гранвиля, где они с женой отдыхают подряд второе лето. Хотя ей больше нравится Биарриц. Своя собственность в Биаррице? Ну нет, эти бразильские штучки не для него!

* * *

Прошло несколько месяцев и в конце февраля Ромашков получил открытку. Старательным детским почерком было написано:

— Уважаемый Андрей Викторович! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Благодарим за денежный перевод. Желаем крепкого здоровья и успехов в труде. По поручению отца Геннадия, с уважением к Вам, Елена Кантарович.

На открытке красноперый снегирь, сидя на зимней елочной ветке, раздувался от мороза, но вид имел задорный и счастливый.

Старичок

Весной деду пошел 91-й год. Сухонький, подвижный, по утрам он все также размахивал руками в привычной имитации физкультурных движений, обтирался вафельным полотенцем, смоченным в ледяной воде, а после долго возился в саду или целыми днями просиживал в самом дальнем углу его, где росла старая, корявая, но еще плодоносная груша, и где стояло три улья. Ухаживал за пчелами и собственноручно отвозил первый майский мед в Совет ветеранов в центр. Дом его на окраине городка на самом юге Белоруссии утопал в садовых деревьях и высоких, выше человеческого роста, цветущих кустарниках. Вдоль аккуратных, посыпанных песком дорожек, росли маргаритки, тюльпаны и еще какие-то нарядные цветы ранней весны.

В Великую Отечественную войну он не воевал. Успел эвакуироваться с заводом на Урал, где на первых порах пришлось хлебнуть всякого. Особенно донимала его холодная сырость барака, куда возвращался после смены у раскаленной домны. Лет ему уже тогда было крепко за сорок. Он никогда

ничем не болел, но давало о себе знать старое обморожение ног, полученное еще в Гражданскую, и он стал ночевать прямо в цеховой подсобке, где было пыльно, тепло, и где на маленьком примусе кипящий чайник выводил свою песенку. Начальство сначала косилось, но потом махнуло рукой. Так он и жил, изредка возвращаясь в барак, чтобы сменить одежду, в подспудном ожидании хоть какой-нибудь весточки от семьи: жена его с дочерью-подростком остались на оккупированной немцами территории.

В Гражданскую его мобилизовали в Красную армию из родного Царицына и отправили на южный фронт против дроздовцев. Молодой красноармеец сражался не лучше и не хуже других. Вой снарядов, ночные атаки, пулеметный свинец с бронепоездов белых, поливающий цепи красных, и такой же свинец с бронепоездов красных, расстраивающий белые ряды, но он не был ни разу даже ранен, хотя таких как он, желторотых, толком не обученных бойцов, первыми бросали в атаку, и сколько их гибло вокруг него.

В 20-м году, когда война докатилась до Крыма, он ненадолго выбыл из строя по военным меркам совсем уже из-за пустяка: распухшие, обмороженные ноги не лезли в сапоги. Но уже через три недели догнал своих у Юшуни и закончил войну в Севастополе, где на горизонте свинцового, зимнего моря, еще дымились трубы последних транспортов белых, уходивших в Константинополь.

Он так и застрял тогда вначале в Крыму, а после демобилизации женился на бойкой, кучерявой девчонке и осел в этом южном городке, где через несколько лет родилась его единственная дочь.

А весна все разгоралась. Старая груша стояла обсыпанная на диво роскошным, бело-кремовым цветом, сулившим небывалый урожай. Дружно цвели тюльпаны, а вслед за ними выступили со своей партией красавцы-пионы и застенчивые, но такие радужно-многоцветные анютки. Жасминовые кусты пахли так одуряюще остро, что кружилась голова. А он вдруг перестал выходить в сад. Пристроившись в боковой комнатушке, куда вовсю лезли ветки цветущей за окном сливы, покорно просиживал на старом топчане, где устраивался и на ночь, прикрывшись ветхим, латаным одеялом, к которому привык и никак не желал с ним расставаться. Потом стал дремать и днем. И к концу лета, когда симфония плодов, цветов и листьев в саду достигла своей высшей ноты, понял, что скоро умрет. Смерти он не боялся никогда, не испугался ее и теперь. Странным, немыслимым для большинства качеством наградила его судьба: полным бесстрашием. И не было оно ни нарочитым, ни выдуманным и, скорее всего, даже не осознаваемым. Он просто жил и чувствовал так, как живется и чувствуется. Может, поэтому и дожил до девяноста лет без особых сожалений, без усталости от людей, событий, от самого себя.

Из родных у него оставались дочь и внук с семьей, жену он давно похоронил. Внук жил на севере, добывал нефть и копил сразу на машину и на кооператив. Дочка его, всю жизнь проработавшая в местном техникуме, недавно вышла на пенсию, но дома сидеть не пожелала, продолжала трудиться почасовиком и руководить профсоюзным комитетом. Член партии и активистка, она не любила домашние хлопоты, терпеть не могла праздники и пропадала на работе по целым дням до позднего вечера, а на лето часто уезжала в спортивно-трудовой лагерь директором. Лагерь стоял на берегу реки, неподалеку от большого, колхозного сада. И она добилась в правлении, чтобы вместо прополки кукурузы ребята смогли подрабатывать на уборке вишни. Но вышли из этой затеи только новые для нее хлопоты, неприятности и огорчения. Разудалые тинэйджеры зависали на ветках вниз головой похлеще обезьян, объедались фруктами до поноса, а когда крупные, почти черные вишни уже не лезли в горло, выдавливали их на голые торсы, размазывая по телу сок

и в таком виде являлись в столовую. По вечерам, после отбоя, бедная директриса, а вместе с нею вожатые отрядов, сидели без сна еще часа два-три в ожидании чего-нибудь нехорошего, в особенности же опасаясь драки старших отрядов с местными колхозными парнями, которые бродили в темноте вокруг лагеря, грозясь учинить великое побоище.

Загорелая, исхудавшая и бесконечно усталая, к концу лета она вернулась, наконец, домой. Еще в загородном автобусе мысленно благодарила судьбу за так и не состоявшуюся драку, но чем ближе подъезжала к дому, тем все больше ощущала смутную тоску.

— Деда! — открыла калитку и уже бегом заспешила в сад. — Деда, это я! — много лет она называла отца дедом. Но сад был пуст. Перезрелые сливы, упавшие с дерева, застилали дорожку под окнами дома. Валялись гниющие груши и только три яблони-антоновки, сверху донизу густо обсыпанные зреющими яблоками, выбивались из общего фона разорения и упадка.

«Сколько же всего в этом году уродило!» — подумала она на ходу и заспешила к дому. Жалким, иссохшим комочком старик спокойно и тихо лежал на своем топчане, то ли дремля, то ли просто закрыв глаза. Конечно, она всполошилась, вызвала врача, наготовила отцу еды, но он отнесся ко всем ее хлопотам с полным равнодушием и просил одного — покоя.

Она ушла в соседнюю комнату и проплакала часа два, но к вечеру опять вернулась к старику и, покорно пристроившись у топчана на небольшой скамеечке, так и осталась сидеть в ожидании неизвестно чего.

Старик умер в конце теплого, но уже прозрачной паутиной летящего сентябрьского дня. Были похороны неожиданно многолюдные. Было много венков от ветеранской организации и с бывшего его завода, много было речей. Внук приехать не смог, но отбил соболезнующую телеграмму.

За несколько дней до конца, утром, деда неожиданно попросил дочь позвать священника. Она опешила. Где ж его взять? На месте бывшей церкви, которую в 31-м сравняли с землей, устроен был сквер. Там по вечерам собирались пьяные компании. Дым коромыслом, ругань и даже драки. Сквер этот бельмом торчал в глазах местной милиции.

— И посоветоваться не с кем. Я же член партии! — руки у нее совсем опустились. И вдруг вспомнила о небольшой церквушке в соседнем городке. Собственно, это была бывшая деревенька, городом сделали ее совсем недавно. Но там, кажется, церковь была. Да, старая, с почерневшим от времени карнизом и, кажется, с крестом. Да, кажется, крест там был.

Утром она села в автобус и долго ехала через унылые, уже осенние поля, сделала пересадку и снова ехала, так что добралась до места в сумерках, но как-то сразу отыскала церквушку, и вправду, крест на ней был. Робко отворила невысокую, тонко скрипнувшую дверь, и вошла внутрь. Свечи горели, несколько свечей в левом притворе, и было пусто. Она растерялась и хотела уже выйти на улицу, поискать людей, но вдруг из алтаря, справа, вышел бородатый мужчина в темном и быстрым шагом двинулся к выходу.

— Простите! — она кинулась к нему, схватив за руку. — Вы поп?

Мужчина, машинально отдернув руку, посмотрел на нее. Глаза его улыбнулись.

— Нет, я дьякон, а батюшка будет скоро. К вечерни.

Она опять растерялась.

— А как бы мне его увидеть?

Что-то было в этом человеке, что-то невыразимо легкое и доброе, и, расплакавшись, она рассказала ему про отца, про болезнь его, что он ничего не ест и просил попа, ну, священника просил к себе, короче говоря.

И все устроилось. На следующий день священник прибыл к ним на старом «Москвиче» и, выдворив ее из комнаты, остался наедине с дедом, попросив не беспокоить. Она вышла из комнаты, но так и осталась стоять, прислонившись к косяку двери, не в силах сдвинуться с места, прислушиваясь к глухому бормотанию за дверью, ничего не различая в этом бормотании, покуда дверь неожиданно не отворилась и священник не потребовал: — Воды, чистой, полчашки.

Она бросилась к буфету, налила воду, подала ему. Дверь затворилась, и опять послышалось бормотание, казалось, ему не будет конца. Деда в комнате будто и не было, голос его она не могла различить, как ни пыталась. Потом священник наконец вышел и уехал на своем «Москвиче». Проводив его, она опять уселась на скамеечку в изголовье отцовской постели. Деда лежал все такой же тихий, спокойный, но уже с каким-то иным, глубинным спокойствием, которое она объяснить себе не могла, только ощущала его явственно и остро.

Через несколько дней после смерти отца, сидя одна, в холодной, нетопленой кухне, она думала о том, что надо как-то приходить в себя, продолжать жизнь. Все-таки 91-й год, старик пожил хорошо. Надо пойти в техникум, где ее подменяли на занятиях весь сентябрь, или, махнув рукой, передать свои часы другому преподавателю. Пенсии 135 рублей плюс доплата за профком, — ей хватит вполне. При воспоминании о профкоме стало почему-то совсем тоскливо. Тогда так. Передать профком, оставить часы. Всего-то полставки, немного, а будешь среди людей, в курсе всех событий... Мысли ее кружились нестройным хороводом. Деда пожил хорошо — самая была утешительная мысль, и она цеплялась за нее, заказывая уголь на зиму, и в техникуме, в разговорах, принимая соболезнования. Всплакнула раз-другой, и слезы пошли ей на пользу. Она потихоньку приходила в себя.

В конце ноября — уже прошли сороковины — разбирая старые отцовские вещи, которые решила раздать по знакомым, из того, что еще можно было раздать, неожиданно наткнулась на тонкую ученическую тетрадку в косую, допотопную линейку, открыла и прочитала:

— Я, Воронцов Петр Сергеевич, 1898 года рождения, уроженец города Царицына на р. Волга, хочу изложить в этой тетради достопамятный случай из моей длинной биографии. Мне уже 90-й год, и я чувствую себя еще бодрым, и живется мне хорошо, хотя по временам донимают меня скорбные мысли об ушедшей подруге моей, Евдокии, супруге и верному товарищу, светлая ей память. Дочь наша Анастасия с отличием окончила индустриальный институт и теперь трудится преподавателем в одноименном техникуме и хорошо ухаживает за мной. Внук мой Вячеслав трудится успешно на севере нашей страны. Супруга его Инна и дочь Наталья проживают там же.

Случай, о котором хочу повествовать, произошел поздней осенью 1918 года. Заняли мы тот уездный город поутру...

Первые отряды красных вошли в небольшой уездный городишко после двух суток тяжелых боев на рассвете. Разгоряченные кони лихо пронесли отряд авангарда по притихшим улицам мимо неказистых обывательских домишек с наглухо закрытыми ставнями. Следом за авангардом тянулась пехота. Боец — красноармеец Воронцов — вместе с другими бойцами своего подразделения едва успел расположиться во дворе допотопной мазанки на окраине, как их срочно вызвали к командиру. По тому, как нервно ходил тот по хате, задевая табурет болтавшейся на боку шашкой, как резко поводил рукой в сторону сидевшего за столом комиссара, было видно, что взволнован он чрезвычайно. Усталые бойцы замерли на пороге. Комиссар, большелобый,

рыжий, в куртке из чертовой кожи, и как все, бесконечно усталый после боев, сидел за столом, уставясь в одну точку, казалось, не слышал ничего, о чем толкует командир.

— Тут один старичок нам попался, — заговорил наконец, обращаясь к бойцам, — нехороший старичок. Придется его расстрелять. Поручаю вашему взводу.

Бойцы стояли молча. Командир устало опустившись на табурет, кивнул следом: — Выполняйте!

Бойцы стали выходить из комнаты молча, тихо, по одному. Никто не спрашивал, почему именно им поручено такое тяжкое дело. Какая-то вялая тяжесть, казалось, накрепко придавила молодых хлопцев к земле, накрыла облаком тупого безразличия. Хотелось одного: поесть да наконец отоспаться.

Отряд прошел через главную улицу к площади, где стояло уездное училище — длинное, одноэтажное строение казенного вида. На другом конце площади виднелась выбеленная, одноглавая церковь, а еще дальше тянулись обычно пестрые и крикливые, а сейчас пустынные ряды местного базара. Свернув во двор училища, взвод выстроился напротив глухой, без окон, стены.

Старичок появился как-то вдруг, неожиданно, в сопровождении двух бойцов, и засеменил в направлении отряда. Был он совсем невеликого роста, в надорванном, залепленном грязью подряснике и шел так покорно и тихо, что при виде его сердце красноармейца Воронцова вдруг защемило сильно, как от боли, и он едва не вскрикнул. А старичок, поравнявшись с ним, посмотрел на него ласково и промолвил — голос у него был старческий, тонкий: — Ты, милок, не смущайся, а что тебе велят, то и делай.

— И тогда, — писал деда Воронцов в тетради в допотопную линейку, — тогда я закричал. Закричал громко, что, сейчас уже не вспомню, и винтовку свою отбросил и не стал в старичка стрелять. И все наши бойцы, все винтовки побросали, а старший наш так побелел и тоже закричал, что старичок опасный, он с белыми удрать собирался, он у белых главный был поп, и очень вредный против советской власти. Но бойцы наши стояли и никто не стрелял. Тогда старичка увели. А на другой день его расстреляли красные китайские бойцы, только говорили, ему на рясу тогда чью-то старую шинель набросили, с какого-то убитого белого офицера.

И вот, сколько я живу на белом свете, я того старичка вспоминаю, и страшно мне вспомнить, да и про Гражданскую войну тоже. Чую свою вину, а какую, понять не могу. Поэтому и делаю эту запись. Почетный машиностроитель, ветеран труда, кавалер ордена «Знак Почета», и медали «За трудовую доблесть» П. С. Воронцов.

Через 15 лет, сидя все в том же доме, где жил и умер ее отец, и куда за эти годы провели газ и установили колонку для горячей воды, уже пожилая женщина и внучка ее, студентка-третьекурсница Наталья смотрели по телевизору последние известия. Российские новости шли здесь отрывочно. Но никто по этому поводу особой печали не испытывал. Жизнь большинства людей сделалась такой сложной, что люди привыкли жить одним днем и былого любопытства к мировым событиям не проявляли. Показывают что-то, и ладно. Завтра другое покажут, а на зиму картошку запасать.

Давно был оставлен техникум, который теперь именовался колледжем. Бывшая молодая пенсионерка превратилась в расторопную старуху-домохозяйку, жившую не столько за счет пенсии, сколько за счет закаток, так назывались здесь неисчислимые варенья, компоты и соленья с рагу, которые по целым летним дням заталкивались в банки и кипятились на новой газовой плите, а зимой продавались на небольшом стихийном привозе у автобусной

остановки. Сын старухи давно вернулся с севера, открыл было собственный мебельный магазин, но быстро разорился и вновь отбыл на заработки в Россию уже с новой женой. Внучка же оставалась с ней и это была большая радость старухи, последняя ставка на счастливую жизнь. А в счастье верила она по-прежнему, обстоятельно и упрямо.

Показали какие-то визиты, лимузины, мелькали иностранцы. Обе женщины рассеянно следили за экраном. И вдруг возникла толпа. Огромная очередь людей к недавно отстроенному собору, куда были привезены для поклонения мощи какого-то святого человека. Торжественно-равнодушным голосом диктор сообщил, что случайно, после схода особенно обильных в этом году талых вод, на старом городском кладбище города Х, бывшего уездного городка, а ныне областного центра, обнаружилось захоронение, а в нем нетленные мощи неизвестного священнослужителя. После подробных и тщательных изысканий удалось установить, что они принадлежат бывшему архиерею N, расстрелянному в Гражданскую войну в здешних местах.

Что-то вдруг так сильно защемило у старухи в сердце, что она едва не вскрикнула от боли, мгновенно припомнив старую тетрадку отца и ту запись, которую читала после его смерти, сидя на нетопленой, холодной кухне. Тот же город, и, несомненно, тот же старичок. Нетленный!

А диктор уже цитировал Серафима Саровского, про кладбище, которое будет стоять, пока покоится на нем хотя бы один праведник, и про города, и про веси, а она, вдруг ставшая совсем больной и несчастной, во все глаза глядя на экран, тихо сказала внучке: — Ну вот, девочка. Поеду туда. Попрошу прощения, поблагодарю. За дедушку, за всех нас. Поеду.

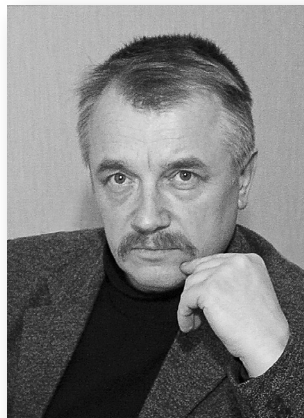
— Куда это? — машинально спросила внучка. — Куда ты собралась?

— Да вот к ним. Поеду, поклонюсь.

Внучка опять не поняла, только испугалась, таким бледным и каким-то сразу осунувшимся и постаревшим стало лицо бабушки.

А толпа на экране все шла и шла, и, казалось, ей не будет конца. И уходит она не вверх по холму, к собору, а куда-то совсем далеко, в бесконечную даль горизонта.





ВИКТОР ШНИП

И музыка с душой соприкоснется...

* * *

Дождливая холодная весна
Тебе приснится, и проснешься ты,
На белый свет посмотришь из окна,
Как из-под мутной дождевой воды,
Той, что вчера бурлила и текла
И по твоей душе, как по земле...
Душа твоя отвыкла от тепла,
Привыкнув к стуже и промозглой мгле.
Но дождь прошел, и наступило лето,
И где была вода — там луг цветет.
В зеленых волнах, в тишине рассветной
К деревне церковь белая плывет...
И ты проснулся, и глядишь с хитринкой
Куда-то вдаль, где солнце, как окно,
Где леса шнур, как в небеса тропинка,
И лен, как синеватое вино,
Что ангелами пролито давно...

Людмиле

Ты училась в литинституте
И любила гулять под дождем,
И все знала ты, что с нами будет,
Даже это — когда мы умрем.

И была ты красивой, как рифма
В том сонете, что я сочинил.
А сонет был о море и рифах,
Где, в тумане, на лодке я плыл,

Плыл к тебе одинокой, как остров,
О котором никто тут не знал.
И была грусть-печаль моя острой,
Словно стекла, что я разбивал

В тех домах, где смеялись люди
Над гуляющими под дождем,
И над теми, кто знает, что будет,
Если мы от разлуки умрем...

Ты была, и ты есть, и ты будешь
Самой близкою и дорогой...
И учиться в литинституте
Будет кто-то, печальный, другой...

* * *

Загустеет туман, и закончится лето,
Вниз сорвется звезда, словно смерть с пистолета,
И растает в тумане, как будто в воде,
И ее ты уже не отыщешь нигде.
И ты будешь смотреть в этот белый туман
И что там разглядишь — будет просто обман,
О котором не будешь ни ведать, ни знать,
И не будет кому тут о нем рассказать,
Ибо лето закончится, осень придет,
И листва золотая с ветвей опадет,
Чтобы долго в пыли придорожной лежать...

* * *

Ночью нынешней осень настала.
С пожелтевшей земли, как с вокзала,
В небеса паутиной душа
Полетела от теплого лета...
Ну, а лето запряталось где-то,
Почерневшей листвою шурша.
Лето кануло в дальние дали...
Звезды желтыми листьями стали,
И под ними я, как под березой,
Одинокий, стою в тишине,
А на травах дождинки, как слезы...
И невольно подумалось мне,
Что природа от лета устала...

Ночью нынешней осень настала...

* * *

Этот день, что в снегах догорает,
Словно в белом цветении сад,
Где летала пчела золотая,
Золотая, как листопад.

По сугробам идешь, молодая,
Ничего, что пути замело,
Сердца свет тебе путь освещает
В то, что ждет, из того, что прошло.

Ты пришла и сказала с порога,
Что в снегах день печальный угас,
Что запрятали лето сугробы
Золотою соломой в стога.

И тебе я в ответ улыбнулся,
Я твой нрав хорошо изучил.
Ты пришла... что ж, я тоже вернулся
В вечер наш. В тот, где звезды в ночи

В небесах, словно рой, золотые,
Где струится, как мед, лунный свет
В том саду, где мы вновь молодые,
Хоть с тобою нам тысячи лет...

* * *

Мамин портрет у меня на стене.
Мама с него улыбается мне...
Мама словечка не скажет, но я
Знаю, что думает мама моя.
Думает мама, затем и молчит,
И понимает, что поздно учить
Сына седого, что пишет ночами,
Черкает днем, пропадает в печали.
Но пропадать просто времени нет.
Рядом повешу отцовский портрет,
Пусть они вместе в ночной тишине
Верят в меня, улыбаются мне...

* * *

Уже давно устал ты ожидать
Весну, что нынче где-то за горами.
Там на горах еще снега лежат,
Как дни, так и не прожитые нами.

Хоть солнце светит, только нет тепла,
И греешься ты мыслями о лете,
И хочешь, чтоб скорей зима прошла,
Хоть времечко и так летит, как ветер.

Не все дождутся ласковой весны,
Не каждому весна подарит праздник,
Хоть снег растает, как дурные сны,
Но даже теплый май бывает разным...

И будет вновь весна, а после лето.
Пройдет печаль, и вновь печально станет,
И загустеют рифмы у поэта,
Как то вино, забытое в стакане...

* * *

Незримый кто-то подошел к роялю,
Иль это оживает сам рояль,
Что б вы, весенняя, не тосковали,
Как журавли, что улетают вдаль,
Родимый край надолго покидая,
Тревожа криком пашни и леса,
Как листья золотые опадают,
Слетая в воду, словно в небеса,
Где кто-то снова клавишей коснется,
Незримый кто-то непонятно где...
И музыка с душой соприкоснется
И поплывет, как волны по воде...

* * *

Не утонет в снегах старый лес,
Хоть без солнца тут мрачно и днем,
Но осталась в сосновой смоле
Золотистая память о нем,
Та, с которой по снегу идешь,
Как по белой морозной воде,
И, как крест, на плечах ты несешь
Белый снег (он, похоже, везде),
Ибо вечен он, дар января,
Как года, что ползут чередой,
И, как то, что случилось вчера,
Скрыто снегом, как лес молодой...

Баллада Константина Тышкевича

В челноке, как Ной, по Вилии плывешь,
Собирая Беларусь, чтоб не пропала
Беларусь в пыли или в полынь-траве,
А была, как Храм, где б каждый день звучало,
Как молитва, как земли первооснова,
Белорусское родное наше слово,
Что не даст исчезнуть нам с родимых нив,
Для которых были созданы мы Богом.

В Беларусь из Беларуси ты плывешь сквозь дни,
Где река, как та небесная дорога,
И по ней не каждый Ноем поплывет,

Ведь не каждый из живущих понимает,
Для чего он нынче на земле живет...

Птица вещая над капищем взлетает,
Как душа, что не нашла себе покоя,
Ведь не все в Отчизне так, как быть должно,
Хоть и всходит солнце, светит над землею
И в полях окрестных наливается зерно.
Только белорусам воли не хватает,
Всюду власть чужая: в доме, во дворе...
Ты плывешь, а волны тихо напевают
О заре,
Далекой, нашей, словно кровь,
Но с нее начнется Беларусь, и к людям
Мыслями своими ты вернешься вновь.
И тебе
Забвения не будет...

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.





ЕКАТЕРИНА КАРПОВИЧ

Муза

Рассказ

Иван Петрович стоит посреди аудитории. Вернее сказать, он не стоит, а подпрыгивает от нетерпения, так как сегодня он крайне доволен собой. Глаза его сияют, щеки раскраснелись, усики дрожат, а галстук под безрукавкой то и дело мешает, отчего приходится его поправлять. За десять лет преподавания в консерватории ему ни разу не удалось вдохновить студентов собственной лекцией, и он все время искал это вдохновение в чем-то еще: приносил редчайшие концертные записи, зачитывал неопубликованную переписку известных композиторов, и даже несколько раз показывал студентам фильмы и мюзиклы, которые, на его взгляд, просто обязаны вызывать бурю эмоций.

Аудитория большая, лекционная, студентов набилось достаточно много, и это очень подбадривает Ивана Петровича: значит, его идея, что называется, «прокатила». Пришли не только те, у кого в это время лекция по композиции, но и просто любопытные студенты из других групп. Шушукаются, ждут гостя, который и есть сегодняшнее вдохновение.

Слышится негромкий стук в дверь, и в аудиторию несмело входит гость: высокий худощавый мужчина средних лет с большими темными глазами, полными какого-то невысказанного отчаяния, несмело прикрывает за собой дверь и растерянно оглядывает аудиторию. На нем черное полупальто, через плечо перекинут полосатый серый шарф. Волосы слегка растрепаны, но лицо гладко выбрито.

Студенты затихают, Иван Петрович взволнованно оборачивается.

— Ну, вот и наш гость! Проходите, Николай. — Он жестом приглашает гостя к преподавательскому столу, стоящему в центре аудитории. На столе стоит бутылка питьевой воды, пластиковые стаканчики и стопка нот.

— Уважаемые, мм, ээ, студенты, — торжественно провозглашает Иван Петрович, в то время как Николай смущается, не зная, сесть ему или продолжать стоять. — Сегодня к нам приглашен известнейший композитор Николай Резников. За последние пятнадцать лет Николай написал музыку к трем операм, четырем балетам, выпустил два сборника прелюдий и, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать о его знаменитых экспромтах! — Иван Петрович едва ли не выпрыгивает из своей коричневой безрукавки. — Прошу прощения, Николай, сколько всего экспромтов было вами написано?

Гость опускает взгляд и все с тем же немым отчаянием молчит, но спустя несколько мгновений тихо произносит с какой-то обреченностью в голосе:

— Четыреста семьдесят восемь.

На мгновение воцаряется тишина, кто-то смотрит на человека в черном пальто с восхищением, кто-то — с недоверием. Иван Петрович поворачивается к аудитории и со значительным видом наклоняет голову, немного выпучив глаза.

Резниковские экспромты были и вправду очень известны. Внимание музыкального сообщества, в особенности преподавателей училищ и консерваторий, было привлечено сочетанием простоты технического исполнения и невероятной сложностью исполнения артистического. Первое позволяло задавать экспромты учащимся «от мала до велика», но редко кто был способен передать эмоциональную насыщенность произведений так, как это делал их автор.

Сам же Николай во время выступлений нередко попадал «мимо» нот, брал не те аккорды, но никому и никогда не приходило в голову это обсуждать. Едва он касался рояля, его будто охватывало невидимое пламя, музыка низвергалась и обрушивалась на слушателей, захватывала их целиком, заставляла столбенеть и задерживать дыхание. Руки Резникова выписывали пируэты над клавиатурой, все его тело сливалось с драмой очередного экспромта, билось в этой драме, а на лице отражалась мучительная борьба.

Его концерты были короткими, потому что проходили на пределе эмоционального напряжения, как для него, так и для зрителей. Никто и никогда не знал, куда приведет следующий экспромт, веселое и легкомысленное начало перерастало в грозу, музыкальный вихрь налетал, затем затихал и сменялся полным штилем. Николай славился мастерством этих переходов, так как все связки слушались очень естественно, и независимо от того, сменялась ли буря затишьем, главная тема лейтмотивом звучала на протяжении всего произведения. И в то же время ни один из четыреста семидесяти восьми экспромтов не был похож на предыдущий.

После того, как несколько мощных волн окатывали зал, Резников чувствовал себя уставшим. Оглушенный произошедшим, он обычно делал долгую паузу, прежде чем встать из-за инструмента. Во время этой паузы зал тоже замирал в оцепенении, и когда композитор наконец вставал из-за рояля и поднимал тяжелый, измученный взгляд, зал взрывался аплодисментами, люди вставали, у одних текли по лицу слезы, у других дрожали похолодевшие ладони, третьи никак не могли отдышаться. После этого музыкального наваждения даже дети покидали зал молча и весь остаток дня пребывали в каком-то странном состоянии, в котором не хотелось ни говорить, ни даже думать словами.

Известно, что Николай был человеком замкнутым. Он жил один, не преподавал, много времени проводил у рояля, но играл мало, в основном что-то подбирал и записывал. Иногда его видели во время одиноких вечерних прогулок и лишь изредка в компании старых школьных друзей, с которыми он вспоминал какие-то давние приключения.

Конечно, студентов заинтересовала возможность лично познакомиться с известным композитором. Девушка с большими глазами в белой блузке и черной юбке, сидящая в первом ряду, не моргая разглядывает Резникова. Он ее мучитель, хоть и не знает об этом. По всем предметам Аня (так ее зовут) учится на «отлично», но его экспромты ей не удаются, звучат сухо, бездушно. Уже год она уделяет им внимания больше, чем Баху, но так и не добилась успеха. А потому она сверлит его взглядом усердно, время от времени потирает коленки в нетерпении, потому как очень хочется его спросить об исполнении экспромтов.

Но не только Аня ждет от Резникова ответов на вопросы. Большинство присутствующих привело любопытство: человек, который пишет подобную музыку, музыку-цунами, убивающую и возрождающую одновременно, должен быть особенной личностью. Студент Коля, сидящий за Аней и время от

времени прожигающий взглядом ее коленки, предполагает, что Резников человек буйный и к тому же ловелас, периодически выливающий бурю эмоций в музыку. Марина, сидящая справа от Коли и тайно в него влюбленная, считает Резникова личностью чрезвычайно глубокой, с драматичной судьбой и непременно разбитым сердцем. Андрей, сидящий в последнем ряду и попавший на презентацию композитора случайно, так как прятался в этой аудитории от своего научного руководителя (тот очень не любил Ивана Петровича), делает ставку либо на то, что Резникову пишет музыку другой автор, либо на то, что в глубине души Николай человек властный, а сегодня просто не в духе. Ну, мало ли, всякое бывает.

Меж тем Резников наконец снимает пальто, кладет его на ближайшую свободную парту, садится за стол и несмело поднимает глаза на аудиторию. В руках он держит лист с речью, но читать прямо со шпаргалки ему совсем неловко.

Иван Петрович сидит теперь в стороне, все еще нетерпеливый и взволнованный, хочет задать уже какой-то из своих многочисленных вопросов, но тут Резников начинает сам.

— Когда-то я и сам учился в этой консерватории, — негромко говорит он, и глаза его становятся чуточку ярче. — Мне кажется, я был как все студенты, не слишком усидчив, любил погулять. Да, я не был отличником, — продолжает он, как будто почуяв недоверие аудитории. — Больше всего мне нравилось пение, пока не... — на долю секунды он осекся. — Пока не надоело, — он улыбается смущенно и немного криво. — Я сегодня шел в консерваторию и вдруг заметил, что скамейка под каштаном, куда мы ходили покурить, и сейчас такая же... Вспомнилось, как мы с друзьями, когда готовились там к экзамену по теории, выдумали такую игру: один называет аккорд, а другой должен ответить аккордом, который начинается с интервала, на который предыдущий заканчивается... Ну, как в «города», только с аккордами, — Николай усмехается сам себе, на этот раз немного мечтательно, и Марина тотчас находит в этом подтверждение своей теории. — И вот мы сидим такие: он мне — «тэ три», а я ему — «дэ семь», а он мне — «дэ четыре три»!

Студенты улыбаются нехотя и настороженно. Им очень трудно поверить в то, что человек, который создает наваждения, занимался когда-то такой вот ерундой на всем известной лавочке с дешевой сигаретой в зубах.

Николай чувствует эту настороженность и со вздохом берет со стола ноты — это его новый сборник экспромтов. На лицо его снова ложится печать едва уловимого отчаяния и тоски об утраченном. Он напряженно смотрит на сборник в своих руках, проводит рукой по взъерошенным волосам (рука его в этот момент почему-то похожа на когтистую лапу), и начинает говорить:

— Ну что ж, расскажу вам немного о новом сборнике. В него вошли двадцать четыре последних экспромта, все они примерно равны по объему. Двенадцать мажорных, двенадцать минорных, как обычно. На этот раз во всех экспромтах прослеживаются восточные мотивы...

Вскоре любопытство в аудитории сменяется разочарованием и даже легким раздражением. Резников говорит об экспромтах так, будто они не имеют к нему никакого отношения. Он называет их характеристики, прописанные рецензентами в предисловии к сборнику. Перечисляет зачем-то лады и размеры, ритмы и темпы. Лицо его при этом бесстрастно, а голос ровный, немного придушенный.

Андрей решается прервать эту ахинею — уж очень ему хочется подтвердить свою догадку.

— Скажите, извините что перебиваю, а как вам удалось сделать такой бурный переход после интерлюдии в тринадцатом экспромте?

Аудитория оборачивается вся разом, чтоб посмотреть на обладателя этого голоса, решившегося на столь наглый вопрос.

Резников мешкается лишь на секунду. Просто морщится, потому что с самого начала боялся, что ему начнут задавать вопросы. Его экспромты всегда были для него больной темой. Он писал, исполнял их четырежды в год, и всякий раз вздыхал с облегчением от того, что до следующего концерта оставалось целых три месяца. Он старался ничего не читать о себе ни в газетах, ни в интернете и наотрез отказывался давать интервью по радио или телевидению. Согласиться в этот раз, первый и последний, его подтолкнула ностальгия по студенческим годам, проведенным в этих стенах, и он уговорил себя, дескать, студентам все равно неинтересно, а я хотя бы вспомню те беззаботные времена, когда сам был на их месте. И вот теперь он тайком проклинал себя.

— Вы, вероятно, путаете тринадцатый экспромт с третьим, потому что в тринадцатом нет интерлюдии. В третьем переход именно такого характера планировался изначально... Без этого экспромт потерял бы уникальность. Да, пришлось сменить лады и сделать акцент на секундаккордах, но так требовала... — он давится на этом на слове, затем нехотя заканчивает, — идея.

Андрей теперь тоже испытывает разочарование. Резников, что называется, «шарит».

Николай вздыхает, собирается продолжать, но в этот момент Аня решается, наконец, задать свой главный вопрос. Она тревожится, что в конце выступления может не хватить времени, и это при том-то, что она бьется над этими экспромтами целый год, и ей никак нельзя упустить шанс узнать их секрет!

— Уважаемый Николай, — произносит она дрожащим, но настойчивым голосом. — Я хочу вас спросить как автора... композитора. Я выбрала восьмой и одиннадцатый экспромты из сборника «Шторм», и очень хорошо технически справляюсь, но мне говорят, что они звучат сухо... Что вы могли бы посоветовать? Какие приемы использовать для усиления выразительности, динамичности?

Резников на секунду непонимающе смотрит на Аню, словно она говорит с ним на неродном языке. Затем слегка краснеет и вдруг говорит:

— Так выберите другие экспромты.

Аудитория взрывается смехом. Аня чувствует себя дурой и чуть ли не плачет. Ее шея и коленки покрываются пятнами от волнения.

Резников это замечает, ему делается еще более неловко. Чтобы сгладить неприятность, он говорит:

— Вам нужно быть внимательнее к деталям. Если динамические оттенки не указаны редактором, делайте карандашные пометки там, где считаете нужным. Не бойтесь слегка изменять темп для усиления выразительности, — он помолчал, нахмурил брови и добавил: — Используйте музыку как язык. Каждый экспромт — это история со сложным сюжетом. Если я вам расскажу сейчас сюжеты восьмого и одиннадцатого экспромтов, вы не станете играть лучше. Вы должны сами увидеть и прочувствовать этот сюжет, а потом исполнить его в собственной интерпретации. Знаете, здесь как в рунах: вроде бы все об одном и том же, но для каждого человека свой знак.

Николай выглядит так, как будто собственные слова его смутили. Поднимает вопросительный взгляд на Аню. Та явно разочарована. Его слова не говорят ей ни о чем. И почему на академическом нельзя исполнить еще две фуги Баха вместо дурацких экспромтов?!

— Спасибо, — выдавливает она, опуская глаза.

Надо признать, что к этому моменту четвертая часть аудитории уже покинула лекционное помещение. Остальных удерживало отсутствие необходимой для этого наглости, пассивно-сонливое состояние, присущее недосыпающему организму, и отчасти любопытство, хоть и угасающее.

Иван Петрович, озабоченный потерей слушателей, предпринимает активное вмешательство.

— Николай! — вскакивает он со стула, но не полностью, а как бы пытаясь вырваться из оков коричневой безрукавки. — Расскажите нам, когда вы написали первый экспромт? Известно, что вы до двадцати одного года вообще не занимались композицией.

В воздухе повисла какая-то особая форма молчания, густеющая на глазах. Николай напряженно вглядывается в свои пальцы, губы его сжались, брови поднялись и застыли. Он вздыхает, и, по-прежнему не отводя глаз от своих рук, говорит:

— Все началось с того сновидения на четвертом курсе.

Студенты приходят в недоумение: что это за байку он вздумал травить на этот раз?

Резников не замечает их реакции. Он сосредоточен, ему очень трудно говорить: он будто выплевывает слова, преодолевая сильное напряжение внутри груди. Руки его хоть и лежат на столе, но выглядят словно когти, в любую минуту готовые впиться в жертву. Плечи неподвижны, а на опущенное лицо ложится тень, из-за которой не видно его взгляда.

— Мне кажется, до этого сна я был обычным студентом, я бы даже сказал, средним студентом. Накануне вечером, как сейчас помню, мы с друзьями за пивом сидели в дешевеньком баре на углу Орловской улицы, и «зацепили» тему привязчивых мелодий. Мнения разделились: мой однокурсник Миша Лобаньков, музыкальный теоретик, бился об заклад, что всему виною определенное сочетание ладов, что в привязчивых мелодиях есть схожие последовательности и так далее. Привел даже несколько примеров, а после второго бокала пообещал вывести специальную закономерность, так сказать, общую формулу прилипчивых мелодий. — Резников на этом месте слегка улыбается, как тогда, когда рассказывал про игру в аккорды. — Андрей Гуманов, его сосед по общежитию, виолончелист, романтичный такой парень, сказал, что все зависит от настроения человека. Мол, на что человек настроен, такие мелодии к нему магнитом и притягиваются. Серьезно настроен — Бах в голове крутится, влюбился если — ерунда какая-нибудь попсовая про любовь. Все так спорили, так спорили! Дружно мы тогда посидели, — в голосе Резникова чувствуется ностальгия, затем улыбка исчезает, и спустя мгновение его лицо снова становится напряженным, а руки — когтистыми, и он с горечью продолжает: — А я тогда смеялся и говорил: «Чушь все это, ребята!» Потому что ко мне никогда мелодии не липли (по крайней мере, так было до того дня). Я вообще не понимал этого феномена, а когда подвыпил, сказал, что по закону подлости к человеку липнут самые противные, дрянные и бессмысленные мелодии, которые только он может вспомнить. Это как теребить мозоль: вроде и не сильно болит он, но и оставить в покое его не можешь.

Резников прикрывает глаза, весь напрягается и с усилием произносит:

— А потом мне приснился первый экспромт.

Он открывает глаза, поднимает их на аудиторию и на секунду замирает. Ребята смотрят на него с удивлением и интересом, а некоторые девочки даже с сочувствием (отличница Аня в их число, конечно, не входит).

Это его немного приободряет, и больше он не опускает голову, но говорит по-прежнему сдавленно.

— Снится мне старый концертный зал, в котором проводились академические концерты моей музыкальной школы. Зал пустой, в окна светит солнце, я иду к роялю, сажусь за него и играю экспромт. Руки вроде как сами знают, что им делать. И все такое настоящее, клавиши у рояля даже немного теплые там, где на них падает солнце. Одно только меня насторожило: во всем этом какая-то обреченность, как будто я вечно должен садиться за этот рояль и играть. Проснулся я тогда уставший, хотя спал больше восьми часов. Представляете — пальцы болели, как будто и правда всю ночь играл! И мелодию эту за ночь наизусть усвоил.

Резников, увлекшись, разводит руками, словно адресует изумление аудитории. Студенты теперь и правда слушают внимательно, а Иван Петрович чуть ли не раскрыв рот. Галстук его окончательно съехал в сторону и оттопырил ворот безрукавки. Время от времени Иван Петрович поглядывает в аудиторию и становится все более довольным: вдохновение состоялось.

— Но что гораздо неприятнее, — продолжал Резников, — мелодия преследовала меня весь день, я не мог ни на чем сосредоточиться, едва не попал под машину, переходя дорогу, и разбил дома чашку по рассеянности. Но настоящий ад начался ночью. Уставший, я провалился в сон, и, что бы вы думали?.. — Резников глядел на студентов с усмешкой и отчаянием одновременно. — Все началось сначала. Наутро я проснулся вдвое более уставший и плюнул на занятия. Подремал кое-как пару часов, потом решил навестить Мишку, приехал к нему в общежитие, а тот сразу заметил: чего, говорит, у тебя, Резников, глаза стеклянные? Я ему рассказал. Он долго смеялся, позубоскалил насчет моих высказываний в пивном баре и посоветовал сыграть пьесу, прежде чем обращаться к психиатру. А вдруг, говорит, отстанет.

Я приехал домой и решил для чистоты эксперимента все-таки попробовать поспать. Через пару часов, однако, стало ясно, что мелодия отпускать меня не намерена. Она приснилась мне снова, только в этот раз передо мной на пюпитре стояла чистая нотная тетрадь, а рядом с ней лежал карандаш. Я потянулся к нему и в этот момент проснулся. Был час ночи, и я понял, что, прежде чем разбираться, что это за чертовщина, придется от нее избавиться. И я поддался этому болезненному искушению. Достал чистую нотную тетрадь, взял карандаш, сел за пианино и, наигрывая мелодию, начал писать.

Впрочем, к пяти утра экспромт был закончен. Бросив карандаш, я повалился на кровать и уснул мертвым сном, а в восемь утра проснулся бодрым, словно этого кошмара и не бывало. Подумал еще: приснится же всякое! А тут смотрю: на пюпитре — последствия моих ночных безумств. Поморщился, бросил в письменный стол тетрадь с карандашом и помчался на занятия.

Признаться, первые два дня я бегал окрыленный. Вдохновенно рассказывал друзьям о случившейся штуке, за пару часов выучил пьесу, назвал ее «Экспромтом фа-диез минор» и сыграл своему преподавателю. Федор Станиславович тогда не особенно удивился, сказал: «Что это вы, Коля, вздумали шутить?.. Стибрили у кого-то замысел и обработали по-своему. Так почти каждый может». Я не обиделся. Я отлично высыпался и очень скоро начал относиться к этой истории как к забавному моменту своей жизни. Решил, что внутреннего согласия с тем, что приставучие мелодии все-таки существуют, равно как и ирония судьбы, с меня достаточно. Хотя, вы знаете, запала мне в душу крупица мелочного сожаления о том, что шанс прославиться только подразнил меня, а ведь могло бы, могло бы!..

Резников машет рукой, дескать, да ну его, и произносит с чувством:

— Тщеславие! Может, из-за него это все?..

Аудитория заинтригована. Николай не похож на человека, который на ходу сфабриковал историю происхождения своих гениальных экспромтов. Андрей начинает думать, что, вероятно, все гораздо запутаннее, что Резников, должно быть, фантазер-социопат, задумавший разыграть здесь всех сейчас, а его экспромты ему помогает писать его знакомый теоретик с математическим складом ума... как его... Лобаньков.

Марина замирает в восхищении, она хочет продолжения, потому что — вот, вот оно! — раскрывается история глубокой драмы, страданий тонкой, чувствительной к оттенкам этого мира души, с ее субъективным надломом, «днем-с-которого-все-началось» и невыразимой печалью глаз. А дальше, дальше она хочет узнать, что таится за когтистыми его пальцами, пальцами мастера, из-под которых, словно карточная колода шулера, стремительно вылетают пассажи, трели, форшлаги...

А Резников, тем временем, заговорил более спокойно и отстраненно. Казалось, после истории его первого экспромта напряжение утихло и ему стало все равно, что рассказывать, а что нет.

— Наверное, поэтому тщеславие запело во мне победную песню, когда история повторилась. Это случилось через три недели после первого раза. Я снова увидел тот же зал, рояль с теплыми клавишами, и во сне я почему-то не сомневался, что это будет что-то новое. На пюпитре уже стояла приготовленная нотная тетрадь. Я снова играл, и мне казалось, что музыка рассказывает мне о логичном продолжении предыдущего экспромта. Я проснулся на рассвете уставший, но тщеславие заставило меня сесть за пианино в своей комнате и снова управиться с новым экспромтом за несколько часов. Это было поразительно. Я писал, словно под диктовку, а иногда мне казалось, что мою руку ведет невидимый дух, и мне неведом будет покой до тех пор, пока я не закончу этот экспромт. Я ощущал какой-то болезненный азарт, я думал: до чего же просто быть талантливым! Эти дьявольские мелодии падают тебе на голову, пока ты спишь, а потом ты записываешь их со скоростью печатной машинки и — оп-па! — гениальный экспромт готов за одну ночь.

На следующий день я проспал до вечера, а вечером явился к Федору Станиславовичу и исполнил ему новый экспромт. Тот был озадачен. Он попросил подготовить оба экспромта к следующей неделе, чтобы выступить перед комиссией из нескольких преподавателей, и быть готовым рассказать о процессе создания экспромтов.

Я тогда, чтобы не прослыть наркоманом или шизофреником, не стал ничего рассказывать о своих снах, а просто заявил, что иногда на меня находит вдохновение, мелодия привязывается и вертится в голове, пока я ее не запишу. Они задавали много вопросов, а я в основном выкручивался под маркой того, что творческий процесс — штука спонтанная и непредсказуемая, и логически ее объяснить очень трудно. Так как они не имели контраргументов, а автор с похожими произведениями не нашелся, они рекомендовали мне некоторые сухие доработки и пообещали содействие в публикации, если я буду продолжать в том же духе.

— Смотри мне! — с недоверием потряс кулаком Федор Станиславович. — Если обнаружится, что это плагиат, я первый пойду к ректору с заявлением, чтобы тебя исключили.

С тех пор понеслось. За первые полгода я написал тринадцать экспромтов и издал первый свой сборник. Я был опьянен, и в перерывах между ночными

наваждениями (а тогда они были длинными, около десяти дней) предавался праздности и черпал внимание музыкального сообщества большой ложкой. Я стал меньше общаться с Мишкой и Андреем, но у меня появилось много новых знакомых, в том числе и девушек. Впервые в жизни я был окружен женским вниманием и, когда хотел, мог привести к себе домой любую красавицу из консерватории. За публикацию сборника я получил гонорар и объявил родителям, что отныне полностью буду обеспечивать себя сам. Я не стал богачом, но сознание своей финансовой независимости мне очень льстило. Я стал чаще прогуливать пары, потому что преподаватели ставили мне оценки авансом. На пятом курсе я вообще почти не появлялся на занятиях.

После публикации сборника мне предложили дать концерт в консерватории. Прежде я никогда не любил концерты даже в рамках академической сессии, но тогда решил, что это даст мне хороший старт: повысит продажи моего сборника, а это, сами понимаете, важно. Ноты — это все-таки не бестселлеры, на них практически невозможно заработать. Ну и, конечно, внимание. Я познал, что такое «звездная болезнь» во всей красе. Я стал потребителем внимания, неважно в каком качестве, важно в каком количестве: я ходил по вечеринкам, менял девушек, я появлялся на занятиях лишь для того, чтобы почувствовать на себе восхищенные взгляды.

Первый концерт многое изменил. Он как раз пришелся на конец июня, а это значит, после него должны были быть последние студенческие каникулы. Мишка и Андрей звали меня сплавляться на байдарках в Карелию, а я из-за своей звездности и подготовки к концерту даже не находил времени им ответить, откладывая все на «после концерта».

Резников делает паузу, с удивлением и неловкостью вглядываясь в аудиторию. Рассказ получается гораздо откровеннее, чем ему того хотелось. Он вдруг прищуривается и усмехается, и это выражение делает его лицо живым. Он думает, что чего уж там, теперь ему нечего терять.

— Я сильно волновался перед концертом. Помню, что выпил сто граммов коньяку. Я стоял за плотной бордовой шторой кулис в ожидании, пока меня объявят, и меня сковывал ужас, я почувствовал себя робким студентом, который ввязался в какую-то опасную игру. Когда меня объявили, я вышел на середину сцены и зрительный зал качнулся у меня перед глазами. Все взгляды были устремлены на меня, и на какой-то момент я захлебнулся их вниманием, зажмурился, слегка поклонился и поспешил к роялю. А когда я сел за него и коснулся холодных клавиш, все исчезло.

Я очень ясно помню ощущения от того первого концерта. Для меня, застенчивого студента консерватории, мир действительно исчез. Точнее, его поглотила стихия. В одно мгновение она проникла в каждую клетку моего тела, подобно синему пламени, и в тот момент, когда я завершил первый пассаж громким аккордом, это пламя словно вырвалось из моей макушки — тадам! — и я превратился в факел, неизвестно кем и как подожженный. Синее пламя стекало по пальцам и к концу первой интерлюдии охватило рояль: я был полностью подчинен этому дьявольскому альянсу музыки и инструмента, и только какая-то часть моего мозга наблюдала и запоминала ощущения этой кошмарной оргии. Я чувствовал себя смычком в руках виртуозного духа, для которого ничто не имело значения, кроме той власти, которую он получал над аудиторией. Этот дух порождал прекрасные музыкальные идеи, но в тот день я понял, что они — всего лишь побочный продукт всей этой вакханалии, энергия, которая больше опустошает, чем наполняет. Отыграв, я с минуту приходил в себя, не вставая из-за рояля. Я чувствовал себя изнасилованным. Пошатнувшись, я встал и вернулся за кулисы.

После того концерта я никого не хотел видеть и вместо Карелии улетел в Турцию по горящей путевке, где неделю пил в отеле турецкую водку и дешевый виски, и только на пятый день выбрался на море. Я проводил дни, бездумно раскачиваясь в гамаке на балконе. Передо мной раскрывался роскошный пейзаж, но все красоты этого мира уже померкли для меня: я понял, что заточен в рабство. Впрочем, на шестое утро во мне поселилась слабая надежда, что во время концерта я выполнил свою миссию, и, восстановившись, смогу вернуться к прежней жизни. Я тогда прямо из отеля позвонил Мишке, но он был недоступен: на тот момент они с ребятами уже плыли под серебристым небом Карелии. Последние дни моего отпуска были полны разочарования: я наконец осознал, как чудовищно раздулось мое эго, как я потерял друзей и, самое главное — потерял себя. До начала музыкальных наваждений я вел спокойную жизнь, полную тихих радостей: звезд с неба не хватал, но учился с удовольствием, и мысль, что я буду преподавать в музыкальной школе не вызывала у меня неприязни, наоборот, мне нравилось работать с детьми, это я понял еще на практике. Лето я любил проводить в деревне, время от времени выбираясь в лес по ягоды и грибы. А наваждения... они зацепили самую уязвимую часть моей личности: то, что иногда я ужасно стыдился своей посредственности и обыденности, иногда завидовал известным музыкантам. Но у меня до сих пор нет ответа на то, почему они выбрали именно меня.

Николай замолкает. В его взгляде появляется печаль, правда, уже не такая отчаянная, как в тот момент, когда он вошел в аудиторию. Конечно, он не верит, что студенты способны его понять, но ему стало легче дышать, напряжение, не отпускавшее его почти восемь лет, словно отступило.

— В тот же день, когда я вернулся из Турции, все началось сначала. Я не удивился. Я принял эту ношу, но твердо решил, что больше не дам себя разрушить. Весь пятый курс у меня ушел на то, чтобы сделать свою жизнь максимально независимой от этого синего пламени. Я двигался муравьиными шагами, но с муравьиным же усердием. Я снова начал общаться с Мишкой и Андреем, и до сегодняшнего дня они были единственными, кто знал о природе моего таланта. Они отнеслись к этому как к болезни вроде запоев алкоголика: они знают, что во время таких «обострений» меня нельзя трогать, а когда я заканчиваю черновик, они даже помогают мне с редакцией, потому что, как только она завершена, меня «отпускает». Я дистанцировался от прессы и своих новоявленных поклонников, чтобы не провоцировать в себе тщеславие. Я ограничил количество концертов до четырех в год и нашел способ восстанавливаться после них всего за два дня. И знаете, чем я горжусь больше всего в своей жизни? — Резников наконец улыбнулся. — Я уже семь лет работаю в музыкальной школе, самой обычной школе. Конечно, мне приходится постоянно менять расписание, и у меня лишь три ученика в год, но общение с ними позволяет мне на какое-то время забыть о собственном рабстве...

В аудитории воцаряется молчание. Иван Петрович ошеломлен настолько, что уже на середине рассказа он перестал ерзать и уставился себе под ноги, подперев голову руками. Теперь ему не дает покоя мысль, что своим бездумным приглашением он может разрушить судьбу Резникова. Все произошедшее вызвало у него очень тяжелое чувство.

Марина, выждав паузу, поднимает руку. Николай смотрит прямо на нее, а потом кивает: дескать, давай уже свой вопрос. Она очень смущается, но все-таки осторожно спрашивает:

— Вы сказали, что в первое время у вас было около десяти дней... А сколько сейчас?

Руки Резникова снова становятся напряженными, он смотрит на них, и произносит тихо:

— Иногда четыре. Иногда — два.

Студенты молчат, глядя в сторону, на парту, в окно. Николай, наконец, встает, берет пальто, набрасывает его на себя, и, остановившись, говорит:

— Спасибо! Мне... пора.

Он решительно направляется к двери и покидает аудиторию.

Иван Петрович медленно поднимается со стула.

— Прошу вас всех, — тихо говорит он, хоть ему самому трудно поверить в собственные слова. — Не выносите услышанного... за пределы.

* * *

Вечером того же дня Аня, придя домой, долго держит в руках сборник с восьмым и одиннадцатым экспромтами. Она думает о том, как замечательно, что у них в доме есть камин.

Когда дрова разгораются, она яростно раздирает сборник пополам, комкает страницы, топчет их с наслаждением, а потом бросает в огонь, выкрикивая:

— Синим пламенем! Синим пламенем!..

Отдышавшись от этого восторга, она садится за свой комнатный рояль и, потерев потеплевшие ладони, распахивает толстую хрестоматию И. С. Баха. Спустя минуту комнату наполняют ровные, как горошинки, звуки шестиголосной фуги.





ЕЛИЗАВЕТА ПОЛЕЕС

И до весны еще путь дальний

* * *

Зима, мороз — тоска и скука.
Какая грустная наука!
Ну где уж тут набраться сил,
Когда весь белый свет не мил?

Застыли ивы, липы, клены,
Нет листиков на них зеленых,
Чтобы порадовали глаз.
И добрых чувств иссяк запас.

А во дворе — одни лишь галки
Ведут друг с другом перепалку,
Такую древнюю, как мир,
Как быт, затасканный до дыр.

И до весны — еще путь дальний.
Сбежать на юг? Укрыться в спальне,
Чтоб злую вьюгу переждать?..
Как надоело тосковать,

Смотреть, как ширью заоконной
Дни улетают птицей сонной!
Я знаю множество примет:
Тем дням назад возврата нет.

Но если жизнь дана нам свыше,
То ничего тут не попишешь.
Не повернется время вспять,
И — можно только побеждать,

И можно только лишь бороться
За небо, за закат, за солнце,
За тишину, за Божий свет,
За дни, каким возврата нет.

* * *

И петь мне не надо, и незачем плакать —
Я жизнь просвистала до медной полушки
И хлеба доела последнюю мякоть,
И детские все раздарила игрушки.

И жалко не слишком, и больно не очень.
Ведь я понимаю умишком убогим:
Уже потускнели и выцвели очи,
И к Богу прямей и короче дорога.

И что не случилось — уже не свершится,
И то, что порвалось — уже не сошьется.
На юг улетают последние птицы,
И высохли счастья живые колодцы.

Но сердце упрямо сдаваться не хочет,
Сметая старинных условностей пресность,
И молится солнцу, и молится ночи,
Чтоб снова для песни крылатой воскреснуть.

* * *

Напои меня весельем,
Неба синева густая!
Докажи-ка, в самом деле, —
Я пока еще живая.

Я пока еще любуюсь
Утром, солнцем, облаками.
Я пока еще любую
Разведу печаль руками.

Если сердце людям —
настежь,
И пера полет отточен,
Мой запас любви и страсти
Быть не может обесточен.

* * *

Без музыки? Боюсь, что не смогу.
Без музыки? Как будто дни без солнца.
Без музыки? Я у нее в долгу,
она во мне — до нежности, до донца.

Без музыки — как мир уныл и сер!
Без музыки — ни воздуха, ни света.
Без музыки — как обнаженный нерв,
как голый нерв — чем буду я согрета?..

Я выйду ночью августа под дождь,
под звездный дождь из пламени и пыли.
В ладонь звезду, как будто медный грош
поймав, прижму — со всей последней силой.

И в сердце мне сквозь запертую дверь
она вольет —
еще не слишком поздно
дышать огнем небесных тайных сфер —
и дальний свет, и музыку, и воздух...

* * *

Телефон мой, телефон, суть — пластмасса.
Как с тобой у нас все шло в жизни классно!
Не один денек, не два, не неделю
Друг на друга мы с любовью глядели.

Отчего же ты молчишь так упорно?
Нерадивою была? Ну, не вздор ли?!
Слишком вздорною слыла? Я же дама!
Дама быть должна горда и упряма!

Что с тобой произошло — непонятно.
Поломались рычаги и контакты?
Перепутались мембраны и клеммы?
Что же делать? Я одна — и дилемма.

Коршун, что ли, злой порвал клювом провод?
Закреплю, свяжу, налажу, построю.
И, хоть лбом, пробьюсь опять сквозь печали.
Из пластмассы только ты.
Я — из стали.

* * *

Нити, нити, ниточки
Рвутся, истончаются.
Пытки, пытки, пыточки
Жизнью
продолжаются.

Времечко по темечку
Лупит, расстаралось как!

Прошлое, как семечку,
Вылущить осталось.
Ах,

Ты была ли деточкой,
Деточкой наивною?
Била тебя веточкой
Да стегала ливнями,

Да секла ложь розгами,
Да вела печалями.
Не усыпан розами
Был твой путь отчаянный.

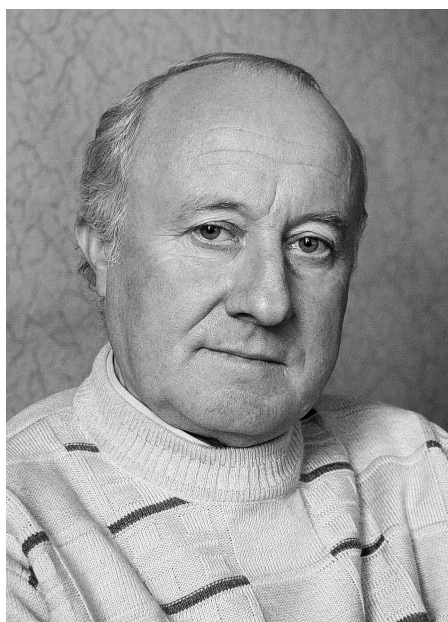
Одарен не золотом —
Барахлом, стекляшками...
Отыграла молодость
Желтыми медяшками.

И теперь, постылая,
Бродит лесом, полюшком...
Что ж ты плачешь, милая,
Об ушедшем горюшке?



НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

«Пасядзім, памаўчым з сябруком Маруком...»



Он и ушел, как жил, тихо, словно стараясь никого не обеспокоить, будто стесняясь, как всегда, своей боли, которая преследовала его с юных лет.

Володя, Антонович, «Стары», он и в дружбе был ненавязчив, никогда «не качал права», не претендовал на лидерство, да и в литературе не стремился к раскрутке, не суетился, не заказывал друзьям рецензий, и даже будучи главным редактором издательства и заместителем редактора литературного журнала не воспользовался возможностью активней печататься, издать книги, рукописи которых пылились в издательских шкафах годами.

Его мало кто по-настоящему понимал, да и интересовались им просто так, без дела, немногие. Зато те, кто с ним был близок, любили его, доверяли и дорожили его дружбой.

Прежде всего незабвенный Алесь Письменков. Часто он рассказывал мне, как они познакомились еще перед поступлением в университет, как с первого курса были всегда вместе и даже ночевали подпольно в студенческом общежитии, в комнате, где жил Володя Яговдик, проведя несколько ночей на полу рядом с кроватями однокурсников.

С Письменком (так мы, друзья его, часто называли) он был ближе всех. Их дружба была тоже не навязчивой, не показной, но удивительно прочной. Что я оказался среди самых близких, самых верных, я понял, когда на свой день рождения был приглашен Алесем домой. А это значило очень много, потому что Алесь в этот день не ходил на работу, отмечал «народзіны» только с семьей, а среди избранных друзей были Марук и Бутрамеев.

«Будзе Марук з селядцом, — мечтательного говорил Письменок. — Я яму ўжо шмат гадоў не нагадваю, ён і так прыйдзе» .

И он приходил — с бутылкой и неизменной селедкой, молча садился за стол и больше молчал, чем говорил, недаром же Алесь в одном из своих стихотворений писал: «Пасядзім, памаўчым з сябруком Маруком».

В этом его молчании будто скрывалась какая-то тайна. Хотя Алесь мне и рассказывал о нелегкой судьбе друга, но и он знал далеко не все.

А то, что перенес в детстве и юности Марук, было действительно серьезно. Много времени он был оторван от родителей, братьев и сестер: больницы,

санатории. А потом выяснилось, что лечили его не от того: оказалось, у него была врожденная болезнь сердца.

Был библиотечный техникум, а затем поступление на филфак БГУ, где он и сошелся близко с Письменковым и Яговдиком. Марук был старше и опытнее, и друзья признавали его авторитет.

Уже тогда Володя и в своих стихах был как бы старше друзей: в них не было юношеского задора, преобладала мудрая грусть, стремление к философскому осмыслению явлений.

Не раз мне рассказывал Письменков, как их горячие споры сопровождало пресловутое молчание Марука, а затем несколькими фразами он как бы подводил итог сказанному, помогая расставить нужные акценты.

Приехав из разных уголков Беларуси, они были едины в любви к родному белорусскому слову не только потому, что готовились стать будущими филологами. Просто с самых юных лет каждый из них проникся чувством любви и гордости за свою родину, ее историю и культуру. Это потом проходило красной нитью в их творчестве.

Одно время Антонович жил в нашем районе, и мы — я, Володя и Алесь, — виделись практически каждый день. Реже к нам присоединялся Яговдик, и я радовался, глядя на их дружеские подколки, за которыми стояла давняя и крепкая дружба.

Но в отличие от друзей, Антонович и тогда носил в себе свою, только ему ведомую тайну, которую он берег, не позволяя бесцеремонно прикасаться к ней.

Помню, как Алесь мне рассказывал о том, что он попытался однажды поговорить по душам с ним на некую очень щепетильную тему, касавшуюся его друга.

Марук выслушал, не перебивая, а потом, помолчав, ответил спокойно: «Ведаеш, братачка, з гэтым я сам разбяруся».

Несмотря на внешнюю мягкость, он был тверд в принципах. Не будучи по натуре «змагаром», он не изменял своим убеждениям, с трудом шел на компромиссы, и некоторые, не зная этого, пытались использовать его в определенных целях, но это им, в общем, не удавалось.

Когда не стало Алеся, смерть которого мы пережили очень болезненно, мы стали видеться и общаться еще чаще. Я не могу и не хочу озвучивать оценки Владимира Антоновича многих ситуаций, людей, их поступков, но я с ним был согласен.

А когда становилось уже, как говорится, невтерпеж, Марук находил в себе силы нелицеприятно и честно высказать свое отношение к происходящему.

Несколько раз я был свидетелем того, как Марук четко и бескомпромиссно высказывал свою позицию в споре, особенно когда это касалось судьбы белорусского языка, роли писателя в общественной жизни страны, его гражданской позиции. Тогда трудно было узнать всегда спокойного и уравновешенного Антоновича: он становился как бы выше ростом, мощнее. Правда, после, как бы смущаясь своего порыва, долго молчал, отходил.

Рукопись его стихов отлежала неизданной много лет, да и поэтическими подборками он читателей не баловал. Только незадолго до смерти, как будто предчувствуя ее приход, он «выдал» такую искреннюю, такую щемящую подборку лирики, что читатель увидел действительно большого поэта.

После смерти Алеся он стал больше выговариваться. И даже тогда, а мы как-то вдвоем встречали у меня дома Новый год, проводили время на его даче на Лысой горе, бродили по берегу Свислочи, он очень осторожно касался самого сокровенного, и некоторые тайны так и унес с собой.



Владимир Марук, Анатолий Товстик, Алесь Письменков, Наум Гальперович.

Часто мы говорили о литературе. Не о себе, о своих обидах, не перемывая косточки коллегам по перу, что делают многие, а о том, что прочитано в последнее время, о любимых писателях. Его беспокоило, что хлынул поток литературы далеко не лучшего качества, откровенной графомании. Его возмущало то, что многие коллеги перестали интересоваться классикой, нашим культурным наследием.

Написав свою первую повесть, я дал почитать ее Володе и попросил не церемониться с определениями. Через неделю, немного смущаясь, Антонович, высказав положительную оценку, спросил, буду ли я возражать, если он покажет рукопись заведующему отдела прозы журнала. Я согласился. Потом мы вместе выслушали мнение опытного редактора. Скажу честно, замечаний было не так уже и мало. Но я был благодарен другу за эту беседу, за стремление помочь. Зато после серьезной моей работы над рукописью Антонович не скупился на хорошие слова в адрес переработанного произведения.

Говорили не раз мы и о личном. Я — больше, он очень осторожно, скупо, но честно. Чувства его были чисты и по-настоящему высоки.

Его любовь к дочери Веронике была удивительно трогательной. Когда он говорил о ней, его лицо светилось. Она платила ему такой же искренней любовью, и в трудные минуты старалась всегда поддержать отца.

Так случилось, что когда я позвонил ему домой, он чувствовал себя очень плохо. Задыхаясь, сказал, что вызвали «скорую» во второй раз. Это было последнее, что я от него услышал, потому что, как рассказали близкие, вскоре после этого он впал в кому, из которой так и не вышел.

Зная о своей болезни, он никогда ранее не жаловался на здоровье, хотя я не раз видел, что ему плохо и что он держится с трудом.

Он ушел, оставив нам загадки, которые можно открыть только внимательно вчитавшись в его стихотворные строки, он остался в нашей памяти глубоким и мудрым, талантливым и честным, настоящим Белорусом.

ВЛАДИМИР МАРУК

Намолвленное

Очертания несбывшихся стихотворений

* * *

Между мною и всем, что изведал, — время. Хоть еще и не старый, *паўстарак*, изношенными отопками — ведь столько тяжелых дорог позади — прикованный к земле, где и мои страдания сжались в камешек на его, времени, пространстве, неподлежащему всеобъемлющему осмыслению и истолкованию. Только камешки, только осколки, черты... И неутоленность... Хоть опять начинай: «аз», «буки», «веди»... — ведь вряд ли дойдешь до «я», постигнешь «я»...

* * *

В тишине, словно смешинки, кружатся голубиные перышки, наслаждаясь полетом в безграничном пространстве. А в тишине вызревает мой покой, как и жажда этого перышка что-то советовать, но мы не слышим, потому что думаем о себе. И только очертание обнаженного плечика в окне, хотя и не совсем выразительное, излечит от слепоты.

* * *

Куда ни глянешь — скрижали, перед которыми тает уверенность, что ты в них что-то поймешь, чтобы стать перед святым крестом и помолиться, как внебрачному ребенку, за человеческие грехи, которые льстиво ведут к потерям. А небо над крестом заманчивое, но оно — перуново...

* * *

Голос тонкий, как паутина, что натянута между двух деревьев. Это поет погремок. Я отзываюсь на его голос и слышу свое и его эхо, что сегодня не даст уснуть, чтобы не покориться молчанию и не забыть язык лугов, его, погремка, язык. А с ним — человеческий.

* * *

Сижу на берегу и вглядываюсь в расцвеченный поплавок, который время от времени исчезает в неутолимой глубине: «Тяни!» — подтолкнет всегдашняя зависть. «Доставай!» — разохотит ежедневный голод. «Жди!..» — одернет опаска. Словно в прозрачной воде — золотая рыбка, которую не видно, а они хотят поссорить меня — бедного с богатым. А жилка напрягается, как нерв, — так, словно все мои вместе. И когда он не выдержит и лопнет, я не заплачу, потому что золотая рыбка попадает только в тенета невода. Я не пришел к реке искать чужую удачу, поэтому издалека мне машет неутомимый ветряк и кукует бездомная кукушка... Я не рискую и своей удачей, если не вытащу ничего, и на меня злобно взглянет *зазубень*, ведь риск не боится зависти, голода и опаски. И хоть разминулся с какой-то рыбкой, как

только что подсказала трава — я все-таки живу, опять живу... Спохвачусь и еще раз заброшу удочку...

* * *

Сними темные очки и увидишь развалины. Сел на них отдохнуть? Твой поддельный покой на лице расскажет, как ты живешь, и принудит подняться с живого прошедшего. А к зрачкам подойдет кровь, и подскажет раздосадованное на очки зрение: на ступеньках былых кладок тебе перепачкала руки, лицо и память сажа. А обмыться — воды нет, и никто ее тебе не подаст. И трава не сотрет грязь. Перед тобою сгибаются деревья — из страха ли, из милости? А из-за кургана, издалека, звонче и звонче вытилинкивает гитарная струна, зовет тебя. Но ведь — сажа... И ее не спрячут такие же темные очки.

* * *

Эти танцы мог нарисовать только Брейгель, когда блуждал по деревенской улице, где танцевали две бабушки — каждая одной рукой держалась за землю, а глаза смотрели в небо. Двое босых хлопцев, что полминуты назад вернулись из города, танцевали уже как городские — не держась за землю и не посматривая в небо. А дети молча, под музыку целого мира, тоже справляли свой бал — танцевали-реяли между небом и землей. Эти танцы не мог нарисовать даже Брейгель... Я — не софист.

* * *

Ты, как говорится, «выдала», озвучила за мгновение, как за вечность, целую тираду о том, как можно избавиться от всего, когда потеряешь ощущение времени. А я же успел промолвить всего полслова... Кого же услышали?..

* * *

Запанибрата быть труднее, чем наедине, когда твой носовой платок выбрасывают в мусор, потому что не нравится единственное пророненное слово, а обладает правдой только одна твоя рука, а со второй — бери что хочешь и делай человека ли, недочеловека...

* * *

Опять гастролируют облака над нашими тропинками, над нашими заблудшими судьбами и почему-то учат брезговать славою, о которой никто еще не знает. Мы же приучены любить славное, как словесное, заручившись со своей бессловесностью. А чужое и подделанное улыбается настоящему, а самое хилое и мелкое обнимается с великим. А кровинки на губах — сладкая с горьковатою... Их вместе не оближешь. И как же мы тогда выжили?..

* * *

Дым почему-то понравился дереву и стал расти, как оно, но тень выдавала все — какой ты никчемный, дым, если бы не дерево, забудь, что ты хоть

раз посмотрел на него... Когда же неясный дым застилает мою постель, луг, который косил — не выкосил отец, то я думаю, что пока еще надо жить...

* * *

Мрачный сегодня ветер, словно зверь раненый. Он же северный и так раскачивает *асвер*, что бедняга оглядывается на хату и хочет что-то ей сказать. Но на крыше дребезжит оторванный кусок бляхи, гудит в трубе... И *асвер* сражается с ветром и сам с собою. Теперь и тот смелый, что хотел роскоши и всего, чего не имел, — немеет. А ветер дует сильней и сильней, и мой взгляд спрашивает: «Где же ты, слепая вечность?..» Он готов забрать все, как тот ясеня лист, который полетел в неизвестность. И роскошь, и измена, и верность слышат этот неумолкаемый свист, и неспособны, как и я, заплакать, потому что знают, что впереди могила, на которой утихнет и ветер.

* * *

Проснусь, когда отпустит боль. Пустая комната, а потолок — под самое небо. Осы, что прилетали в сон из преисподней, полетели вон, но никак не могу избавиться от морока, потому что в стене вижу вмурованный дамоклов меч — откуда и почему?.. За окном же — голос кукушки... И меч... Что-то говорю и не слышу сам себя, запахнутый в белую простыню... Хочется снова уснуть.

* * *

Где ты ночуешь, мой верный малютка-гном? А может, не спишь и что-то пророчишь? У тебя — не моя борода и взгляд — не мой, и теряешь ты все, что есть у тебя, — как не я. А то, что ты теряешь, не нужно ни богачу, ни даже старцу. Ведь первому хватает всего, а второй не будет знать, что делать с таким богатством. А ребенок, увидев потерянное тобою, заплачет. Не поднимет — тяжело.

* * *

Так медленно, не спеша, словно улитка, из-за туч выползает солнце. И пока оно, копошась, не выплывет, я думаю: «Боже мой, сколько же ротозеев топтало наш земной шар. Прошли везде, вдоль и поперек, до самой последней границы, чтобы только засвидетельствовать, что были, словно мох на покосившемся забытом кресте. Солнце светит для всех одинаково, а люди живут по-разному, кто сколько. Но столько ли бы жили, если бы не тот, кто вечный крест изведал в страданиях?..»

* * *

Не знаю, память ли нарекла змею — змеею, а милость — милостью, ведь вокруг неизбывная зима, как всемирная красота. Как долго будет длиться эта зима, что рождает мою светлую печаль и вечернюю задумчивость? Пусть бы до жары было — как до преисподней, что поглотит все грехи, которые, когда рассветает, видны из моего окна. Потому что тогда и впрямь вокруг прозрачно и светло.

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.



ЖАН Д'ОРМЕССОН

*Бал на похоронах**

Роман

Было время, когда я ненавидел его: мы любили одну и ту же женщину. При этом Ромен был моим другом. Вот так иногда жизнь страшно усложняет самые простые вещи...

Мы с ним, молодые, хохочущие, объездили моря и сушу. Стоило мне подумать о нем — и перед моими глазами вставали корабли в порту, рисовые плантации на террасах и поля лаванды.

Он был высок, очень спокоен, всегда в ровном настроении, уверен в себе и беспощаден к себе и другим. Он ни во что не верил и над всем смеялся. И в то же время у него был редкий дар: он умел украсить жизнь.

Мужчины, женщины, дети, домашние животные, таможенники и связисты, профессора метафизики и продавщицы магазинов самообслуживания — все, кому довелось с ним однажды встретиться, уже не забывали его. Особенно женщины — они его просто обожали. Но он умел очаровать и мужчин. В общем, когда он проходил — внутри вас загоралось солнышко...

...Сейчас он окутан холодным сумраком и очень скоро будет навсегда опущен в землю, по которой он всегда шел победителем. Жизнь, которую он умел делать такой радостной, оказывается, довольно-таки мрачная штука...

У ворот кладбища я столкнулся с Жераром. Он разговаривал с фотографами. Жерар — один из его друзей. Мы с ним недолюбливаем друг друга. Я думаю, что Ромен тоже недолюбливал его.

— Бедный Ромен, — сказал он мне.

— Это мы — бедные, — возразил я. — Нужно будет привыкать жить без него, и это будет непросто.

Ромен не хотел, чтобы его хоронили по церковному обряду. Да и выбор такового был бы для него непрост. Его мать была немецкой еврейкой. Раввины, кюре, пасторы и, возможно, даже имамы были бы не прочь заполучить его. В результате целой череды приключений — в песках пустынь и на Среднем Востоке (о которых он никогда не рассказывал), а затем в небе России в составе эскадрильи «Нормандия-Неман» — он стал видным участником Сопротивления и получил нашивки майора или даже полковника, но, вместо того чтобы носить их на виду, — прятал их под рукавами. Так что теперь, приложив некоторые усилия, можно было бы организовать ему грандиозный похоронный спектакль — из тех, которые так мастерски ставят в Инвалидах.

Я немного помечтал об этой торжественной церемонии, которая четко предстала моему воображению и которая никогда не состоится в честь Ромена.

Мне ранее довелось присутствовать в Инвалидах на официальных похоронах... Я вспоминал обо всех затеях и украшательствах этой похоронной церемонии, продуманных с большим искусством, — все это могло вскружить голову любому наблюдавшему ее.

---

*Журнальный вариант.

...Ничего этого для Ромена не будет. Он слишком любил удовольствия, чтобы отдавать себя во власть скучным почестям. Пусть даже посмертным. Он всегда укрывался от них, как от чего-то стесняющего, посягающего на его свободу. Он категорически возражал против малейшего проявления коллективной истерии на его будущих похоронах, против печали со слезами, эмоциями и сожалениями. В сущности, все это — лишь погремушки похоронного праздника...

Он всегда жил настоящим и отвергал любые рассуждения о жизни после смерти или бесполезные напоминания о прошлом. Жизнь должна проживаться — он был в этом убежден — тут же и сразу. Жизнь была для него продуктом, дегустировать который нужно немедленно и который не терпел искусственной консервации. Ее не стоило упаковывать, украшать бантиками, выставлять напоказ или издавать громкие возгласы по ее поводу. Что было кончено, то было кончено, и об этом разговора больше не было.

Ущербные любовные связи раздражали Ромена. Ему и в голову не пришло бы любить женщину, которая не любила его или уже не любила его. Все, что затормаживало жизнь, привязывало к прошлому или заглядывало слишком далеко в будущее, было для него невыносимо. Ему было нужно быстро идти вперед и не оглядываться. Его несколько удивляло, например, что мне не жаль тратить время на написание романов.

— Ты даешь себе труд, — говорил он мне, — писать романы, которые все равно хуже, чем жизнь. Ты хочешь, чтобы о тебе говорили? Или ты просто не можешь иначе?

— Гм, — отвечал я. — Ну, это как живопись... или музыка... Стараешься... Хотелось бы...

— Или ты воображаешь, — что было бы еще хуже, — что через пятьдесят лет кто-нибудь будет еще тебя читать? Когда ты умрешь, тебе на это будет наплевать.

Я вспомнил, как вечерами мы сидели с ним под тентом, на палубе корабля, за оригинальным блюдом — чем-то вроде смеси водки с говяжьим консоме, — на венецианской альтане, глядя сверху на черепичные крыши Венеции. В небе роились мириады звезд, и мы созерцали их в вечерней тишине. Нам не раз случалось говорить с ним о жизни, о смерти, о человеческой судьбе. Я спрашивал его, во что он вообще верит. И я заранее знал ответ: он ни во что не верил.

— Как? — переспрашивал я. — Совсем ни во что?

— Отчего же? — отвечал он мне. — В солнце. Воду. В снег на горах. В краски этого мира. В дружбу. И, может быть, в любовь...

— А в разумное устройство Вселенной?

— Во что? — переспросил он.

— В смысл истории. В суть вещей, скрытую за ними. В тайну, кроющуюся за видимостью.

— Ты говоришь о Провидении? Конечно, нет. Я не верю ни в какого Бога. Если таковой существует, пусть его приверженцы докажут мне это.

— А что после смерти?

— После смерти — ты и сам хорошо это знаешь, и все это знают, только боятся себе в этом признаться — после смерти нет ничего. Мы умираем, как деревья, подточенные временем или поверженные молнией; как эти морские птицы — ты помнишь, мы подбирали их, бездыханных, на пляжах Корсики или Греции, — и мы умираем полностью.

— И что, когда ты умрешь, не будет ни священника, ни отпевания, ни молитв, ни надежд?

— Молитв? Зачем? Нет, мне ничего не надо.

— Просто имя на могильной плите?

— Имя?..

Я видел, что он раздумывает...

— Мое имя? Я думаю, что этого уже слишком много. Это бессмысленно... Зачем? Нет-нет, я совсем ничего не хочу... Ни молитв, ни воспоминаний... Прошу — никаких речей. Я всегда ненавидел речи. Никаких рассуждений. Не надо дат. Имени тоже не надо. Меня зароют в яму — и покончим на этом.

— Да уж, — сказал я, — это будет не слишком весело.

...Это оказалось совсем невесело. Мы все плакали. Мертвых всегда оплакивают, потому что знают, что больше не увидят их здесь, на земле, — даже если мы храним в сердце смутную надежду встретиться с ними когда-нибудь потом и в иных сферах... С Роменом все было хуже. Нас было довольно много — тех, кто любил его, — но он не оставил нам ни малейшего шанса вновь встретиться с ним — ни здесь, ни там, в какой бы то ни было форме... Он занимал огромное место в жизни многих из нас и теперь уходил навсегда, не протянув спасительного шеста, за который могли бы ухватиться наши надежды...

Я пришел на похороны задолго. Не считая фотографов, уже готовых к работе и липнущих вокруг Жерара, народа было еще мало, и я шел почти в одиночестве по длинным кладбищенским аллеям, окаймленным деревьями и могилами. Было хмурое мартовское утро, падали редкие капли дождя. Меж тем весна уже начинала пробиваться издали — неприметно, но упрямо — сквозь тучи, бродившие высоко в понемногу голубеющем небе. Если не считать, что Ромен умер и мы собирались его хоронить, — вполне обычный день...

Но в этот день мир сосредоточился вокруг Ромена. Потому что мы были друзья, а он уходил навсегда. Смерть, как любовь, стирает все остальное. Остались только он и я. И бесчисленные связи, которые нас объединяли.

Разные картины представали передо мной. Я снова видел его в Венеции, на Бали, в монастыре Святой Катерины, на Синае — там мы бывали с ним вместе. Это были красивые и яркие воспоминания. Но временами его лицо уже как бы начинало стираться: мне не удавалось ясно представить его себе. Он ускользал, растворялся, и меня понемногу охватывала паника. Я начинал опасаться, что вскоре буду не в состоянии мысленно увидеть его образ...

В этот момент я заметил вдали идущий ко мне знакомый силуэт — в свободном пальто, руки в карманах — Виктора Лацло. Его черное пальто было отторочено меховым воротником. Он был в перчатках, кожаных сапожках, довольно высоких, в своем знаменитом галстуке-бабочке в горошек. Этот галстук был чем-то вроде опознавательного знака для тысяч его студентов, а они на Виктора просто молились. Его глаза блестели за стеклами очков и, в сочетании с очень белыми волосами, придавали ему странный вид человека, пришедшего в это угрюмое место просто развлечься.

Виктор Лацло и вправду был любопытной личностью. Он был венгр по национальности и преподавал в Высшей практической школе. Что он преподавал? Трудно сказать. Вообще он был лингвистом. Он говорил на добрых двух десятках языков, а начинал в Париже и Принстоне с курсов тибетских языков. Он называл себя мифологом, был великолепно образован, и его лекции в Высшей школе привлекали пеструю толпу студентов, а еще бродяжек в надежде согреться, да честолюбивых чиновников и светских дам, которым не повезло в жизни и которые не смогли найти утешения в религии.

Я сам прослушал — со смесью раздражения и восхищения — некоторые из его курсов и кончил тем, что вступил с ним в сдержанную дружбу. Как-то вечером я встретил его в доме у знакомых, возле Пантеона, где регу-

лярно собирался маленький круг друзей из разных мест и куда случалось попасть посторонним гостям. Это было в конце правления генерала Де Голля. Лацло высказывался о президенте республики так, что хоть сейчас надевай на него наручники: он талантливо вышучивал его — жестко, почти с ненавистью, — и вызывал смех в его адрес у всех постоянных посетителей дома, среди которых, кроме хозяина и меня, были Ромен, Жерар и некоторые другие.

Как раз на следующий день Генерал открывал выставку египетских древностей в Лувре. Я пришел туда с Роменом и наблюдал издали за толпой придворных, стремящихся взять штурмом главу государства. И вдруг, к своему изумлению, я увидел моего Виктора, который, работая локтями, исхитрился предстать прямо перед Генералом. И я услышал, как он произнес громким и четким голосом, в должной форме, клятву верноподданности, которой от него вовсе никто не требовал. Заканчивалась она словами: «Будьте уверены, господин Президент Республики, что у вас нет более верного и преданного сторонника, чем я».

И тогда вдруг Лацло заметил меня, глядящего на него в изумлении. Он обернулся ко мне без малейшего смущения и бросил со смешком:

— Ага! Вы наблюдали одну из моих дьявольских штучек. Как вы ее находите? Забавно, не так ли? И вполне удачно.

Ничто не могло ни в малейшей степени поколебать его слепую веру в собственную персону...

— Вы пришли ради Ромена? — спросил я его.

— А ради кого или чего, по-вашему? — возразил он. Уж не думаете ли вы случайно, что я прогуливаюсь среди могил в поисках вдохновения или призраков прошлого?

— Я не знал, что вы были дружны.

— Были ли? Я не уверен в этом. Но я был другом его отца.

Мы медленно шли рядом.

— Ромен был человеком удовольствия и желания. Это мне в нем и интересно. Желание — ключ ко всему. Видите ли, все эти ценности, идеологии, мораль, убеждения... Нет, я верю в историю. А историей движет желание. Желание — единственный общий корень, который я сумел обнаружить в самых разнонаправленных поступках людей. Они воюют — это их желание. Они ничего не делают — это желание. Они убивают себя — это желание. Они поют — это желание. Во всем — желание.

И на аллее кладбища, где нас, по счастью, было пока только двое, Виктор Лацло принялся петь. Это была, по-моему, ария Лепорелло из самого начала «Дон Жуана»:

Notte e giorno faticar
Per chi nulla sa gradir;
Pioggia i venta sopportar,
Mangiare male e mal dormir!

Он воздевал руки, подражая оперным певцам, изображал танцевальные па, издеваясь над придуманным тут же образом. И было похоже, будто невидимый оркестр, всплыв из могил, беззвучно аккомпанировал ему... Я смотрел на него во все глаза и не мог удержаться даже от некоторого восхищения: этой свободой мысли, движения и, пусть несколько натужным, чувством юмора.

— Если бы мне нужно было найти кого-нибудь, кто воплощал бы собой прошедшие годы, — говорил он, — я не искал бы мыслителя, полководца, артиста или спортсмена, я взял бы Ромена. Потому что он был самым свободным из нас и потому что его желания точно отражали мир, в котором мы жили. Знаете ли вы, что он прошел войну от начала до конца,

при этом умудрившись сочетать в себе почти героизм с совершенным легкомыслием?

Я пробормотал, что слышал об этом.

— Знаете, что я думаю обо всех этих прекрасных войнах? — Мне плевать на них. Это не мой конек. Но что в них важно... Вы знаете, что в них важно?..

Я вынужден был признаться, что, к моему стыду, не имею понятия о том, что в них важно.

— То, что важно сегодня, и не было важным вчера. Ну, что это? Что?..

...Но это же история!.. Вы знаете, что такое история?..

— Но это вы должны мне объяснить, — промямлил я. — Это ваша область, насколько я знаю.

— Хорошенькое дело! — воскликнул он. — Это и ваша область. Или должна быть вашей. Вы ведь пишете романы, мне говорили. И о чем вы рассказываете в этих ваших романах?

В конце зимы, на аллее кладбища объяснять профессору лингвистики, о чем я пишу в моих романах, — это было выше моих сил.

— Если вы рассказываете там о чем-то другом, кроме истории, то ваш труд напрасен. Именно романисты и должны говорить об истории. Историки же, которые спрашивают себя, что такое история, и пытаются это объяснить, приходят в конце концов к тому, что не знают, о чем говорят...

Голова у меня уже начинала идти кругом.

— Возможно потому, что Ромен никогда не задавал себе вопросов об истории, он давал довольно точное представление об истории своей собственной персоной. Вы знаете, что его отец был гитлеровцем?

Я словно с луны свалился. Я подумал, что Ромен никогда не рассказывал мне о своем отце. Но это умолчание еще не означало, что его отец должен был оказаться гитлеровцем.

— Как гитлеровцем? — воскликнул я.

— Он даже воевал в Испании. Но не на стороне Мальро, Хемингуэя и Оруэлла. Напомните-ка мне названия нескольких ваших романов...

— Гм... — протянул я, озадаченный этим очередным зигзагом его мысли.

— Вы в них рассказываете о Гитлере, о Сталине?

— Ну, — сказал я, — приходилось... Да, я припоминаю, что в нескольких моих книгах я говорил и о Сталине, и о Гитлере...

— Вот и не надо было говорить ни о чем другом. Все остальное бесполезно, особенно в романах. В этом веке каждого из нас уже больше не сопровождает наш личный ангел-хранитель. Его место занял один из близнецов-врагов: Сталин или Гитлер. Любовные истории, амбиции, успехи и провалы — все, что составляло плоть романов XIX века, — уже не имеет значения. И даже деньги и сам Бог, которые всегда были великолепными пружинами развития действия, потеряли во многом свою художественную силу. То, чего не могут объяснить историки и что должны рассказать романисты — через малые достоверные детали: о кафе, операх, путешествиях, о времени и чьих-то рассказах о нем — это то, как повседневное существование трех поколений, одного за другим, — еще со времен Ленина и Веймарской республики, и после них, до нашего времени, и, возможно, еще после нас — определяется этими фигурами, Гитлером и Сталиным: их взаимной ненавистью, сообщничеством, мимолетным союзом и борьбой не на жизнь, а на смерть.

— Но разве нельзя было, находясь вдали и от того, и от другого, — выдохнул я, — верить в свободу, прогресс, демократию?

— Да вы смеетесь? — вскричал он. — Попробуйте написать хороший роман о прогрессе демократии и либеральных идей. Все поднимут вас на смех, а ваши читатели захлебнутся от скуки. То, что способно дать настоя-

щие краски, живые краски — красную и черную — тому времени, которое мы пережили, — это вот эти цвета ада: коммунизма и национал-социализма. Вот что интересно! И в добрый путь! Немного перца в безвкусную похлебку консервативной буржуазии и радикал-социализма! Как нам было бы скучно без Гитлера и Сталина! Ромен, кстати, неплохо расположился между матерью еврейкой и отцом нацистом: он мог выбирать произвольно, к какой стороне примкнуть. Он ни во что не верил, вы это знаете. Как вы думаете, из него мог бы выйти хороший эсэсовец?

— Нет, — сказал я так твердо как только мог, — я так не думаю.

— События подтвердили вашу правоту, поскольку он не был эсэсовцем, а воевал в эскадрилье «Нормандия-Неман» на стороне Советов, хотя не признавал ни их идей, ни их режима, ни их образа жизни.

— Очевидно, еще более ненавидел он идеи нацизма и его образ жизни?

— Вполне возможно, — проворчал Виктор. — Но известно ли вам, как и почему он отправился в Англию 21-го или 22-го июня сорокового года?

Нет, я об этом не знал. И я почувствовал раздражение: Ромен никогда ни словом не обмолвился мне об этом своем выборе, который стал для него решающим.

— Он бросил жребий. При этом случилось присутствовать еще некоей даме, а он был мертвецки пьян. И ему было всего семнадцать лет... В семнадцать лет, знаете ли, исторические понятия... В этом возрасте не бываешь серьезным... Его отец-судовладелец был фашистом; он увлекался авиацией и брал его с собой в самолет с десяти лет, а с пятнадцати учил его водить самолет. Студенты в то время были скорее правых взглядов... Тогда не было этих либеральных рохлей, как сегодня, которые пугаются собственной тени и молятся на рынок. Рынок! Вы могли бы умереть за рынок?.. Его отец был видным реакционером, он сражался в Валенсии и на фронтах Астурии на стороне Франко и пел гимн фалангистов:

Cara al sol con la camisa nueva
Que bordaste de rojo ayer...

Он опять принялся петь на пустынном кладбище и, внезапно остановившись, поднял руку в фашистском приветствии перед оторопевшими могилами...

— И можно было идти на смерть за вот эти слова?.. О-ля-ля! Прекрасные воспоминания, не так ли?

— Да, прекрасные воспоминания, — воскликнул я.

— Бросьте вы! Не изображайте из себя, прошу вас, юную девицу-моралистку. Мы здесь среди своих, старина. И если бы Ромен был жив, он первый посмеялся бы над вами. Когда я был молод, существовали всего два понятия — забавных и достаточно близких, чтобы они могли смертельно ненавидеть друг друга — фашизм и коммунизм, и чтобы понимать друг друга с полуслова — опять-таки фашизм и коммунизм. Они понимали друг друга так же, как ненавидели друг друга, и только дураки испускали павлиньи крики, узнав о подписании германо-советского пакта... Я сейчас открою вам секрет: во времена молодости, когда я был дружен с отцом Ромена, — только молчите как могила! — я сам колебался в выборе...

— Вы колебались?! — удивился я.

— Это было потрясающее время. И не только потому, что я был молод. История, которую изучают потом, всегда далека от того, чем она была в свое время, когда она делалась...

Так вот, Ромен был тогда влюблен в женщину, которая была на пятнадцать лет старше его. Она была женой префекта полиции Марселя. Пожалуй, это скорее она страстно влюбилась в Ромена. Она была чертовски хороша и бесстыдна. А у него был друг... постойте, вы должны знать его имя! — это

был нынешний великий канцлер Почетного легиона генерал Дьелефи. Они учились тогда вместе в марсельском лицее и были неразлучны. Зимой они вместе катались на лыжах, а летом ходили на лодке в бухты Кассиса. А когда выдавалось пару часов свободных — отправлялись в Истр побродить вокруг самолетов. И вот в тот вечер, о котором я вам говорил, Андре двадцать раз рассказывал мне эту историю...

— Какой Андре? — переспросил я.

— Андре? Да шевелите же мозгами, старина: это отец Ромена, муж немецкой еврейки, сторонник Франко, марсельский судовладелец, фанатик авиации... В тот вечер в портовом кабачке сидели Ромен, Элен и Симон Дьелефи. Симон весь кипел энтузиазмом: он хотел поступать в Сен-Сир и хотел сражаться на войне. Уже тогда голос и имя временного генерала, которого звали Шарль Де Голль и который имел наглость не подчиниться приказам и отправиться в Лондон, начинали будоражить умы французов. Симон Дьелефи бредил одной идеей — присоединиться к нему. А Элен, с ее зелеными глазами и ногами, растущими от шеи, думала совсем о другом, как вы понимаете, — о том, как удержать возле себя Ромена. Это был ее мальчик, но этот мальчик был уже мужчина... Ромен упился в стельку, и, не зная, как отделаться от Элен и Симона, которые тянули его в разные стороны, решил вдруг сыграть в орла и решку: бросить жребий, отправляться ли ему в Англию. Он попросил Элен — та была вся в слезах и расстроенных чувствах, тоже пьяная в доску — подбросить вверх монетку в сто су. Затем все трое бросились на землю, чтобы узнать указание судьбы, — и это был орел...

В пять часов утра Ромен и Симон отплыли на посудине, которая направлялась в Алжир. Конец истории вы знаете...

— Конец истории? — пробормотал я. — Какой конец?

— Нет, вы посмотрите на этого кретина, — пробурчал он, словно меня тут не было. — Он действительно ничего не знает. Но Ромен же был вашим другом! Посреди Средиземного моря Ромен и Симон захватили корабль на манер Хэмфри Боггарта в фильме «Иметь или не иметь» и силой принудили их идти на Гибралтар... А из Гибралтара...

...Между тем люди постепенно начали собираться. Составлялись маленькие группки, в которых царила торжественная неловкость, присущая церемониям похорон и королевских аудиенций. Я спрашивал себя, что мог бы подумать Ромен, больше всего боявшийся скуки, о собственных похоронах. Я думаю, он бы сбежал: он слишком любил жизнь. Он подцепил бы одну из молодых женщин, оплакивавших его уход, и с нею удалился. Он всегда продвигался по жизни победным маршем... У меня же не было ни его циничности, ни его равнодушия. Я обернулся к Виктору и вздохнул:

— Идемте...

Но он отпустил меня, хлопнув по плечу, и я направился поцеловать руку Марго Ван Гулип. Она в ответ прижала меня к сердцу, она тоже любила Ромена.

Между Марго Ван Гулип и Виктором Лацло не было ничего общего. Они принадлежали к двум совершенно разным мирам и могли бы никогда не встретиться. Единственной нитью, их связывающей, был Ромен. И еще я тоже. Марго — Королева Марго, как ее называли друзья, — редко бывала одна. Она всегда была окружена поклонниками или шутами, которые должны были ее защищать, развлекать, смешить, а она их за это кормила.

На кладбище в этот день ее сопровождали два брата. Эти двое хорошо пожили в прекрасные дни молодости: поездили по свету, просиживали сутками в казино Монте-Карло. Об одном ходили слухи, что он был любовником одной из тех «королев в изгнании», о которых мечтал молодой Пруст; о другом поговаривали, что его выставили из казино за то, что он

шулерничал. За это шутники их окрестили: одного — Бур-ля-Рен (дословно «королевское местечко»), а другого — Шуази-ле-Руа («выбери короля»), а когда видели их обоих вместе — «Большое Предместье»...

...Как и Виктор Лацло, Марго Ван Гулип была живой легендой. Вся хроника «безумных лет» — между двумя мировыми войнами — была освещена ее блистательной и роковой красотой. Ограничимся здесь только областью литературы, в которой она сыграла далеко не последнюю роль. Так, Габриель Д'Аннунцио, уже пожилой, Луи Арагон и Поль Моран — все они, последовательно или одновременно, пали жертвами ее чар. Она постоянно является под разными личинами, что только добавляет ей очарования таинственности в их пламенных письмах. Жюль Ромен посвятил ей свой чистый и уже несколько подзабытый роман «Особенная женщина». В свое время вокруг него было много шума в парижском кругу, но он оставил ее холодной как мрамор. Она витает в нем — жестокая и обожаемая повелительница — во сне воспоминаний...

Происхождение всех великих мифов теряется во мгле. Одни утверждали, что она родилась в борделе где-то на Ближнем Востоке. Другие — что она была дочерью весьма набожного раввина из Туниса или Триполи. Сама она время от времени бросала с напускной небрежностью красочные намеки, в которых можно было усмотреть все что угодно: от голодного детства до интерьеров, достойных «Тысячи и одной ночи». Она три или четыре раза выходила замуж, но имена ее мужей были менее известны, чем имена ее любовников, при этом состояния ее мужей были гораздо значительнее. Она жила в Риме, Лондоне, Венеции, Нью-Йорке, а в Париже ее дом на набережной Анжу стал местом встреч для мира моды, театра, журналистики и дипломатии.

— Боже мой! — сказала она мне. — Как мы любили Ромена, мы оба.

Что я мог ответить ей на это?

— Вы помните Патмос? — спросила она меня с улыбкой. Эта улыбка напомнила мне обо всех бесчисленных былых победах этой девяностолетней, теперь разрушенной временем живой карикатуры, которая стояла сейчас передо мной и обнимала меня, — эта улыбка символично соединяла в себе все: радость жизни с ее разочарованием...

...Помнил ли я греческий остров Патмос?!. Мне было двадцать лет, или даже меньше; огненное солнце сжигало небо Греции... Прошлое налетело на меня вихрем и унесло прочь в складках своих очарованных парусов, и это теперешнее кладбище в преображенном настоящем отошло в небытие...

Я знал Грецию теоретически: я уже прочел несколько страниц Гомера, Эсхила и Софокла, Платона, Фукидида... Я знал наизусть эту дивную сцену из «Илиады», где Гектор, сын царя Приама, идя на битву с греками, осаждавшими Трою, прощается с Андромахой. Плюмаж из конского хвоста, развевающийся на шлеме Гектора-отца, пугает его маленького сына Астианакса — ему, возможно, всего несколько месяцев от роду. И тогда блистательный Гектор снимает этот страшный шлем, кладет его на землю, прижимает сына к себе и покрывает его поцелуями. Затем передает его на руки Андромахе, которая, — говорит Гомер, — принимает его на свою благоуханную грудь со смехом в слезах...

Этот «смех в слезах» Андромахи окрылял меня счастьем. Я видел в нем одну из важнейших черт мира романа, который вот уже много веков идет рука об руку с миром реальным. По мере своего роста, роман постепенно освобождался от героев и богов, на которых он держался в своем младенчестве — в купели эллинического мира. Повзрослев, он повернулся лицом к человеку, к пожирающим его страстям, часто противоречивым...

Но родился он у Гомера в этом его гениальном оксюмороне*, и благодаря ему мать Астианакса предстает перед нами как живая.

Греция уже давно манила меня благодаря книгам, которые много — может быть, даже слишком — занимали меня в юности. Сам же я еще никогда не бывал в этих легендарных местах, где жило столько героев: Антигона, Ахилл, хитроумный Улисс, Перикл... Естественно, когда мне представилась возможность отправиться к Эгейскому морю и Додеканесу, я ухватился за нее обеими руками.

Боже, как прекрасна была жизнь в мои девятнадцать лет! Вернее, какими прекрасными кажутся мне мои девятнадцать лет, в свое время очень нелегкие, когда я вижу их сейчас, в той дали, освобожденными от тоски и горечи, украшенными всеми прелестями прошлого и воспоминаний о нем, в свете этого одного-единственного лучезарного слова — Патмос, которое произнесла Марго Ван Гулип на этом застывшем кладбище, где скоро упокоится Ромен, произнесла с улыбкой в слезах...

Итак, мне было девятнадцать лет. Я был принят к участию в одном из этих жутких конкурсов в Школе, на которых куется элита нации, — это по мнению одних, а по мнению других — они лишь продлевают агонию буржуазных ценностей. Я прочел много книг, но совсем не знал жизни. Я питал в душе, воспаленной чтением, большие и смутные надежды, к которым тайно примешивалась неуверенность в неизвестном будущем.

Я не знаю, у кого в Школе на улице Ульм созрела эта гениальная идея — о конкурсе. Может быть, это был Луи Альтуссер, доброжелательный философ-марксист, который был репетитором и добрым посредником между студентами и администрацией — до тех пор пока его разум не погрузился в сумерки (ей-богу, жизнь — настоящая машина по производству вперемешку и счастья, и страданий!), это помрачение впоследствии толкнуло его на убийство: он задушил свою жену Елену...

А может быть, это был сам директор Нормальной школы. Возможно, тогда это был Фласельер, ставший жертвой грубой шутки бессердечных студентов-«нормалистов»: они послали от его имени и без его ведома запрос о его приеме кандидатом во Французскую академию; не удовлетворясь этим, они затем простерли свое коварство до того, что на его опровержение дали свое опровержение в соответствующих колонках газеты «Монд»...

От кого бы ни исходила эта гениальная идея, она состояла в том, чтобы организовать — по сниженной стоимости — для нескольких талантливых студентов, «помешанных» на литературных идеях и формах, культурно-археологическое путешествие в Грецию.

...Море, несмотря на довольно сильно дувший «мельтем», было сплошным очарованием. Земля же была вся в статуях и храмах. Мы поднимались к Акрополю, прогуливались в Пропилеях, Парфеноне, Эрехтейоне, обрамленном портиком, который поддерживают коры (или кариатиды), а также в храме Афины Никейской. Храмы, статуи, холм богов — мы сразу узнавали их, вплоть до мельчайших деталей, потому что, не видя их ранее, мы уже из книг знали о них почти все. Мы посетили Саламины, Эгину, мыс Суньон, где лихорадочно искали, но безуспешно, росчерк Байрона на одной из колонн храма Посейдона; были и на Делосе и просто сходили с ума от его куросов и львов... Мы плавали и к Санторину, воображая себе погибшую Атлантиду... Нас жгло солнце; мы брали напрокат велосипеды или мопеды, чтобы прогуляться на островах через поля лаванды, а потом купались в море — в море богов и героев...

В последние годы своей жизни апостол Иоанн — любимый ученик Христа, который стоял у креста рядом с Девой Марией и который принял на руки поникшее тело замученного Христа — удалился на остров Пат-

*Один из тропов (лексических средств выразительности), который заключается в соединении противоположных понятий. (Прим. перев.)

мос, где и написал свой Апокалипсис. Патмос был последним островом, который нам предстояло посетить перед долгим ночным — без захода в порт — возвращением в Афины. Большинство греческих островов — плоские. Патмос же — крутой, а в деревне Хора, которая считается его центром, возвышается монастырь Иоанна Богослова — он знаменит своей библиотекой. Мы высадились, как и все, в маленьком порту Скала (многие греческие порты под влиянием Венеции и Генуи стали называться Скала) у ворот Хоры и, как и все, приготовились медленно подниматься к монастырю. Было очень жарко. Мы решили искупаться, прежде чем предпринять восхождение, которое обещало быть трудным.

Едва мы успели войти в воду, как на пляже, почти пустынном, появилось удивительное авто. Это был маленький белый открытый автомобиль — такие можно было увидеть на площадках для гольфа, или в кино — в больших пальмовых садах экзотических отелей. Он был снабжен чем-то вроде навеса для защиты от солнца водителя и пассажиров. Из этого автомобиля, похожего на гибрид лунного робота с салонной безделушкой, вышли две женщины: одна — дама-брюнетка в черных очках, в большой соломенной шляпе, одетая в длинное просторное светлое платье; второй была молодая светловолосая девушка в шортах. Они вытащили из авто ивовую корзину, поставили на песок и принялись доставать из нее со сноровкой фокусниц помидоры, крутые яйца, ветчину, дыни и две бутылки вина.

Среди нас был лингвист-педант, историк, занимавшийся гностиками и богомилами, классическая филологиня... Понятно, что все мы — ученая публика — смотрели на это бытовое чудо большими глазами. Под солнцем «Одиссеи» это было как вторжение английского романа в курс литературы Коллеж де Франс. Или как мадам Соларио в Латинском квартале.

В общем, мы онемели от изумления. Однако в этой бухточке, пронизанной солнцем, невозможно было сделать вид, что мы не заметили друг друга. И «мадам Соларио» сделала первый выстрел, скромно представившись:

— Меня зовут Мэг Эфтимиу.

Затем она угостила нас фруктами и печеньем, несколько твердоватым. Молодая девушка была немкой с примесью русской крови, эта примесь сказалась на ее высоких скулах; ее звали Элизабет.

— Она играет на скрипке, — сообщила «мадам Соларио».

Мы провели вместе около двух часов: дремали, растянувшись на песке; время от времени, спасаясь от жары, бросались в воду и чувствовали себя восхитительно, хотя и немного напряженно. Когда обе дамы собрались обратно домой, они пригласили нас с собой. Но было абсолютно исключено, чтобы мы могли все разместиться в их игрушечном автомобиле. Мы разделились на две группы. Некоторые из нас — их было больше — решили не обременять «мадам Соларио» и скрипачку. Остальные трое — и я в том числе — решили принять их приглашение. Филологиня расположилась в авто вместе с дамами. Ле Кеменек и я с помощью Элизабет задействовали двух ослов, предназначенных для подъема к монастырю Иоанна Богослова. Дом «мадам Соларио» находился за монастырем.

День уже склонялся к вечеру. Дикая полуденная жара отступила. Все вокруг словно растворялось в нежном тепле. Элизабет, добравшись до вершины раньше нас в своем опереточном авто, вернулась навстречу нам пешком, чтобы показать дорогу. Дом «мадам Соларио» оказался большим старым строением с толстыми стенами, очевидно, когда-то оно служило жилищем служителям монастыря. Сейчас на разных его этажах располагались террасы, заполоненные красными цветами, я с восхищением повторял про себя их экзотическое название — «бугенвиллии», чтобы не забыть... С каждой террасы открывался потрясающий вид на море. Наша филологиня даже легонько присвистнула.

— Само собой разумеется, — сказала Мэг Эфтимиу, — вы останетесь пообедать с нами и переночевать. Вы можете остаться на несколько дней. Я собираюсь в Париж на следующей неделе, и было бы хорошо поехать туда всем вместе.

Однако остаться даже на несколько часов в очарованном замке «мадам Соларио» было проблемой. Дело в том, что все остальные «нормалисты» отправлялись тем же вечером в Афины. Противоречивые чувства раздирали нас, зеленых интеллектуалов. Сначала дрогнула филологиня: она решила вернуться к нашей группе, осматривавшей монастырь. Ле Кеменек и я долго не раздумывали. Мы поручили этой ученой девице сообщить нашим, что мы остаемся и будем добираться в Париж своим ходом.

Наш ужин на верхней террасе, под звездами и при свечах, был словно прекрасный сон. Ветер полностью стих. Мы ели голубцы в виноградных листьях, «сувлаки», «кефтедес», и запивали все это терпким вином. Были только свои: друзья «мадам Соларио». Среди них был высокий брюнет, одетый в белое, похожий на индейца-инка или на воина из легенды, сошедшего с какого-нибудь барельефа; он был бесподобно самоуверен, говорил громко, и я сразу стал испытывать к нему смешанное чувство притяжения и недоверия. Его звали Ромен. Вот тогда — на террасе дома Мэг Эфтимиу на Патмосе — я и увидел его в первый раз...

...Кто-то взял меня за руку. Я обернулся. Марго Ван Гулип уже осаждал рой ее «придворных», для которых она была образцом стиля и щедрой хозяйкой. А мне улыбалось несколько застывшей улыбкой еще одно знакомое лицо.

— А, это ты, — протянул я. — Здорово, что ты приехал. Ты откуда?

— Из Тосканы, — ответил он. — Вот примчался.

На меня нахлынул прилив нежности. Я взял его за плечи и всмотрелся в лицо. Я давно его не видел. Но его лицо, растиражированное газетами и телевидением, было настолько известно, что, казалось, вы виделись с ним только вчера.

— А твоя жена где? — спросил я.

— Ты ее сейчас увидишь. Она должна присоединиться ко мне здесь.

— Ты сейчас работаешь?

— Понемногу, как всегда, — ответил он.

— Это роман?

— Можно сказать и так. Здоровенное сооружение, и мне с ним тяжко.

Я засмеялся:

— Тогда я за тебя спокоен.

Ле Кименек — это был он — шумно вздохнул.

Он писал немного. Но каждая его книга делала много шума и имела успех. Будучи еще в Школе, он имел репутацию одновременно лентяя и живчика. Марксисты, троцкисты, психоаналитики смотрели на него несколько свысока. И когда — это было в шестидесятые годы — он получил Гонкуровскую премию за свою первую книгу «Прощай, жизнь, — прощай, любовь» (она разошлась тиражом в 600 000 экземпляров, а затем была переведена на 11 языков), это был сюрприз. Для всех, но только не для меня: я-то знал, на что способна его кажущаяся лень...

— Я видел, ты разговаривал с Лацло. Я с ним не знаком. Но мне нужно кое о чем с ним поговорить. Ты не мог бы меня ему представить?

— А куда он девался? — спросил я, оглядываясь вокруг.

И я его заметил: он разговаривал с Марго Ван Гулип, все так же плотно опекаемой «Большим Предместьем». Невзирая на их тяжеловесное присутствие, обе живые легенды казались вполне довольными друг другом.

— Идем, — сказал я.

И, ведя его за собой, я направился к Лацло.

— Простите за вторжение, — сказал я Королеве Марго, — но я хотел бы представить вам и Виктору Лацло автора книги «Прощай, жизнь, — прощай любовь».

— А, так это вы, новый гностик, — заявил Лацло нагловато, но с явным интересом к подошедшему. — Вы смотритесь лучше, чем на экране телевизора. Вот чего не нужно делать в наши дни, если занимаешься писательством.

— О, не говорите, — возразил Ле Кеменек. — Вы сами в этом смысле настоящий золотых дел мастер.

Я посмотрел на часы. Оставались еще добрые три четверти часа до появления похоронной процессии у ворот кладбища. Люди продолжали приходить. Я узнавал почти всех: все они так или иначе были связаны с жизнью Ромена или моей. Человеческое существование состоит из отношений, связей, встреч. Ромен через бесконечные пересечения людей был связан чуть ли не со всем миром. В пространстве. Во времени. Это как камень, упавший в озеро: волны от него распространяются все дальше и дальше и наконец достигают самого дальнего берега...

...Тот ужин на террасе я помнил до малейших деталей. Я думаю, здесь дело в возрасте. Я с трудом вспоминаю, что я делал год назад, тем более — четыре или пять лет назад. Но те ночи и дни на Патмосе... я так часто вспоминал их за прошедшие пятьдесят лет — боже мой, уже полвека! — что они просто врезались в мою память. Я снова вижу то ночное небо, созвездия, которые мы созерцали в тишине, очертания цветов в темноте, туники Элизабет и «мадам Соларио». И слышу как сейчас голос Ромена...

...Марина, пятилетняя дочь Мэг Эфтимиу, забавная, живая, уже умела — несмотря на свой юный возраст — занять достойное место в компании. Мэг вышла к ужину на террасу в блистательно скромном платье, с гладко зачесанными волосами, держа на руках свою дочь. Было уже десять часов или половина одиннадцатого вечера, и Ромен, садясь за стол, шепнул мне:

— Обычно здесь на островах ужинают в девять часов или в четверть десятого. Но что вы хотите: присутствие пятилетнего ребенка, конечно, обязывает нас отодвинуть ужин на более позднее время.

Малышка была восхитительна и явно очарована Роменом. Она сидела у него на коленях, играла с его волосами, довольно длинными, и они оба весело смеялись. Нужно было быть слепым — а я отчасти им и был, отупев от книг и учебы, — чтобы не заметить, что все присутствующие в доме женщины были без ума от Ромена. Впрочем, его шарм действовал и на мужчин. Я видел, что даже Ле Кеменек, обычно скептичный и насмешливый, был готов сдать позиции: он был очарован Роменом, хотя тот весьма отдаленно напоминал моралистов и археологов, которые составляли тогда, в окрестностях Пантеона, наш интеллектуальный хлеб насущный.

Там был еще некто, чья молчаливая и скрытная тень скользила время от времени в лунном свете. Это был мусульманин в красной феске, которого звали Бешир. Он давно был в услужении у Мэг Эфтимиу; он приносил нам кофе, холодные напитки и сигареты. Из всех, кто собрался — бог знает почему — в тот вечер нашей предыстории и кто должен был сыграть такую большую роль в моей жизни, именно Бешир, своими словно случайно нанизанными воспоминаниями и рассказами, перемежающимися с умолчаниями, увлечет меня дальше всего...

...Немного в стороне от групп, составившихся либо случайно, либо по близости воспоминаний о Ромене, здесь, на кладбище, Бешир разговаривал с Жераром. Трудно себе представить двух более разных людей, чем эти двое. Бешир тоже постарел и был похож теперь в сером костюме хороше-

го покроя на «уцененного» Омара Шарифа. Он был всегда наготове, если нужно оказать кому-либо услугу. Он мог сервировать стол, починить отопление или телевизор; он красил кухни, отвозил по телефонному звонку опаздывавших в аэропорт Орли или Шарль-де-Голль. Я не раз встречал его в самых неожиданных ситуациях на воскресных парижских обедах. И чаще всего — у Ромена. Я даже видел его однажды зимой у Королевы Марго: он заменял в партии бриджа четвертого отсутствующего. Сейчас я спрашивал себя, о чем они с Жераром могли говорить...

Высокий, худощавый, с живым и открытым лицом, Жерар был еще красив. Из всех нас возраст затронул менее всего именно его: он был все еще очень симпатичен. Я знал его еще с тех времен, когда он печатал сначала в «Экспрессе», а затем в «Воскресной газете» свои злободневные хроники. У него было все, и даже талант. Его погубило одно — его неврастеническая страсть к публичности.

Он был везде. На официальных обедах. На радио. На телевидении. Во главе всех процессий, шествовавших по улицам... У меня было впечатление, что он жил в постоянном страхе, как бы чего не упустить. Он гонялся за модой, знаменитостями, слухами, которые уже успевали устареть. Или он пытался их опередить?.. Однажды летним вечером у бортика бассейна он дал интервью некоей сирене с рыбьим хвостом из папье-маше, которой удалось заставить его снять с себя всю одежду, кроме кальсон, которые — вот незадача — оказались фиолетовыми.

— Ничто не нужно принимать слишком всерьез, — сказал ему тогда Ромен, — но вот фиолетовое белье все-таки носить не стоит.

— Это почему? — взвился уязвленный Жерар. — Почему я не могу носить фиолетовые кальсоны?

Ромен ответил ему с великолепным спокойствием:

— Потому что телевидение цветное...

Эти фиолетовые кальсоны вместе с острым словцом Ромена обошли весь Париж. Один бульварный журнальчик с их помощью повысил свой рейтинг. Жерар порвал отношения с Роменом и однажды явился ко мне за советом.

— Все указывают на меня пальцем. Не могу больше. Посоветуй, как мне быть. Ответить? Драться на дуэли? Влепить Ромену затрещину?..

— Да нет же, — сказал я ему. — Надо просто исчезнуть.

— Исчезнуть?!

— Исчезнуть. Ты уходишь. Хранишь молчание. Никто о тебе ничего не знает. Никаких кальсон. Никаких песенок. И через года два — вот увидишь — о тебе начнут сожалеть, а когда ты вновь появишься, тебя примут как пророка.

Я буквально слышал, как противоречивые мысли сталкивались у него в голове, — от них исходил звук, как от трещотки.

— Через года два?!. Но это невозможно!

И все же не два года, а гораздо больше Жерар, по его словам, усердно работал над каким-то грандиозным творением. Одновременно он пописывал пустячки, которые имели некоторый успех, и которые он сам считал общественно значимыми и красиво сработанными. Я не знаю, его враги или он сам распускали слухи, что он регулярно на несколько дней укрывался во дворце Трианон в Версале, чтобы посвятить себя своему шедевру. Шедевр, однако, так и не появился...

Я думаю, что в сущности он был несчастен. Он жил, как и все мы, в мире идей и мечтаний, существовавшем отдельно от мира реального. И не мог с этим ничего поделать. Но мир реальный этого не замечал: по результатам опроса, проведенного «Пари-Матч», о людях, которые наиболее полно воплощают собой французскую культуру, Жерар оказался на

втором месте, сразу после министра... Сам он был совсем другого мнения о себе: он был очень умен и судил себя беспристрастно, возможно, гораздо строже, чем даже его критичные друзья.

...Сам факт разговора между Беширом и Жераром был удивителен. Первая ступень человеческого развития беседовала со второй или даже с третьей. Бешир ничего не знал о том маленьком рафинированном мирке, в котором процветал Жерар. Он долго жил в атмосфере средневековья с его лошадями, собаками, деревьями, простыми и грубыми чувствами, где книги, исключая, конечно, Коран, не имели никакого значения. Он был ростом ниже Жерара, но от его кряжистой фигуры исходило ощущение такой силы, что Жерар — да и любой бы другой на его месте — казался рядом с ним хрупким. Они говорили о Ромене, я полагаю. Диалог между ними явно выстраивался вокруг умершего Ромена, как он выстраивался ранее между Беширом и мной, когда Ромен был жив...

...Надо признать, что Марина была чрезвычайно настойчивой девочкой. Она проделывала с матерью все что хотела, да и с другими тоже. Начавшись так поздно, наш обед на Патмосе растянулся на час. Была уже половина двенадцатого ночи, когда до Мэг Эфтимиу дошло, что пора укладывать девочку спать. Но у Марины не было ни малейшего желания идти спать одной. Последовала перепалка. Мэг повысила голос. И тогда малышка, прижимавшаяся к Ромену, встала во весь рост и бросила своей матери:

— Разве так можно разговаривать с маленькими детьми?

Больше чем с Мэг и Элизабет (я предоставлял Ромену и Ле Кименеку поддерживать их компанию) я общался с Мариной в те долгие, залитые солнцем дни моего пребывания на Патмосе. Конечно, она предпочла бы Ромена, но и мне она подавала ручку, и мы с ней отправлялись на прогулку вокруг монастыря или на пляжи острова. В то время на греческих островах, и особенно на Додеканесе, можно было встретить намного меньше людей, чем сейчас. Потому ли, что я был молод, потому ли, что Греция, о которой я так мечтал, была совершенно нова для меня, потому ли, что Марина была первой маленькой девочкой, встреченной мною, я храню яркое воспоминание о своих прогулках по острову с этим пятилетним ребенком, который отвлек меня наконец от «Этики Никомака» и «Феноменологии разума». Она говорила без умолку, перескакивала с одной мысли на другую, останавливалась на каждом шагу, чтобы рассмотреть бабочку или поднять красивый камешек, потом она торжественно приносила его мне. Взамен я рассказывал ей истории об Ариадне и Федре, о Прекрасной Елене, Улиссе, Дидоне и Энее. Я только старался, чтобы они не были слишком долгими и имели счастливый конец. Вопреки Расину и Эврипиду, моя Федра обрела счастье между Тезеем и Ипполитом, а моя Елена Прекрасная сумела (что было явно ближе к Оффенбаху, нежели к Гомеру), пустив в ход слезы и чары, прекратить Троянскую войну без особых потерь. Самые жестокие трагедии оканчивались веселыми полдниками на пляже, где все обнимали друг друга. Марина была очень довольна. Она часто пересказывала Мэг эти кровавые мифы в моем варианте и заявляла, что хотела бы провести всю жизнь с Роменом и со мной, ну и с мамой, конечно.

— Вы ее покорили, — говорила мне Мэг.

— Это скорее она меня покорила, — отвечал я. — Она просто вьет из меня веревки.

Это было накануне моего отъезда: на берегу моря, где Марина собирала ракушки, ее опрокинула и потащила за собой волна, более сильная, чем предыдущие. Девочка тут же поднялась. Ее платье вымокло, вода стекала с волос на перепачканное в песке личико. Она возвращалась домой с нами, держась очень прямо, прижав руки к бокам, этакая Офелия, спасенная из

вод, полутрагическая и полукомическая, и, немного подшучивая над собой, немного декламируя, воскликнула со сдержанным гневом:

— Что же теперь со мной будет?

...Что с ней будет... Что будет со всеми нами... Мы все умрем, как Ромен, который был самым живым из нас... Но прежде чем умереть, нам надо еще пройти через жизнь, а это гораздо труднее...

...Тогда я только входил в жизнь. Остальные вокруг меня уже успели испытать на себе ее крутые повороты. Мэг Эфтимиу каждый день откладывала свой предстоящий отъезд во Францию. Я был этому только рад. Мне нечего было делать во Франции, в Париже, на улице Ульм, в Школе, в Сорбонне. Я существовал как бы вне времени. В компании с Мэг, Роменом, Мариной я отдавался своей зачарованной лени, ее питали солнце и море. Я любил море. Я любил солнце. Я слишком мало знал их до сих пор. Книги, учеба, великие умы, идеи и доктрины, темные залы кино по вечерам в компании с Авой Гарднер и Гарри Купером — все они до сих пор поглощали мою юность без остатка. Греческие острова, вторгающиеся языками в море богов, ослепили меня своими белыми домиками, своими осликами... В конечном счете я провел под сенью монастыря на Патмосе добрых полмесяца или даже все три недели. Это было самое прекрасное время в моей жизни. Я запасался счастьем...

Мы плавали, ловили морских ежей, гуляли по острову. По вечерам собирались на террасе и пели под луной на французском, греческом, английском, среди выступающих из темноты цветов. Песни моряков по-французски:

Чтобы развлечь наверняка,
Расскажем о любви девицы, —
Той, что оделась в моряка
И поступила на корабль...

По-английски:

Отец мой был испанский капитан,
И вот уж месяц как он вышел в море...

Или вот такие меланхоличные жалобы, от которых слезы наворачивались на глаза:

Когда я был студентом,
Я жил совсем один...

Однажды вечером за ужином зашла речь о далеких островах, даже названий которых я толком не знал, и эти названия звучали для меня как мечта: Калимнос... Сими... Кастелоризо... Позднее, гораздо позднее я отправился на эти острова, которым суждено было сыграть огромную роль в моей жизни. Они расположены довольно далеко от Патмоса. Особенно Кастелоризо — он вообще на краю света. Это самый южный из греческих островов. Его розовые скалы и разноцветные домики, расположенные дугой, вздымаются уже в виду маленького турецкого порта Кас, который тогда казался мне недоступным и даже скорее мифическим, нежели реальным. Калимнос, напротив, располагается на доступном расстоянии. Ромен, вероятно, начинал уже немного скучать: он откровенно высказывал желание узнать поближе эти неизведанные земли и накупить губок, которые являются гордостью этого острова. После долгих споров, которые мы вели больше для удовольствия, было решено устроить экспедицию на Калимнос.

Мы вышли в море рано утром: Мэг с дочерью, Ромен, Бешир и я — на паруснике, принадлежавшем семье. Был ли это кеч или ял, который обычно ходил на двигателе? В тот день мы поставили паруса, чтобы воспользоваться отличным ветром. Мы оставили Лерос слева по борту, и через несколько часов приятного и веселого плавания Мэг вся светилась от удовольствия, а Ромен отлично справлялся с ролью капитана, потому что умел все. Мы пришли на Калимнос.

Домики в порту в тот год были выкрашены в зеленый цвет. Каждый год, или раз в два-три года, местные власти выбирали другой цвет, и маленький городок менялся: он становился голубым, или желтым, или красным, или белым. Нам он предстал зеленым. Гостиница «Акрополис» в те времена была единственной на острове и располагала всего семью комнатами. Четыре из них уже были заняты англичанами и немцами, чьи судна мы видели, проходя мимо. Три остальные мы распределили между собой на ночлег. Лучшую заняли Мэг с дочерью, другую взял Ромен, а мы с Беширом разделили третью.

Губки действительно были. Мы накупили их целые мешки — впрок на долгие годы. Потом я долгое время мылся с ощущением возвращенного счастья этими губками с Калимноса. Вода текла по моему лицу вместе с воспоминаниями. Когда последняя стерлась до волокон, надо мной пронеслось уже много лет. С их надеждами и печалями...

Марина была в восторге. Она не страдала морской болезнью. Ей нравился корабль. Зеленые домики забавляли ее. Она резвилась в грудах губок, и я как сейчас вижу ее прыгающей в их упругих и нежных волнах. Мы плавали, гуляли, веселились на Калимносе так же, как это было и на Патмосе. Мы обедали в «Акрополисе» и с сожалением вспоминали об Элизабет, Ле Кименеке, оставшихся на Патмосе. И только один раз мы легли рано, когда Марину сильно утомил ветер с моря.

В гостиничной комнатке, крошечной, побеленной известью, лежа в постелях без сна, мы с Беширом разговорились. Под напором моих вопросов Бешир, неуверенно и даже немного недовольно, стал рассказывать мне о своей жизни. Я был ошеломлен. Целый мир — но это был совсем другой мир — ворвался в этот наш, нынешний. На Патмосе, на ночной террасе, мы созерцали луну и звезды. Эти светила расположены на разных расстояниях одни от других, и свет, который они нам посылают, доходит до нас за несколько минут, или несколько лет, или несколько тысяч лет. Так же и то, о чем рассказал мне Бешир, шло очень издалека и уносило меня тоже очень далеко...

Он родился, как он полагал, где-то на Кавказе или около, но, честно говоря, от кого — не знал.

— Ну и что же, что ни отца, ни матери, — говорил я ему смеясь, а затем, чтобы его утешить: — Это мечта многих. Родители всегда стесняют: приходится подстраиваться, чтобы им угодить.

— Легко говорить тому, у кого они есть, — отвечал он мне. — А у меня не было никого. Никого, чтобы заниматься мной. Никого, чтобы научить меня хоть чему-нибудь. И никого, чтобы любить меня. Годами я выкручивался сам, как мог. Я учился у одних, у других. В шесть лет я очутился в Ливане, где выучил французский язык благодаря милосердным сестрам-монахиням, которые меня подобрали и от которых я вскоре удрал... а может быть, это они выставили меня за дверь? Я скверно вел себя, мне нужно было выжить, и я делал все, что мог, чтобы не подохнуть. И поверьте, это не всегда было весело... И когда мне повстречалась мадемуазель Мэг, она тогда была ненамного старше, чем сейчас Марина... нет, все-таки постарше... передо мной словно открылся рай...

— А ее семья... — сказал я в надежде узнать побольше о «мадам Соларио», — семья мадам Эфтимиу...

— А что семья... Это все она, только она была так добра ко мне. И я с ней больше не расставался. Ей было лет пятнадцать-шестнадцать, когда я с ней познакомился. И мне было около того. Она уже тогда была очень красива. Жизнь не была для нее, уверяю вас, так легка, как сейчас для Марины. Я помогал ей как мог, чтобы отблагодарить за все, что она для меня сделала.

— А она действительно много сделала?

— Много?! Да она меня спасла! Я не был бы сейчас с тобой, да я вообще нигде бы не был, если бы тогда не встретил ее! Она не звалась тогда Эфтимиу, она мало чего имела, но она все разделила со мной!

— Здорово, — сказал я. — Она стала твоей удачей. А ты — для нее?..

Мы молча лежали в темноте на своих кроватях. Я говорил себе, что мы вплотную подошли к очень щекотливым темам.

— Я все для нее сделал, — сказал он мне.

— Все? — переспросил я.

— Все, — пробормотал он. — Да, я все сделал.

Мы помолчали.

— Ну что, будем спать? — предложил я.

В ту ночь, наверное, я видел во сне Мэг и Бешира в антураже «Тысячи и одной ночи», каким его видел Феллини. Бешир храпел со спокойной совестью. Утром Калимнос снова был в плену у солнца и моря. А вечером мы вернулись на Патмос.

Я ничего не делал. Я ничего не читал. Я привез с собой книги, но ни разу не открыл их. Я слишком много работал с ними в течение четырех-пяти лет. Теперь я узнавал жизнь. И это занимало все мое время. Мне казалось, наверное, я был неправ... или это моя лень придумывала себе оправдания? Что Мэг и ее пятилетняя дочка давали мне больше, чем Платон, Спиноза, «Критика чистого разума» и Хайдеггер вместе взятые. Когда я не прогуливался с Мариной по пляжам и дорогам острова, я отирался возле Бешира. Он был спокоен и молчалив. Он не искал меня, но и не избегал. И он меня интриговал. Я ходил с ним на рыбную ловлю, но он почти все время молчал. И я, под жгучим утренним солнцем, учился у него тому, чего раньше не знал: тишине, молчанию...

...Шум голосов усиливался. Люди разговаривали тихо, но их становилось все больше. Пустые аллеи между рядами могил понемногу заполнялись автомобилями, из которых выходили друзья и иногда — незнакомые мне люди. Группки становились плотнее. Время от времени слышался смех, впрочем, тут же подавляемый смущением. Я задавался вопросом: какова же доля искренней печали и дани условностям в этих людях, которые пришли почтить память Ромена?..

Здесь присутствовала его «когорта верных», но она не была еще в полном составе. А вокруг нее — те, чья жизнь в тот или иной момент лишь пересеклась с жизнью Ромена. Удивляло отсутствие одних и присутствие других... Я думал, что все знаю о жизни Ромена, но оказалось, что она все время выходит из берегов моего знания о ней. Мир вообще больше всего того, что можно о нем сказать...

...Я чувствовал, что в рассказах Бешира много пробелов, или даже так: его повествование было тканью, состоявшей из сплошных пробелов. Я сейчас не могу вспомнить, узнал ли я еще на Патмосе или уже позднее — из его уст? или от других? — о некоторых темных вещах, которые так не вязались с белизной греческих домиков под летним солнцем. И, наверное, неслучайно мои воспоминания — такие точные в том, что касалось Марины или экзотических цветов на террасе, — здесь вдруг запутывались: подсознательно я хотел, как и сам Бешир, чтобы они канули в забвение...

...Приблизительно в то время, когда Ромен отплывал из Марселя на Гибралтар вместе с Симоном Дьелефи — вы помните эту историю, — Бешир отплывал во Францию. Тогда в жизни Мэг уже был мужчина — их будет еще много в ее жизни — это был некий француз. Мэг присоединилась к нему, сопровождаемая Беширом. Вот уже несколько месяцев как она была с этим французом неразлучна. Он бежал от войны в Америку налегке, один, без багажа и родных. Мэг уехала в Америку с этим человеком одна...

Еще в свою бытность в Ливане и Северной Африке Бешир так мечтал о Франции. И вот теперь он, покинутый и растерянный, оказался в одиночестве в этой стране на грани ее катастрофы, в стране, из которой многие бежали и, главное, бежала та, к которой он был так привязан. В общей неразберихе он сумел нелегально устроиться в ней, как нелегально многие ее покидали. Он неплохо говорил по-французски, на том общеупотребительном французском, место которого сегодня занимает английский. Так он протянул более года, существуя нелегально в полном одиночестве, подворовывая на пропитание, ухитряясь стибрить что-нибудь на черном рынке, много раз переходя туда-обратно демаркационную линию — это было для него чем-то вроде захватывающей игры, тем более, что нарушать демаркационные правила не составляло для него труда и даже было предметом гордости.

Французы, оказавшиеся в июне 1940-го года в руках маршала Петена, — а что они могли поделать? — были в подавляющем большинстве и сторонниками маршала, и, одновременно, враждебно настроенными к немцам. С беретами на головах и тщеславием в сердцах они чванливо распевали: «Маршал наш, что будет с нами? / Ты надежду нам вернул...», а заботились главным образом о том, чтобы прокормиться, согреться и выжить среди самой страшной катастрофы, которая когда-либо постигала страну. Организованное сопротивление оккупационным войскам в конце 1940-го и начале 1941-го годов было еще только в зародыше. Несколькими месяцами позже Бешир мог бы оказаться в рядах Сопротивления — и это было бы вполне естественно. Я даже представляю себе именно такой ход событий, который мог бы — с его-то энергией и храбростью — впоследствии принести ему авторитет в послевоенном общественном мнении и неисповедимыми путями поднять его по ступеням социальной лестницы. Я так и вижу его, бесстрашного и верного, сражающимся с немцами, отмеченным Мальро и шествующим в нескольких шагах от Де Голля и Бидо на Елисейских Полях в памятном 1944-м. Но летом 1941-го ему предоставился и другой путь. Его-то Бешир и выбрал...

Я не знаю, как и чьей помощью Бешир вошел в контакт с LVF. Об этом можно только догадываться.

Например, так... По раздавленному жарой военному Парижу, пустому, призрачному, лишенному души и все же захватывающе прекрасному, бредет Бешир. Вот он, засунув руки в карманы, медленно спускается по улице Руайяль. Он равнодушен к этому городу, происходящее в нем его мало волнует, если бы только не отсутствие Мэг, о которой он не перестает думать. Вот он выходит на площадь Согласия, между старым зданием справа — из него в свое время Шатобриан отправился на Восток — и Морским министерством слева, занятым немцами; здесь он останавливается, чтобы осмотреться вокруг. Вся огромная пустынная площадь пестрит белыми табличками с немецкими надписями — это указатели направлений и зданий для оккупационых войск: «Kommandantur», «Lazaret», — с какими-то еще непонятыми обозначениями: они для Бешира все равно что на китайском. Над несколькими крышами развевается красный флаг со свастикой. Даже Бешир, ничего не знавший о довоенном Париже и его бурной жизни, что била здесь ключом всего несколько месяцев назад, даже он осознает

огромность этой катастрофы, в которой есть что-то мистическое. Он поворачивает налево к саду Тюильри и, восхищенный открывшимся видом, бормоча «Париж... Париж...», делает несколько шагов назад, чтобы полюбоваться... и вдруг сильный удар швыряет его на землю...

Из машины, которая неслась на полной скорости от улицы Риволи, выскакивает некая призрачная фигура с орлиным носом, за ней следует секретарь или охранник. Фигура с орлиным носом склоняется над Беширом, простертым на мостовой. Он в состоянии шока, голова кружится. Его несут в машину... Усаженный в нее, он быстро приходит в себя. Он уже чувствует себя нормально. Машина медленно движется к берегу Сены. Человек с орлиным носом посматривает на него обеспокоенно:

— Как себя чувствуете?

— Вполне хорошо, — отвечает Бешир.

— Вас отвезти куда-нибудь?

— Нет-нет, высадите меня здесь.

— Вы уверены, что...

— Да, все в порядке. Ничего страшного. Это я был невнимателен.

— Нет, это я ехал слишком быстро. А я вам говорил, Гастон...

Гастон — это шофер — опускает голову и ничего не говорит. Бешир думает только о том, как бы побыстрее выйти из этой машины — с непривычки ему в ней слишком душно.

— Да, вот здесь. Отлично.

Человек протягивает Беширу картонный квадратик — это визитная карточка. Бешир видит на ней фамилию, напечатанную выпуклыми буквами, но эта фамилия ни о чем ему не говорит, впрочем так же, как и последующий текст, набранный более мелким шрифтом:

ФЕРНАН ДЕ БРИНОН
Главный представитель французского правительства
на оккупированных территориях

...Или другой вариант. Ночь. Перекресток между Клиши и Пигаль. Или со стороны Монпарнаса. Кучка подвыпивших вываливается из пивной. Завязывается потасовка. Бешир, как раз проходивший мимо, не может не вмешаться. Он наносит удар кулаком наугад... и выбивает нож из руки хулигана, уже изготовившегося пырнуть им крепкого мужчину. Когда потасовка прекращается и несколько теней растворяются в темноте, крепкий мужчина жмет руку Беширу и говорит:

— Заходи ко мне в любое время. Я всегда сделаю для тебя все что смогу. Меня зовут Жак Дорио.

Эти эпизоды попахивают романом. Да это и есть роман: я не знаю всего о Бешире — как и обо всех прочих — и таким образом заполняю пробелы. Я пытаюсь восстановить ход событий. Но что уже точно не из романа — это Легион французских добровольцев по борьбе с большевизмом — LVF. О нем сообщали афиши, расклеенные на стенах. Может быть, «одного прекрасного утра» одиночества и тоски и было достаточно человеку, чтобы оторвать от такой афиши лоскут с указанным на нем адресом...

После собрания 18 августа 1941-го года, на котором был сформирован этот Легион, после смотра первых добровольцев 27 августа в казармах Версаля (во время этого смотра рабочий-наладчик Поль Колетт из Кайенны стрелял в Деа и Лаваля — того, который был арестован и отстранен от власти Петеном, но вскоре вернулся) Бешир оказался в Германии. В немецкой униформе. С маленькой нашивкой, указывающей, что он француз. И что всего нелепее в этой всемирной драме — Бешир вовсе не был французом. В своей жажде завоевать всю планету национал-социализм, как в пого-

ворке, «точил стрелы из всякой древесины». Здесь были все: итальянцы, румыны, французы, венгры, украинцы, мусульмане, люди из стран Балтии и стран Азии. Война перемешала нации, вырвала людей из родных домов, согнала с обжитых мест целые этносы. Немцы, естественно, железной рукой держали все под контролем. Это была избранная нация. Она делала историю. Но когда ветер начинал дуть уже в другую сторону, у них, естественно, возникла потребность на худой конец использовать и «лавочников», откуда бы родом они ни были.

Вскоре Бешир уже мог произнести несколько слов по-немецки. Он живой, энергичный, смышленый. Получивший рекомендацию «сверху», к тому же замечен с хорошей стороны. Его отправили в Польшу, затем — в Молдавию. Когда он очутился на русском фронте, немецкий «блиц-криг» уже был остановлен неистощимой массой Красной Армии, которая успела оправиться от первоначального шока и пользовалась мощной поддержкой всей американской промышленности.

В конце осени 1942-го дела у немцев были еще не так плохи. Но война на русских просторах — это вам не оздоровительная прогулка для поднятия настроения, как в Польше или во Франции. Это, черт возьми, война! Со всей ее непредсказуемостью и риском. Подразделение Бешира задействуется во многих операциях, отводится в тыл, затем направляется на передовую в сторону Сталинграда. И здесь начинается ад.

Но этот ад — из льда. Зима ударила внезапно. И холод стал союзником русских. Немцы, которые надеялись на молниеносное наступление, как на западном фронте в 1940-м, оказались у разбитого корыта. Пресловутая германская расчетливость лопнула перед испытаниями второй военной русской зимы. Большинство еще не знает, что маятник уже качнулся в другую сторону. Со вступлением в войну Америки, с усилением ее военной промышленности, которое было спровоцировано нападением Японии, с высадкой в Северной Африке вскоре после катастрофы в Перл-Харборе, игральные кости войны выпали совсем по-другому. Те, кто повлиятельнее, похитрее, кто больше знал — они поняли это, и многие стали переходить из одного лагеря в другой. Оказавшись в грандиозной ловушке, в сети, о которой он ничего не знал и которой он был охвачен со всех сторон, Бешир сражался не за Великий Рейх, которого он не понимал и на который плевать хотел. Он сражался, потому что так было надо, против безжалостного врага, обманутый пропагандой, ведущейся непрерывно сутки напролет. И, главным образом, он сражался со снегом и холодом...

...Несколько капель — сущий пустяк — упало с переменчивого неба. Бешир повернулся и заметил меня. Я обнял его.

— Эх, месье Ромен! — с горечью восклицает он.

Я молча развожу руками. Мне нравится Бешир. Он никогда не произносит лишних слов. И я стараюсь делать так же.

— Чем сейчас занимаешься? — спрашиваю я его.

— Я привез сюда месье Швейцера, — ответил он.

...Андре Швейцер — вопреки своей фамилии — «черная нога» [*алжирец, но европейского происхождения — примеч. перев.*]. Мне достаточно вспомнить о нем, увидеть или услышать его — и сразу вокруг него выстраивается целая череда ассоциаций: Алжир, Эльзас, Вторая империя, генерал Де Голль с его прогрессистскими и освободительными устремлениями. На этом кладбище, где собрались в общем-то только хорошие знакомые Ромена, немало тех, к кому я испытываю (нет, не презрение, потому что этим чувством не стоит злоупотреблять), скажем, «ослабленное уважение». Что же касается Швейцеров — всех, — я уважаю их цельным блоком.

Прежде всего, Швейцеры — это настоящая семья. И семья со своей историей. Я знаю много отвратительных семейных историй. Они являют собой классический фон для многих романов. Здесь насилие, кровосмешение, тяжеловесные тайны; благопристойные фасады, рассыпающиеся в прах под грузом денег и преступлений; продажные нотариусы, ядовитые обольстительницы и добродетельные дамы, превратившиеся в отравительниц. Можно без труда заставить несколько полок томами с подобными историями. История же семьи Швейцеров исключительно почтенна. И даже романтична, несмотря на внешнюю суровость.

Их история восходит к давним временам. Швейцеры — эльзасские пивовары, которые сделали состояние еще при Луи-Филиппе. Они вняли советам Гизо, который рекомендовал своим современникам обогащаться собственным трудом. Поэтому, развив бурную деятельность, они создали целую сеть пивных заводов и скобяных производств. Затем они основали большие магазины. После чего стали серьезно присматриваться к текстильной промышленности. Так, одной ногой — на пиве, а другой — на «тряпках», они стали чем-то вроде местной власти.

Они протестанты. И суровые протестанты. Не в духе Морни или «Нана» — они не циники. Но и не выпячивают себя. Прежде чем предъявлять требования к другим — предъявляют их себе самим. Они не увольняли запросто тех, кто у них работал. Никто из тех, кто имел дело со Швейцерами, еще не умирал на соломе. Один из Швейцеров стал даже мэром города Кольмар в 1865-м году.

Когда в 1870-м году началась франко-прусская война и в пограничный Эльзас пришли немцы, семья Швейцеров не стала скрывать своих симпатий к французской стороне. Мэр Кольмара был расстрелян. В конце 1870-го или в начале 1871-го Швейцеры покидают Эльзас. Они вынуждены покинуть на произвол судьбы всех тех, кто от них зависел, но их собственная участь не лучше: они разорены дотла.

И вот Швейцеры в Париже. Провал. Затем — в Нормандии, в Оверни. Нигде их не принимают. И тогда они отправляются в Алжир и начинают там все с нуля на равнине Митиджа. Только представьте себе: во времена Третьей республики разоренная семья эльзасских пивоваров открывает для себя Северную Африку... И Швейцеры приняты арабами, потому что они заставляют их работать, платят им, обучают их, заботятся о них. Швейцеры и сами работают, как одержимые. Менее чем за два года они пускают корни на этой новой земле. Они были эльзасцами, хотели остаться французами и становятся алжирцами — это вестерн на наш манер. Такова эпопея этих франко-алжирцев.

— Я люблю всех Швейцеров, — говорю я Беширу. — И особенно этого — Андре. Как он поживает?

— Неплохо, я думаю. Он был очень расстроен. У него были слезы на глазах, когда он узнал о месье Ромене...

— Они же вместе воевали в Сирии, еще до отправки Ромена в Россию...

— А-а, — протянул Бешир...

...Русский снег, погубивший в свое время «великую армию» Наполеона, засыпал теперь другую «великую армию» — вермахт...

Перед Новым годом подразделение Бешира поступило в распоряжение неизвестного ему генерала — Фридриха фон Паулюса. Это произошло в районе города, где шли особенно ожесточенные сражения и одно название которого внушало ужас даже самым заядлым воякам, — Сталинград.

Холод и снабжение были хуже чем когда-либо. Бешир, уроженец юга, страдал от русской зимы больше, чем другие эльзасцы, фламандцы, жите-

ли Альп или Центрального Массива. Он обматывал ноги тряпками вместо носков, укутывался в шинели, сорванные с мертвецов. Он завел привычку мочиться только где-нибудь в укрытии, после того, как однажды ночью он вышел по малой надобности, и, к его ужасу, моча тут же замерзла в виде желтого прозрачного столбика... Особенно нестерпимо было ожидание. Движение, действие помогало согреться. Когда рискуешь жизнью, не так холодно. О моральном духе войска нечего было и рассуждать, высок он или низок: люди попросту вернулись в первобытное состояние, в котором думаешь только о том, как бы выжить. Среди снегов и снарядов, которые валились с неба без передыху, по ночам раздавленному страшной усталостью и холодом Беширу грезилась Мэг, но образ ее расплывался... Он представлял себе ее то на ливанских пляжах, то на длинных авеню Александрии, а великолепные здания Каира, сметенные воображаемой бурей, сменялись мифическими картинами никогда не виденной им Америки... Увязший в снегу, который набивался ему в сапоги, в глаза, в нос, казалось, уже под самую кожу, Бешир мечтал о пальмах...

Некоторое время война велась с воздуха откуда-то издалека. Это был ливень из снарядов. Но вдруг война приблизилась вплотную и стала рукопашной. Он отбивался штыком и ножом от теней, возникавших ниоткуда. Его жизнь висела на волоске. Он был пешкой среди миллионов ему подобных, и ими управляли из какого-то дальнего далека какие-то нереальные штабы, а они здесь, в реальности, дрались с примитивной жестокостью, как уголовники...

Жизнь превратилась в абсурдную и мерзкую штуку, и задумываться над ней не имело ни малейшего смысла. Цель в ней была одна: спасти свою шкуру, убивать, чтобы не убили тебя, и хорошо, если удастся дожить до вечера...

Иногда ему случалось вспомнить о добрых монахинях, которые учили его морали. Ха! С этой комедией было покончено навсегда. Как-то вечером во время атаки пуля просвистела у самого его уха. Он успел сделать бросок вперед. Спускалась тьма. Он очутился в воронке от снаряда носом к носу с калмыком, или татарином: он видел только его узкие глаза. Страшная ярость охватила его. Он зарезал врага с диким хохотом, а перед его глазами при этом стояла милосердная сестра Тереза, которая в далеком его детстве вдалбливала в него Катехизис...

Он видел, как рядом мучился в агонии его друг Этьен — старый коммунист, соратник Дорио, и еще его друг Хосе из Барселоны — анархист, ненавидевший Сталина; его друг Гюнтер — нацист первого призыва. У одного выбитый глаз держался на кровавых нитях; у другого вывалились внутренности, и он пытался запихнуть их обратно руками, изъеденными морозом; те, кто умирал сразу, — были просто счастливчиками...

Он обезумел от страха. Ненависть держала его в постоянном напряжении. Через пару дней после медленной мучительной смерти Хосе он с десятком товарищей напоролся на советский патруль, засевший на ферме. Последовала перестрелка. Те, другие, были напуганы не меньше, чем они. Беширу со своими людьми удалось поджечь ферму. Это была удача. Полдесятка советских, похожие на призраков в своем белом камуфляже, вышли из горящего дома, подняв руки, — затравленные, раненые, с обгоревшими и покрытыми пеплом волосами.

Кто-то крикнул:

— Расстреляем этих сволочей!

И тут перед Беширом опять возникло лицо сестры Терезы.

— Нет! — крикнул он. — Это пленные. Уведем их с собой.

Спускалась ночь. Пошел снег. Бешир и его люди передвигались с трудом. Некоторые из них были ранены, и приходилось их нести. Один из

русских ухитрился сбежать. Ему вслед выстрелили, и он упал. Может быть, только притворился убитым? В снегу, на морозе бежать за ним не было сил. Мертв он был или жив, ранен или нет — неизвестно. Вскоре стало ясно, что добраться до своих, неся раненых и конвоируя пленных, невозможно.

— Расстреляем их, — опять крикнул кто-то.

— У меня есть другая мысль, — сказал Бешир.

Они остановились под купкой деревьев, срезанных картечью, чтобы немного отдохнуть. Разожгли огонь и растопили во флягах снег, чтобы сварить кофе. Стоило извлечь фляги из огня, как вода тут же начинала застывать. Русские в растерянности тщетно пытались приблизиться к огню: их отгоняли окриками и тумаками.

— Разденьте их, — приказал Бешир.

Среди пленников пробежало беспокойство: они не понимали, что происходит. Затем беспокойство на их лицах начало сменяться страхом. Под дулами ружей с них были сняты шинели, меховые шапки, рукавицы. Затем белье, хлопчатобумажное и шерстяное. Все это было грубо сорвано с них. Их швырнули на землю и стянули с них сапоги и штаны. Они оказались на снегу в рубашках и кальсонах и ошеломленно озирались.

— Ну как? — вопросил Бешир.

Затем рубашки и кальсоны на них были грубо разорваны.

— Встать! — рявкнул Бешир.

Под угрозой автоматов и ножей русские стояли голые, обхватив себя руками и приплясывая на снегу, как на горячих угольях. Они выли, бросались на колени, умоляли о пощаде. А их враги со смехом швыряли в них снежками... Сестра Тереза при этом блистательно отсутствовала...

Огонь бросал в ночь последние отблески и постепенно гас. Небо светлело. Снег уже не шел. Было градусов 35—38 мороза, может быть даже 40. Пленные уже не колотились от холода. Кровь, наверное, застывала в их телах, белых и затвердевших. Один за другим они падали на землю. Вероятно, они уже не испытывали страданий — медленно засыпали. Тогда Бешир и его люди достали из огня бидоны с растопленным снегом, который уже начал опять замерзать. Они полили этой полузамерзшей снежной кашей голые неподвижные тела, и те быстро превратились в ледяные блоки. Люди Бешира, поддерживая своих раненых, снова пустились в путь. Оглядываясь, они едва могли различить на снегу — там, где еще недавно были живые тела, — лишь ледышки, покрытые белым инеем...

— А где Андре? — спросил я Бешира.

— Он где-то здесь, — ответил тот, озираясь кругом. — Я только что его видел.

И я заметил невдалеке от меня в толпе, все более густеющей, Андре Швейцера: он разговаривал с Виктором Лацло. Я направился к ним.

— А мы как раз говорим о вас, — сказал мне Андре Швейцер.

— А я — о вас, — ответил я.

— Мы задавались вопросом, — сказал Лацло, — почему вы занимаетесь писательством?

Вопрос прозвучал не слишком любезно. Лацло смотрел на меня поверх очков, явно довольный своим выпадом. Я постарался не показать ни малейшего признака удивления, волнения или недовольства: я и сам спрашиваю иногда себя о том же.

— Не сочтите это за упрек, — высказался Андре Швейцер со свойственной ему мягкой доброжелательностью. — Это не критика: мне очень нравятся ваши книги, они интересны. Это принципиальный вопрос: почему вообще люди пишут? Для развлечения, как говорил Поль Валери? Или

чтобы стать богатым и знаменитым, как провокационно утверждал Пьер Дрие Ла Рошель?

— Вы наверняка знаете, — ответил я, — у Борхеса есть прекрасное высказывание: я пишу не для себя и не для толпы. Я пишу для своих друзей и чтобы замедлить бег времени.

— Конечно, мы его знаем, — въедливо парировал Виктор Лацло. — Мы так давно его знаем, что вам не удастся выдать его за свой ответ. Мы желаем услышать ваше мнение...

— Я припоминаю, что Ромен задавал мне тот же вопрос, что и вы. Он удивлялся, что я трачу время на писанину вместо того чтобы пользоваться жизнью, которая так быстро проходит, и наслаждаться ею... «Ты лучше бы занялся чем-нибудь конкретным, говорил он мне, — а не витал в облаках с карандашом в руке. Приключения жизни лучше проживать, чем описывать». Но вы же помните: он очень любил живопись и музыку. И я спрашивал у него: «А почему пишут картины? Почему поют? Почему создают музыку?»

— А может быть, — спросил Андре, — вы думаете о потомках?

Виктор Лацло издал что-то вроде короткого ржания.

— Хм, потомки... — задумался я. — Зачем мне делать что-нибудь для потомства? Разве оно что-нибудь сделало для меня?

— Увертки, — проворчал Лацло, — увертки, уловки...

— Согласен, — сказал я ему, — согласен. Но потомки, честно говоря, меня мало волнуют. Признаюсь: я не был бы против, если бы лет этак через двадцать-тридцать, а лучше сорок, после моей смерти в какой-нибудь библиотеке (если они еще будут существовать) юноша или девушка взяли в руки мою книгу, открыли ее с любопытством и прочли с удовольствием...

— Именно это и понуждает вас писать? — уточнил Андре.

— Не совсем, — ответил я. — Если честно, я думаю, что люди пишут от грусти, но и для удовольствия. Или еще точнее: грусть и радость здесь нераздельны. Есть много причин и для грусти, и для радости. Хромота, болезнь, трудности существования, или смерть Ромена, например. Или, напротив, интересное зрелище, яркое чувство, да и вся красота мира. И даже желание описать вас, именно вас, рассказать о вашей жизни и оставить — только вот кому — след, пусть самый легкий, вашего пребывания на земле.

— А может быть, — присвистнул Лацло, — живейшее удовольствие выставить на посмешище своих приятелей?

— Почему бы и нет? — воскликнул я. — Отличная мысль. Но что касается такой мотивации, ответственность за нее я оставляю на вас...

К нам направлялся Бешир:

— Месье, — обратился он к Андре, но приступ кашля прервал его, — месье, хотели бы вы, чтобы я отвез вас обратно после погребальной церемонии или вы будете добираться сами? Мадам Ван Гулип хотела бы...

— Спасибо, Бешир, — ответил Андре Швейцер, — я думаю, что управлюсь сам. Но вы кашляете?

— Это ничего, — ответил со смехом Бешир, — я еще крепкий!

— Не сомневаюсь, — ответил Андре. — Я знаю, что вы еще крепкий. Но вам следует все-таки немного заботиться о себе. Держите вот это.

И, вырвав страничку из своего блокнота, Андре Швейцер нацарапал на ней несколько слов своим неразборчивым почерком врача — и уже не в первом поколении — и протянул ее Беширу.

— Благодарю вас, — сказал Бешир и положил листок в карман, — это так мило с вашей стороны...

Практичный клан Швейцеров тоже не обошелся без своей романтической истории...

Во времена расцвета Второй империи один из баронов Тенье стал пожизненным сенатором. Этот барон был веселым молодцом. Он женился на очень красивой молодой девушке; она происходила из древнего бретонского рода, известного своей приверженностью к католицизму, монархии, и совершенно разоренного. Словно христианская Ифигения, она пошла на венчание к алтарю как на заклание. Она родила сына, умершего во младенчестве, а затем подарила мужу дочь. При этом мужа она презирала: он волочился за всеми юбками в компании с Морни.

Этот Морни был сыном королевы Гортензии и Флао, который был, без сомнения, сыном Талейрана. Таким образом, Морни приходился сводным братом императору Наполеону III. Циничный, обольстительный, безнравственный, законодатель мод, это был Альцибиад Второй империи — распутник образца восемнадцатого века, попавший в девятнадцатый. Этакий персонаж Дидро и Бомарше, увиденный глазами Оффенбаха и купающийся в интригах и комбинациях нарождающего индустриального мира, который вскоре опишет Золя. Он приложил руку к государственному перевороту и более чем кто-либо помог императору прийти к власти. Он был везде, его активность распространялась на все области жизни. С неизменным успехом он выступал одновременно на трех сценах: политической, светской и финансовой. Он был министром внутренних дел после государственного переворота, президентом Законодательного корпуса, послом при русском царе. Из своей миссии в Санкт-Петербурге он привез восхитительную молодую девушку, принадлежавшую к высшей российской знати: шептались, что она была внебрачной дочерью самого царя, — это была княжна Софи Трубецкая. Ей было тогда восемнадцать лет.

Баронесса Тенье сердечно привязалась к герцогине Морни, урожденной Трубецкой. Ее можно видеть за герцогиней на знаменитой картине Винтерхальтера. Они обе принадлежали к блистательному миру, уходящему в прошлое, и смотрели несколько свысока на возникающие новшества и на успехи своих супругов в жизни деловой и личной. Они обе страдали от той жизни, которую вынуждены были вести. Баронесса сделала однажды герцогине признание, которое потом обошло весь Париж: «Мой муж мне столько раз изменял, что я даже не уверена в том, что мои дети — от меня»...

Дочь баронессы Тенье выросла столь же прекрасной, как и ее мать. Когда она начала выезжать в свет в конце Второй империи, ей даже довелось несколько раз танцевать во дворце Тюильри с наследным принцем — тем, который через несколько лет погибнет от копий зулусов. Баронесса с гордостью представляла обществу свою красавицу дочь. Она сама возила ее на придворные балы, не отходила от нее ни на шаг, мать и дочь превосходно ладили между собой.

Они вместе отправлялись к Ворту, который недавно открыл свой дом одежды в Париже в двух шагах от Вандомской площади. Они вместе выбирали на живых манекенах (которые скандализировали тогда публику) кружевные платья из муслина или белого газа, украшенные воланами, с бархатной каймой. Девушка, обладавшая тонким вкусом, носила их без всяких цветов и бантов, разве что с тонким браслетом из белого жемчуга; ее кринолины не выдавались спереди и были лишь несколько вытянуты назад; ее туники из голубого или розового бархата с очень низким декольте открывали грудь, прикрытую, впрочем, лучшим из украшений — изящной скромностью. Они ходили вместе на спектакли, где еще могли показаться порядочные женщины в ту эпоху, когда и в зале, и на сцене в равной степени начинала царить вульгарность, которая приводила их в ужас.

Однако через некоторое время обнаружились обстоятельства, препятствующие такому образу жизни. Какими бы натянутыми ни были отноше-

ния между мужем и женой, положение барона предполагало присутствие рядом с ним его супруги, если не постоянное (оно как раз бы сильно стеснило барона), то, по крайней мере, достаточно частое. Баронесса разрывалась между обязанностями супруги и матери.

— Друг мой, — сказала она однажды мужу, — я думаю, что следовало бы подыскать девушку из хорошей семьи, хорошо образованную и с хорошими манерами, англичанку, испанку или русскую, чтобы сопровождать Элен в свете, где ей необходимо показываться. Я не могу отпускать ее одну, конечно, но и не могу найти достаточно времени, чтобы сопровождать ее везде. Я не вижу другого решения этой проблемы, которая меня уже некоторое время беспокоит.

— Дорогой друг, — ответил ей барон, который в это время думал совершенно о другом, — в этом деле, как и в любом ином, я во всем полагаюсь на вас.

Он поцеловал ей руку, вызвал экипаж со своим кучером Жозефом, который был предан хозяину, как собака, и ненавидел баронессу, и уехал из дома как обычно.

Молодая мадам де Лонжемен, которая два — три года назад лишилась мужа — он упал с лошади — не была ни испанкой, ни русской. Она принадлежала к разоренной, но очень почтенной семье из Арденн. Она была светловолосой, тонкой и высокой, со спокойным и несколько холодным лицом, со сдержанными манерами. Элен Тенье быстро подружилась с ней, и они стали почти неразлучны. Мадам Тенье была весьма удовлетворена таким положением дел, и даже сам барон, который часто пренебрегал супругой и домом, соизволил несколько раз посидеть за чашечкой чая с дочерью и ее компаньонкой.

Как было дело и как распространился этот слух — никто уже не помнит. Одно несомненно: слухи о связи барона с мадам де Лонжемен дошли наконец и до баронессы Тенье.

Баронесса вынесла много унижений от своего мужа, однако ради дочери терпела все. Но непредвиденную связь барона с компаньонкой дочери она восприняла как пощечину. После долгих колебаний, она все же очень деликатно поделилась своими чувствами с дочерью, которая, кстати, к тому времени уже отдалилась от своей компаньонки. И тут мать узнала с изумлением, что ее дочь уже давно знала обо всем. Не решаясь огорчить мать, она, однако, была возмущена поведением отца, которого сурово осуждала.

Мадам Тенье была женщиной нежной и покорной своему супругу. За ее ровным нравом скрывался, однако, характер такой силы, которую трудно было подозревать в ней. Должно быть, она была обязана ею своим предкам, которым довелось много сражаться. В ней поднялся бунт против человека, которого она терпела возле себя, но не уважала и никогда не любила и который в очередной раз предал ее. И это рядом с дочерью, которую она обожала со всей материнской страстью, удвоенной печалью. В согласии с дочерью она за несколько часов приняла крайнее решение. Продала свои украшения — очень красивые и очень ценные — и оставила барону письмо о том, что она покидает их особняк в предместье Сен-Жермен безвозвратно. Они выехали в Гавр или Нант — точно не знаю — и сели на парусник, который баронесса накануне купила вместе с командой...

— Ну что, — со смехом сказал мне Жерар, — говорят, ты пишешь от грусти и для удовольствия?

— Кто тебе это сказал? — спросил я.

— Виктор Лацло. Он пересказывает это всем, кто хочет его слушать.

— Я рад, что позабавил его. Но не лучше ли писать от печали и для удовольствия, чем писать от самомнения и для скуки читателей?..

— Будь, однако, осторожен. Ты же знаешь, что в наше время радость, удовольствие, счастье не в моде. Ты должен немножко страдать. Ты пишешь о безднах психики? Нет? Займись безднами. Великий писатель должен быть удрученным. И часто даже удручающим...

— Плевал я на все это, — сказал я ему, — а великого писателя могу послать подальше...

— Ишь ты какой! — поддел он.

— Долгое время великие писатели не чуждались радости. Рабле только и думал как бы посмеяться. Мольер и грустен, и весел одновременно. Я думаю, что и древний Гораций, окажись он в бистро, мог бы составить им хорошую компанию. «Кандид» Вольтера и «Персидские письма» Монтескье очень забавны. И Шатобриан, несмотря на своих «Мучеников» и «святую» испанскую войну, был веселым парнем... И у Флобера в его письмах постоянно звучит смех...

— А вот Ле Кеменек не веселится.

— А он разве великий писатель? К тому же, в радости всегда присутствует немного грусти, что делает радость возвышеннее и придает ей достоинство, которого ей иногда не хватает.

— А о чем грусть?

— Вообще грусть, — ответил я ему.

Он посмотрел на меня немного сбоку, наклонив голову, — так он делал всегда, когда размышлял или хотел задать вопрос.

— Ты все еще думаешь о Марине?..

Это было уже слишком. Я же его ни о чем не спрашивал. Он хотел показать, что ему известно о том, что его вовсе не касалось.

— Смотри-ка, — сказал я ему. — Вот и она.

Марина приехала. Я наблюдал за ней. Она была высокой, широкоплечей, немного близорукой, с несколько отсутствующим выражением лица. Рядом с ней была дочь уже лет 16—17-ти, но сама она была все так же красива. Я пошел ей навстречу. Она бросилась в мои объятия.

— Здравствуй, дорогая, — сказал я ей.

— О, Жан! — воскликнула она. — Как грустно!

И она принялась плакать горькими слезами у меня на руках. Ее сотрясали рыдания. Я старался как мог успокоить ее: вытирал ей слезы большим носовым платком, вытащенным из кармана, гладил ей волосы.

— Он... он был... он был чудесным!.. — пробормотала с трудом она прерывающимся голосом, уткнувшись носом мне в плечо.

— Да, чудесным, — подтвердил я.

— Жизнь с ним... с ним...

— Да, — сказал я.

— Была прекрасной, — еле договорила она.

Я тоже так думал...

...Жизнь запуталась — это было, постойте... лет двадцать назад... или больше?.. или меньше?.. — когда Ромен предложил мне отправиться с ним вдвоем в восточную часть Средиземноморья на паруснике, который он одолжил у своего итальянского приятеля-антиквара. Я уже плавал несколько раз с этим антикваром, но никогда еще на этом узком изящном суденышке с названием «Афродита». Мне страшно хотелось принять предложение Ромена и в то же время я колебался. По разным причинам, которые я мог бы назвать, дав себе немного труда, я любил Ромена меньше, чем всегда. Он говорил слишком громко, он был слишком уверен в себе; я не разделял его взглядов, он предпочитал бурбон, а я — виски; все женщины падали в его объятия, включая тех, что нравились мне больше всего...

Я думаю, честно говоря, — спустимся в те самые бездны! — что этот последний мотив был главным. Я корчился, упрашивал сам себя, я придумывал себе даже проблемы с головой. Сейчас я спрашиваю себя, не был ли я тогда немного смешон...

— Ну же, поехали, — говорил он мне. — Мы будем только вдвоем.

Честное слово, говорил я себе, он меня уговаривает, как девицу. И, как девица, я сдался. Еще и поблагодарил его. В тот момент я был далеко от Парижа: в Америке или в Индии, точно не помню.

— Согласен, — телеграфировал я ему. — Приеду. Спасибо.

Это были две недели восторга между Грецией и Турцией. Мы не сходили на сушу, мы не бегали за девушками, мы не ходили выбирать ковры, браслеты, тростниковые корзины, пляжные шлепанцы; мы не посещали руины, мы провели все время в открытом море. Заходили в порты только чтобы запастись горючим и водой, купить рыбы и фруктов — их нельзя было раздобыть на рыбачьих шхунах. Мы мало разговаривали вообще, и никогда — о своей любви. И читали мало. Мы ничего не делали: слушали музыку, ловили рыбу, плавали. Спали на палубе. Встречали заход солнца и восход луны. Марина права: в Ромене жила благодать. Он умел делать жизнь чудесной...

— Здравствуй, Изабель, — я поцеловал дочь Марины. Я видел, как родился этот ребенок. Я был близок к тому, чтобы считать ее своей дочерью...

— Здравствуй, дядя Жан, — сказала она мне. — Мама сильно расстроена.

— Мне кажется, она его очень любила.

— Я тоже, — ответил я. — Мы все его очень любили.

— Она плачет уже два дня.

— Он терпеть не мог слезы. Плакать вредно. И едва ли прилично. Как твои дела?

— Неплохо, — ответила она.

Ее светлые глаза блестели.

— Ты выходишь замуж? Ты уже невеста?

Она засмеялась.

— Не так скоро! Вы очень торопитесь, дядя Жан. Не так скоро. Дайте мне еще немного пожить...

И на этом кладбище, полном слез, куда должны были привезти упокоившегося Ромена — сам он больше никуда не придет, — смех Изабель прозвучал как ожидание счастья...

...За три года мать и дочь Тенье объездили весь мир. В Бомбее, в Гонконге, в Панаме уже знали парусник этих дам. В те времена не требовалось столько бумаг, как сегодня. Порты были почти пусты. Платили не долларами, а фунтами стерлингов или золотом. Они попадали в штормы. У них случались приступы отчаяния. Но Элен была молода, и жизнь в приключениях ее радовала. А ее мать так настрадалась в чуждом, навязанном ей парижском существовании, что теперь вдыхала полной грудью этот воздух свободы, пусть и немного суровый... Они побывали в Сан-Франциско, на Таити, в Южной Африке, в Маскате, где им очень понравилось и где они прожили некоторое время, гостеприимно принятые султаном. Они бывали везде только вдвоем, сопровождаемые на почтительном расстоянии лишь двумя моряками, которые должны были защищать их в случае какой-нибудь неприятности.

В конце концов они заключили договор с одним капитаном — типичным мальтийцем с белой бородой пророка. Он набрал команду моряков из трех-четырех постоянных членов. Остальной экипаж был сменным и часто

обновлялся. Случались всякие сюрпризы: хорошие и плохие. Попадались даже воры, маньяки, убийцы, просто неспособные. Но до беды дело никогда не доходило. В Гонконге нашли китайского повара, который всего лишь с плавниками акулы и рисом поднимался до подлинных кулинарных высот. В Сан-Франциско взяли на борт голландку-авантюристку, успевшую познать много несчастий, она худо-бедно служила нашим дамам камеристкой.

За это время баронесса сильно изменилась. Она превратилась в крепкую женщину с загорелым лицом, более резкую в движениях. Чаепития в старинных особняках Маре или в модных домах сен-жерменского предместья, балы в Тюильри, прогулки под кружевными зонтиками в экипажах, влекомых несколькими лошадьми, с лакеями в ливреях на запятках — все это осталось в другом мире, и она спрашивала себя, существовал ли он вообще. Тот мир казался ей теперь менее реальным, чем огромные пляжи черного песка или храмы Индии с их каменными колесами и эротическими изваяниями.

Элен, тоже бронзовая от ветра, солнца и моря (так она наивно описывала себя в своем интимном дневнике, который мне довелось держать в руках), с тонкой талией, светлыми глазами, ямочкой на щеке, волосами, заплетенными в две косы, была предметом восхищения и тревоги своей матери. Девушка была счастлива той жизнью, которую она вела, а мать упрекала себя, что втянула ее в безысходную авантюру: в море жениха не найдешь. По вечерам у них бывали долгие беседы о будущем.

— Моя жизнь окончена, — говорила баронесса, — а твоя только начинается. Ты не можешь всю жизнь мотаться по океанам.

Элен только смеялась в ответ, а мать переживала, вспоминая о придворных балах...

...Я посмотрел на Марину — она по-прежнему прижималась к моей руке.

— Твоя мать здесь, — сказал я ей. — Она разговаривает с Беширом.

— Не покидай меня, — попросила она, — я не хочу, чтобы ты меня оставил...

Она держала меня за руку и прижималась ко мне. И я вспомнил, как тогда — очень давно — мы с ней выходили из самолета и поднимались на корабль. Мы стояли на корме, и был сильный ветер. Мы держались за руки и улыбались навстречу солнцу...

...В один прекрасный день баронесса с дочерью прибыли в Алжир. Им понравился этот порт, белый город, дружеский прием нескольких французов, которых они помнили еще по Парижу. Они решили немного передохнуть и познакомиться со страной.

Для них составляли компанию из четверых. Завтраки, обеды, прогулки, экскурсии, встречи с городскими и духовными властями, импровизированные пикники среди дивных пейзажей и услужливые молодые люди. За время их отсутствия во Франции произошли страшные события, о которых они почти ничего не знали. Была война с пруссаками, потом поражение, потом Парижская Коммуна. Империя пала. Тьером и Мак-Магоном была провозглашена Республика. Мать с дочерью часами слушали рассказы об этих потрясающих событиях, свершившихся без них. Они узнали, что барон Тенье сначала отправился было в Лондон, но теперь прозябал в Брюсселе.

Везде радостно привечали двух дам, обошедших столько морей. Они принимали все приглашения: генерала, командовавшего алжирским гарнизоном, и даже — к удивлению и возмущению многих колонистов — во дворцы к арабам. В их честь организовывались трогательные балы, чем-

то напоминавшие Элен тот танец с принцем: с лунным светом, апашами в отдалении, смятением молодых девушек, как в старых американских вестернах. Один из самых удачных балов был дан в большом доме недалеко от Алжира, где недавно устроились колонисты, прибывшие из Эльзаса. Этими колонистами были Швейцеры. Их сын, высокий здоровый парень, работавший на земле, с первого же взгляда безумно влюбился в прекрасную Элен Тенье, еще когда она только сходила с парусника. Со времен Адама и Евы, Шивы и Парвати, Кадмоса и Гармонии и до наших дней история строится на союзах мужчины и женщины, порой самых неожиданных. Робеющий перед этими дамами, которые казались такими благопристойными и в то же время такими отважными, папаша Швейцер надел белые перчатки и попросил у баронессы руки ее дочери для своего сына Поля. Поль был крестьянином с Рейна, волей судьбы оказавшимся среди арабов. Элен же была салонным цветком, превратившимся в искательницу приключений. Элен была католичкой, Поль — протестантом. Эти проблемы как-то уладили. Баронесса была более чем довольна поворотом судьбы своей дочери, чье будущее ее сильно беспокоило. Архиепископ Алжира, монсеньер Лавижери, который тогда еще не был кардиналом, согласился благословить новобрачных почти тайком скромным обрядом в тиши собора. Все были очень довольны. Потом появились дети — вехи, отмечающие движение жизни. Дети выходят из своих родителей и затем стирают их. Первым появился здоровый мальчуган. Это был дедушка Андре Швейцера...

Сейчас этот Андре здоровается с Марго Ван Гулип...

— Дорогой, — говорила мне Марина и тогда, — только не покидай меня. И прижималась ко мне.

Я всегда любил прибытие в незнакомые города. Мы с ней стояли на корме и держались за руки. Небольшое суденышко из тика и лакированной акации проходило между сваями, забитыми в грунт по три и огороженными железной полосой, чтобы отграничить непроходимые места в мелких водах лагуны. Их называют «отскоки», или «альбы». На каждой свае сидело по чайке.

Ветер развевал волосы Марины, солнце светило ей в лицо... А она склонила голову на мое плечо и вдруг посерьезнела:

— Я никогда тебя не забуду, — сказала она мне.

— Но я не покидаю тебя, — возразил я.

Она улыбнулась сквозь слезы...

Перед нами сверкала Венеция. Мы оставили позади Торчелло, Бурано, Сент-Франсуа дю Дезерт... И мы оставили за собой Ромена и Марго и целую толпу человеческих историй и связей, стянутых в узлы загадок, — это чтобы нам было больнее...

Мы проплывали вдоль кладбища на острове Сен-Мишель — там покоятся русские балерины, английские полковники, почтенные дамы-американки... Силуэты венецианских церквей четко вырисовывались на фоне неба. Справа — колокольня Мадонны дель Орто. Слева — колокольня Сан Франческо делла Винья. За ними, возвышаясь над всем, перемещалась перед нашими глазами против хода судна колокольня Святого Марка.

И вдруг, как по волшебству, мы вошли в Венецию, как в далекую сказку, внезапно оказавшуюся на расстоянии вытянутой руки. Или как если бы мы попали на борт высокого корабля, вокруг которого сначала долго суетились на шлюпках, чтобы его атаковать. Мы проплывали по каналам, впадавшим в другие каналы, из которых выплывали гондолы. Мы поднимали глаза ко дворцам с красивыми балконами и окнами, обрамленными барельефами. Мы проплывали под мостами, такими низкими, что приходилось наклонять голову. Мы играли роль, которую назначили себе сами для

пребывания в этом застывшем красном городе, живущем воспоминаниями и умеющем создавать воспоминания. И мы целовались...

Вот мы вышли в Большой Канал напротив Ка'Пезаро. Марина испустила крик восторга. И я, и она впервые оказались в Венеции. Мы ничего не знали о ней, и нам предстояло открывать в ней все. Ее красота свалилась нам на голову, и мы задыхались под ее грузом. Моряк, который вел судно, небрежно указывал нам на дворцы, церкви, памятники, даже названий которых мы не знали... и вдруг — очень быстро, шквалом — понеслись словно приближенные гигантской рукой Ла Салют, Морская таможня со статуей Фортуны и двумя альтанами. И наконец — грандиозная площадь Святого Марка... Потом я двадцать раз возвращался в Венецию, тридцать раз, пятьдесят раз! В конце концов я уже выучил наизусть — увы, без Марины! — малейшие «sotoportego», «salizzada», «campiello» или «campazzo» этого города из воды и мрамора, и он потом много раз будет появляться в моих книгах. Но первый раз — всегда единственный...

— Я сейчас о многом думаю, — говорила Марина, идя рядом со мной и опираясь на мою руку. — А ты о чем думаешь?

— А я вспоминал Венецию, — ответил я.

— Дядя Жан, — заговорила Изабель, — Ромен всегда обещал показать мне Италию. Сейчас, когда его больше нет, может быть вы возьмете меня туда?

— Оставь Жана в покое, дорогая, — сказала Марина. — Сейчас не время докучать ему твоими вопросами.

— Она мне не докучает, — возразил я. — Ты мне не докучаешь, дорогая. Я полагаю, что дар превращать меня в своего раба у вас наследственный, он передался уже третьему поколению...

Марина взглянула на меня и улыбнулась сквозь слезы...

...С ней было связано единственное воспоминание о Ромене, которое могло пробудить во мне что-то похожее на злобу против него. Даже теперь, когда мы на этом кладбище ожидаем его похоронный кортеж, остатки злопамятства борются во мне с печалью. Долгое время я полагал, что чувства однозначны, как основные цвета, и отсекаемы, как простые органы: люди любят, не любят, ненавидят, сожалеют, надеются, желают... Сейчас я знаю, что чувства двусмысленны и противоречивы: можно жалеть своих палачей, бояться того, на что надеешься, продолжать любить тех, кого уже не любишь, желать того, что ненавидишь...

Толпа вокруг нас становилась все плотнее. Придя сюда, я спрашивал себя, будет ли нас здесь много, сколько его друзей, знакомых и незнакомых мне, дадут себе труд прийти на кладбище. Ответ был сейчас у меня перед глазами: многие испытывали к Ромену те же чувства, что и я. За свою достаточно долгую жизнь Ромен встречал многих людей. И он не всегда был только любезен. Он сделал хорошую карьеру художественного эксперта, и его коллекция примитивного искусства Китая и Индии сделала его достаточно широко известным. Сейчас здесь присутствовала целая фауна торговцев и любителей, с которыми его связывали профессиональные отношения и которых я не знал. Здесь были также, с каждым годом все более малочисленные, его старые товарищи по Сопротивлению и «Нормандии-Неман», они пришли отдать последнюю дань уважения одному из своих. Здесь были и спортсмены, с которыми он играл в теннис или гольф, с которыми он катался на лыжах в Шамониксе, Церматте или в Кортино-д'Ампеццо. Было немало меломанов и любителей оперы, разделявших его страстную любовь к музыке: к Моцарту, конечно, к Генделю, Шуберту и особенно к Баху, к которому он пришел довольно поздно, но зато — навсегда...

Все они были связаны с Роменом невидимыми нитями, но не связаны между собой. Там и сям виднелись лица незнакомых мне женщин: красивые, загадочные и молчаливые, они пополняли собой толпу женщин, которых я очень хорошо знал. Они были как окна в мир жизни Ромена, неизвестный мне...

Небо расчищалось. Дождя больше не было. Все ждали. И вдруг с миром что-то произошло, у меня даже пошла кругом голова. Мне пожимали руку люди, которых я не узнавал. Они напоминали мне о том, что я забыл. Они рассказывали мне вещи, которых я не понимал. С огромным облегчением я увидел перед собой Альбена и Лизбет Цвингли. Я обнял их — и это было как глоток свежего воздуха, поднявший меня ввысь над этой толпой...

Альбен и Лизбет — славные люди, обитающие в красивом деревянном шале в районе Гуарды, в самом сердце Ангандины. Ромен познакомился с ними первым. Как-то он проезжал в этих местах по дороге из Милана или Сен-Морица на фестиваль в Зальцбург. И вот посреди пейзажа сказочной красоты, после нескольких встрясок на ухабах, его машина выпустила тонкий шлейф дыма и стала. Мобильный телефон еще не был тогда изобретен. Пройдя в полном одиночестве (которое бывает даже приятным, но только в других обстоятельствах) несколько километров в одном направлении, затем еще несколько километров в другом, Ромен понял, что автомастерские не встречаются в этой местности так же часто, как между Женевой и Лозанной. Ему ничего не оставалось кроме как устроиться в ожидании на сиденьи своей машины с книгой в руках, и тут чей-то голос окликнул его. Это был Альбен Цвингли, проезжавший мимо. Он не ограничился тем, что отбуксировал машину Ромена к себе домой и покопался в моторе, поскольку уже темнело, он пригласил его поужинать и переночевать в крошечной комнатке, все пространство которой занимала кровать, но из которой открывался дивный вид на луга и горы. Ромен провел у них восхитительные вечер и ночь — самое веселое и самое спокойное время, которое он мог припомнить в своей жизни. Потом он не раз приезжал к ним весной, летом, зимой. А где-то к концу пятидесятых годов взял туда с собой и нас — Андре Швейцера и меня: подальше от разговоров о холодной войне, от событий в Алжире, экспедиции в Суэц и затонувшего на широте Нью-Йорка «Андреа Дориа».

Эти воспоминания пронизаны миром, счастьем и дружбой. Нам было очень хорошо с семьей Цвингли. Рано утром Альбер уводил нас на прогулки, и возвращались мы только вечером, уставшие и очарованные: перед глазами стояли очертания гор, а шляпы были полны цветов. Зимой мы с ним катались на лыжах по девственной белизны склонам, не обремененным толпой лыжников. Когда нас посещала ностальгия по цивилизации, мы отправлялись на денек в Давос и находили там (причем без всякого энтузиазма) старых знакомых, чайные салоны... и пробки на дорогах.

В получасе ходьбы от их дома у нас было местечко: у кромки леса, в конце тропинки, на возвышенности, один склон которой резко обрывался вниз, а другой был пологим. Оно было особенно дорого Альбену. Оттуда открывался вид, в котором сочетались покой и величие. Каждый раз, бывая у Цвингли, мы обязательно проводили там некоторое время: ведь у дружбы, как у всего, что связано с культурой и цивилизацией, должны быть свои ритуалы.

Несколько лет назад мы, все трое, опять побывали у Цвингли — это было что-то вроде паломничества по дружеским воспоминаниям. После сытного обеда — мясо по-местному, салат, омлет с картошкой, грюйер, яблочный сок, вино Долины — Альбен с трубкой в зубах, сидя скрестив руки на спинке поставленного задом наперед стула, с важностью поднял вверх указательный палец и заявил тоном таинственным и лукавым:

— Завтра я покажу вам сюрприз.

Назавтра он повел нас в то самое сакральное место. На первый взгляд там ничто не изменилось, но на том месте, где Альбен имел обыкновение любоваться пейзажем, оказалась скамейка. К ее спинке была прикреплена медная табличка с надписью по-немецки:

СКАМЕЙКА АЛЬБЕНА
К его 65-летию

Это была идея местных жителей, соседей Цвингли: они установили эту скамейку на месте, откуда открывался любимый вид Альбена, в качестве юбилейного подарка ему. Мы уселись, все четверо, на скамейку и долго молчали. Тишину нарушали только ветер и пение птиц, и наконец Андре Швейцер произнес:

— Вот сейчас мы счастливы, насколько это вообще возможно.

— Не сглазь, — проворчал Ромен.

— Я сейчас могу рассказать вам одну счастливую историю, — предложил Андре.

— Давай: сейчас для этого самый подходящий момент, — поддержал я.

И на этой маленькой скамеечке Альбена, сидя спиной к лесу и лицом к чудесному горному пейзажу, зажатый между Роменом и мной, помахивая подобранной сухой веткой, Андре Швейцер рассказал, чтобы порадовать Альбена, которому мы были обязаны этими счастливыми минутами, свою историю.

— Вы, должно быть, знаете, — кажется, я уже вам рассказывал вам об этих давних временах, — что мой дед был сыном того Поля Швейцера, который женился на молодой девушке — Элен Тенье.

— Да, — подтвердил я, — мы это знаем.

— У Андре Швейцера — я ношу то же имя, что и дед, — был сын, мой отец. Отец был врачом — как и я теперь — и последовал старинной семейной традиции: женился на молодой девушке, чьи родители разорились вчистую за несколько лет до «черного четверга» на Уолл-стрит. Они жили в Ле Ло — это в сторону Сен-Сирк-Лапопи...

Так вот, в километрах десяти от этой деревни у них был большой старый дом, к которому они все были очень привязаны и в котором моя мать провела свое детство. И когда пришлось его продать — это была античная трагедия: слезы текли рекой. Мать, бабушка, прабабушка моей матери — все родились там. И там же умерли. Продать его — это означало предать, растоптать, уничтожить все, что было получено от них и что уже невозможно будет передать следующим поколениям... Вам это должно быть понятно... вы даже говорили об этом в своей...

— Да-да, — поспешно заметил я, — многим это знакомо...

— Конец этого старого обиталища поверг мою мать — а она была тогда совсем молоденькой — в безысходную меланхолию. К тому же она вынуждена была расстаться с весьма достойной дамой — мадам Луазо (ее имя до сих пор «поет» в моей памяти*), которая занималась всем в доме, но, в первую очередь, моей матерью. Вынуждены были продать даже осла, верхом на котором моя мать ребенком совершала прогулки. Счастливые большие каникулы заканчивались, примерным девочкам оставалась лишь горечь воспоминаний... И только мой будущий отец сумел вернуть улыбку на ее печальные уста... Мне действительно повезло: они по-настоящему любили друг друга.

Их брачная церемония состоялась в Алжире — в том соборе, где за более чем пятьдесят лет до нее монсеньор Лавижери благословил брак

*L'oiseau (франц.) — птица (прим. перев.).

моих прадедушки и прабабушки. Свадебное платье, приданое, цветы, участие всей семьи — всему этому еще придавалось большое значение во времена моих родителей. Я подозреваю, что самые молодые сегодня вообще не понимают значения слова «приданое». Даже мои родители уже ко многому относились проще: протестантская сторона натуры моего отца отказывалась признавать католические «побрякушки». Так что полное отсутствие приданого у моей матери никакой проблемы не составляло... И все же одну традицию отменить было никак нельзя: речь идет о свадебном путешествии...

Куда отправиться? В Индию, Гонконг, Манилу, на Бали, по следам бабушки-путешественницы? В Мексику, Бразилию? На озера в Баварию, в эпоху Людовика II, на поиски барокко? На итальянские озера? Моя мать не сводила глаз с отца, во всем подчиняясь ему. Потеряв свой любимый дом, она не интересовалась ничем другим и на все ласково кивала ему в ответ. Ей было все равно: любовь заменяла ей все на свете. Наконец мой отец решил отправиться на судне в Марсель и оттуда продолжить путешествие в автомобиле.

Новобрачные высадились, как рассказывали, в Марселе к вечеру. Они поднялись к Нотр-Дам-де-ла-Гард, прогулялись по Канебьер, пообедали в самой знаменитой гостинице города, которой сегодня уже нет, — «Ноай» — там для них была заказана комната. Моя мать очень устала, она еле держалась на ногах. И когда к концу ужина отец объявил ей, что комната ему не нравится и что он телеграфировал в какую-то деревенскую харчевню, находящуюся где-то не очень далеко, немного за пределами Экс-ан-Прованса, и там найдется лучшая комната, мать была готова лишиться чувств.

Мой отец обнял ее, утешил, нежно сказал, что автомобиль уже ждет, что он просторный и удобный, что она выспится в нем лучше, чем в этом шумном и малоприятном отеле. Путешествие будет недолгим, и она проснется в чудесной обстановке тишины и покоя. Моя мать была влюблена и послушна мужу, она соглашалась с ним во всем.

— Я очень устала, — сказала она, — но если ты считаешь, что так будет лучше...

— Доверься мне, — сказал он, — я уверен, что так будет лучше. Ты примешь успокоительный отвар, чтобы поспать, и даже не заметишь, как пролетит время в дороге...

Мать выпила отвар, устроилась в автомобиле и сразу уснула на руках мужа. Дорога показалась ей довольно долгой. Время от времени она выходила из своего полузабытья, приоткрывала глаза, волновалась.

— Спи, родная, спи, — говорил отец.

Она засыпала опять. Ей снились переходы через пустыню, подъемы в горы. Когда она проснулась, солнце уже было высоко в небе... но на очень знакомой широте... Она села в кровати и ей показалось, что она сходит с ума... Все вокруг было знакомо ей до малейшей детали, все напоминало об ушедшем прошлом... За окном она увидела осла. Она пробежала по лестнице, ступени которой сами стелились ей под ноги, а у окна она узнала силуэт мадам Луазо и в слезах упала в объятия мужа... который тайно выкупил и вернул ей родительский дом...

— Вот уж поистине триумф буржуазной сентиментальности! — воскликнул Ромен, поднявшись со скамейки и аплодируя. — Буржуазность проявляет себя в двух противоположных ракурсах: слезоточивом и циничном. Она любит поплакать и позубоскалить, растрогаться и насмешничать. Составные части слезоточивого буржуа — этот тип был представлен Седеном в литературе и Грезом в живописи накануне Великой Французской революции, которая и стала победой и началом правления буржуазии, —

это несчастье, сломанный жизненный уклад, добросовестность и деньги. В истории твоего отца блестяще представлены все эти четыре элемента...

...Кто-то, возможно, Бешир или «Большое Предместье», указали Марго ван Гулип на присутствие на кладбище Марины, и теперь Марго продвигалась к нам. Она разрезала толпу, как большой корабль, гордо рассекающий волны. Все расступались перед ней: одни — потому что узнавали ее, другие — просто уступая дорогу: она умела быть весьма импозантной. Она производила впечатление одним своим присутствием, манерой держаться, несмотря на возраст, всем самоощущением значительности своего места и роли в мире — в мире, которым она распоряжалась по своему усмотрению. От ее былой потрясающей красоты почти ничего не осталось, только нечто вроде тени, волшебного ореола, не подверженного времени, который, существуя в весьма отдаленном прошлом, каким-то чудом продолжал и сейчас поражать всех вокруг восхищением и почти страхом.

— Марина! Дорогая! — восклицала она издали.

Мы продолжали держаться вместе: с одной стороны от меня Альбен и Лизбет, с другой — Марина с дочерью. Марина приникла ко мне, сжимала мою руку. Сейчас я был для нее убежищем, оплотом против несчастья. Я был свидетелем ее горя, которое соединялось с моим горем и в то же время отталкивалось от него. Наши с ней переживания объединялись, потому что страдание Марины было страданием для меня, но они и разъединялись, потому что преданность Марины памяти Ромена пробуждала во мне, где-то на самом донышке печали, самые смешанные чувства, вплоть до антипатии, которую я давно испытывал к его образу профессионального победителя жизни.

Больше для меня, чем для Королевы Марго, и больше для себя, чем для меня, Марина проговорила:

— И что теперь с нами будет?..

...Что теперь с нами будет?.. Боль и воспоминания опять вернули меня в прошлое, в тот последний день на острове Патмос. Наш отъезд был назначен на завтра...

К грустной прелести уходящего лета примешивалась наша меланхолия. Накануне отъезда, немного позже того случая, когда волна отбросила маленькую Марину на песок и вымочила ее летнее платьице, Мэг пригласила меня прогуляться в последний раз по острову. Мы миновали монастырь Иоанна Богослова и три четверти часа брели среди олив. Море то появлялось, то скрывалось из виду за поворотами дороги. Мы шли, останавливались, смотрели на море и пляжи, перебрасывались немногочисленными словами. Я благодарил ее за прием, она расспрашивала меня о моей жизни и рассказывала о своей. Мне было девятнадцать лет, ей — тридцать, тридцать пять, может быть даже сорок — я не имел об этом ни малейшего понятия. Она была само очарование и, в отличие от меня, ее спутника, успела многое повидать в жизни. У нее был уже второй или третий муж, греческий арматор, чей нефтяной бизнес хоть и не поднимался до масштаба Ниархосов, Онассисов, Ливаносов или Гуландрисов, но предоставлял ей все преимущества внушительного состояния и свободных разъездов по миру: в Ирак, Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты... Несмотря на мою наивность, граничившую с глупостью, я понял, что этот муж не имел большого значения в ее жизни, а о первых двух вообще не стоило говорить.

— Я вышла замуж очень рано, очертя голову, только чтобы уйти из родительской семьи...

— С помощью Бешира, вероятно, — сказал я улыбаясь, и тут же испугался своей смелости.

— А-а! Вы кое-что знаете или думаете, что знаете. Ну-ка, ну-ка, откуда у вас эти мысли?

Меня охватила паника: я поставил себя в неловкое положение. Выдать Бешира, который доверился мне, было бы ужасно. Я попытался выкрутиться.

— Бешир меня заинтриговал, — пролепетал я. — Он очень интересный человек. Я спросил себя, какую роль он играет при вас. И я навоображал себе... Простите меня за нескромность...

Мой промах, однако, оказался не столь уж серьезным. Ее, очевидно, мало волновало то, что я мог о ней подумать. Она засмеялась, и мне так нравился ее смех...

— Вы очаровательны, — сказала она.

Первый раз в моей жизни женщина назвала меня очаровательным. Честно говоря, это был первый раз, когда женщина вообще заговорила со мной. Я гораздо лучше разбирался в оксюмороне и аористе, чем в отношениях между мужчиной и женщиной — таких непонятных и пугающих... Я, конечно, знал некоторых женщин: студенток-однокурсниц, официантку в баре Шамоникса, где я катался на лыжах, билетершу кинотеатра на улице Фейянтин, но мало и мельком. А здесь... со мной говорила женщина... на этом священном острове посреди моря Эллады... и вдобавок находила меня очаровательным... При этом какая женщина!.. Солнечная богиня Мэг Эфтимиу — брюнетка с синими глазами, длинноногая, элегантная и в то же время величественно простая, настолько, что впору было упасть перед ней на колени... Я это и сделал. А море фоном дополняло эту картину...

— Что такое? — спрашивала Мэг смеясь. — Что это вы делаете? Ну-ка вставайте!..

— Я целую ваши колени, — сказал я, обнимая ее ноги, как это делали все умоляющие в греческих трагедиях.

Она наклонилась ко мне, погладила меня по волосам, тогда прямым и длинным.

— Как это мило, — сказала она и тоже упала на колени передо мной.

Мы неподвижно стояли на коленях лицом к лицу. Затем я взял ее за плечи и запечатлел поцелуй на ее лбу.

— Оцените мою деликатность, — сказал я. — Я целую ваши колени и лоб, и пропускаю то, что мне не принадлежит.

Я где-то вычитал эту фразу, кажется, это было из письма Дюма к Иде Феррье, а может быть, к кому-то еще...

Она посмотрела на меня без смеха, почти серьезно, и погладила по лицу, нежно и мимолетно.

— И чего вы хотите? — спросила она.

— Поцеловать вас, — проговорил я быстро, чувствуя, что краснею.

— Ну что ж, — сказала она, не делая ни единого движения, — поцелуйте меня.

Я склонился к ней, прижал к себе и поцеловал в губы. И тут она вдруг сказала:

— Я люблю Ромена...

...Марго ван Гулип обняла Марину, несколько отчужденную, и та выпустила мою руку. Сейчас Марго прижимала Марину к себе.

— Марина, дорогая! Какой ужасный день! Откуда ты? Как ты себя чувствуешь?

— Я из Нью-Йорка. Мне очень грустно, но чувствую я себя хорошо. А вы?

— Я вдруг почувствовала себя такой старой! Такой старой... и я тоже очень грущу. Мы так любили Ромена...

— Да, — сказала Марина.

Она некоторое время молчала с замкнутым выражением лица. Затем повторила с силой:

— Да, мы любили его.

Она снова схватила мою руку и сжала ее так сильно, что я почувствовал ладонью ее ногти.

Все любили Ромена. И я тоже любил Ромена. Сегодня был праздник Ромена: здесь и сейчас все любили его, мертвого. Так заведено: мертвых положено любить. Они больше не делают вам зла. Они не мешают вам. Но надо признать, что здесь все было сложнее: я любил Ромена и тогда, когда он был жив, любил даже тогда, когда ненавидел...

...Кстати, он запаздывал... Я посмотрел на часы. Его похоронный кортеж уже должен был быть здесь. Толпа на кладбище, все более многочисленная, подавала уже признаки волнения. В ней начинали говорить о разном: о делах, о просмотренных фильмах, назначали встречи — жизнь всячески защищала себя от смерти. Я подозвал проходившего Бешира:

— Ты не можешь связаться с похоронным фургоном? — попросил я.

— Конечно, могу. У меня есть его номер и мобильный телефон.

— Тогда позвони и спроси, где он...

...Бешир... Та зима под Сталинградом была для него лишь преддверием ада. Он чудом выскользнул, с несколькими товарищами, из советского окружения, в которое попали триста тысяч солдат генерала фон Паулюса, получившего от Гитлера звание маршала в самый разгар военных действий. Только под Сталинградом, где осаждающие стали осажденными, а осажденные — осаждающими, где сражались за каждую улицу, за каждый дом, немцы за несколько недель оставили на снегу сто пятьдесят тысяч своих солдат, а русские взяли около ста тысяч пленных, среди которых было восемьдесят генералов и сам маршал. То были поистине картины ада, где кровь, снег, снаряды, гранаты, огнеметы, бомбардировки с воздуха перемешивались с воплями и стонами раненых с обеих сторон, и им почти невозможно было помочь; уцелевшие сражались жестоко, сражались за свою жизнь... В январе 43-го, немногим более года после вступления в войну Соединенных Штатов, через два месяца после высадки американцев в Северной Африке, за шесть месяцев до высадки союзных войск в Сицилии — именно Сталинградская битва обозначила перелом во всей войне...

...Бешира втянули в эту катавасию. Он был одной из бесчисленных крохотных пешек в этой грандиозной партии, которую разыгрывали между собой князья мира сего — мира, обезумевшего по вине некоторых из них, а вернее, одного главного, того, кто и запустил эту адскую машину... Теперь ее разогнавшийся маховик вращался уже своим ходом и продолжал перемалывать миллионы жертв...

Бешир перешел под командование другого маршала, ставшего во главе оберкоманды вермахта; его громкое имя заявило о себе миру вслед за другими, не менее громкими: Мольтке, Фалькенхайна, Гинденбурга, Бока, Клюге, Клейста, Браухича, Рундштедта — это был Эрих Левински фон Манштейн. Он почти не уступал другому военному гению — Роммелю. Товарищи Бешира шептались, что именно он планировал операции по захвату Франции в 1940-м году. Именно он захватил Крым за год до Сталинграда. И теперь он, чтобы отбросить противника назад, к востоку от Донца, устремился к Харькову: этот город был взят Рундштедтом в октябре 1941-го и отбит русскими в феврале 43-го. А в марте 43-го Бешир уже второй раз входил в Харьков...

О чем мог думать — если он вообще тогда мог думать — человек вроде Бешира ранней русской весной 1943-го? Он был лишь в середине того кошмарного пути, который с таким энтузиазмом был начат в июне

41-го операцией «Барбаросса» и которому предстояло окончиться в Берлине в первые бледные дни мая 45-го в грязи, крови, пламени, отчаянии и руинах. Понимал ли он, с чем связал свою судьбу?.. Осознавал ли он, хотя бы смутно, то, о чем уже догадывались люди в покоренных странах Западной Европы — во Франции, Бельгии, Голландии, Италии, в скандинавских странах, — люди, перевесившие ружье своего патриотизма на другое плечо и вывернувшие куртку своего патриотизма на другую сторону? Их территории были оккупированы, но теперь уже многие, уловив направление ветра истории, торопились присоединиться к той изначальной горстке храбрецов, которые в самую темную пору военной ночи первыми убежденно вступили в борьбу, тогда казавшуюся безнадежной. Но Бешир в степях Украины, выметенных пулеметами, не имел досуга взвесить шансы за и против. Он воевал уже два года. И ему предстояло воевать слепо, с пустым сердцем, еще два года...

Через четыре месяца после второй оккупации Харькова русские танки одержали верх над бронированными силами Манштейна, который теперь сражался против вдвое превосходящего его противника, прорвали немецкий фронт под Курском, севернее Харькова, и захватили Орел. Битва под Курском знаменовала окончательный провал операции «Цитадель», разработанной Манштейном в надежде повернуть ход событий вспять. Двумя месяцами позже Харьков был оставлен немцами. Таким образом, власть в нем менялась в четвертый и последний раз за два года сражений. Затем поочередно были сданы Смоленск, Киев, Одесса, Севастополь. Русские продвигались к Днепру, затем — к Днестру. Они разворачивали наступления в Белоруссии и Прибалтике. Потом перешли границы Польши и Румынии. Свершилось великое отступление вермахта...

...Сейчас в нескольких шагах от меня этот самый Бешир разговаривал по телефону с фургоном, который должен был доставить на кладбище тело Ромена — бывшего летчика эскадрильи «Нормандия-Неман», участника Освобождения, Героя Советского Союза. Интересно: где был он на Рождество 41-го, 42-го, 43-го, 44-го годов? Я мог лишь приблизительно восстановить его путь. К Рождеству 41-го с «блиц-кригом» было уже покончено, битва под Москвой закончилась поражением немцев. К Рождеству 42-го в сталинградском аду свершилась драма фон Паулюса. На Рождество 43-го он должен был находиться где-то между Киевом и Варшавой или между Киевом и Бухарестом. Есть много белых пятен в жизни даже тех, кто нам наиболее близок. Например, я почти ничего не знал об американских годах Мэг Эфтимиу, она же Марго ван Гулип. Я мало что знал о любовных увлечениях Ромена: за пределами того, что нас разделяло, мы с ним были как братья, но при этом никогда не откровенничали о наших женщинах (иногда одних и тех же). О Бешире я тоже многого не знал. Я даже удивлялся, что вообще знаю о нем столько благодаря тому, что мне о нем рассказывали другие, и, главным образом, он сам.

Он разговаривал по мобильному телефону. Марина прижималась ко мне, держа мою руку. Изабель разговаривала с бабушкой. Андре Швейцер прохаживался с Виктором Лацло и Ле Кименеком. «Большое Предместье» суетливо раскланивалось с улыбками направо и налево. Толпа ожидала прибытия Ромена.

— Они уже едут, — сообщил мне Бешир. — Было затруднено дорожное движение. Они будут здесь через минут десять, может быть, даже пять.

...Дорожное движение также было сильно затруднено в Восточной Европе и Померании в конце 1944-го и начале 1945-го. Тот путь, кото-

рый Бешир проделал два-три года назад в одном направлении, он теперь проделывал в направлении обратном. Отступление вермахта, конечно, не было похоже на беспорядочный отход в 1939—1940-м годах польских или французских войск под натиском немецких «пантер», открывавших собой новую эпоху военной истории; в лагере противников ее предвидел тогда, пожалуй, только малоизвестный офицер по имени Шарль де Голль. Отступление вермахта было еще управляемым и организованным, но изменился сам дух войны. Победное наступление, которое казалось неостановимым, сменилось отступлением, полагавшимся на сомнительные чаяния: некие устрашающие революционные армии, обещанные фюрером... отступление союзников... возможность компромиссного мирного договора...

Высадка в Нормандии на заре 6 июня 1944-го положила конец долгому смутному периоду неопределенности, начавшемуся на западе с высадки в Северной Африке, а на востоке — со сталинградской битвы и длившемуся весь 1943-й год. Гитлер, который вернул Саарскую область Германии, ремилитаризовал Рейнскую область в обход Версальского договора, нарушая который раз данное слово, за несколько лет завладел Австрией, Судетами, Богемией, Моравией, Словакией, Мемелем, Данцигом и всей Польшей, Данией и Норвегией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, всей Францией и доброй частью ее территорий, Югославией, Грецией, Белоруссией и Украиной, который дошел до Кавказа и до ворот Каира, теперь отступал по трем направлениям: на востоке, на юге и на западе. Десять лет он шагал от победы к победе, и вот уже два года он катился к разгрому...

— Держи меня в курсе, — сказал я Беширу.

— Извините меня, — подошла мадам Полякова, — вы сейчас разговаривали с Беширом?

— Да, мадам, — ответил я.

— Ах, я так расстроена, что совсем плохо вижу...

— Мадам, я понимаю вас как никто другой...

...Франсуаза Полякова была старшей сестрой Андре Швейцера. За несколько лет до войны она вышла замуж, опять-таки в Алжире, за друга своего брата, тоже врача, выходца из Литвы, исключительно уродливого и намного старше ее. Мишель Поляков был из тех редких мужчин — женщин было очень много, — которые могли похвастаться тем, что им удалось произвести впечатление на Ромена. А Ромен редко ошибался, хотя его учеба была пресечена на корню (к его великому удовольствию, я думаю) начавшейся войной, да и читал он немного. В пятидесятые годы за открытие (о котором я ничего определенного не могу сказать) Мишель разделил с каким-то американским ученым Нобелевскую премию по медицине или химии, не знаю точно. Мишель, как и Ромен, мало во что верил и терпеть не мог официальные почести. В противовес нобелевскому церемониалу мы тогда сами устроили себе грандиозный праздник: пили и пели всю ночь в каком-то русском кабачке Парижа и с большим старанием перебили там все стаканы и тарелки.

Поляков был евреем. В молодые годы, задолго до женитьбы, он практиковал в Марселе, где с ним приключилась интересная история, которую он и рассказал мне во время той попойки по случаю Нобелевской премии.

Однажды вечером после ужина он сидел дома в своей квартире в районе Биржи и Старого порта и спокойно читал, когда в дверь вдруг позвонили. Ничего не подозревая, он пошел открывать и оказался лицом к лицу с двумя мужчинами, которые поддерживали под руки третьего. Раненый, который беспрерывно стонал и был на грани потери сознания, получил где-то рану в живот и истекал кровью.

— В чем дело? — спросил Мишель.

— Займись, — приказал меньший из двух сообщников. — Лечи его и помалкивай.

Мишель в недоумении поднял брови.

— Он ета незнарочна, — заявил другой, который был покрупнее и посильнее. И в самых сильных выражениях он принялся поносить своего подельника, который больше не открывал рта.

— Он чистил свой пистолет, — пояснил затем крупный, — и...

— Я вижу, — прервал Мишель. — Лучше было бы отвезти его в больницу.

— Но, — заюлил здоровяк, — если бы мы при этом могли избежать некоторых осложнений... транспортировка связана с риском... формальности занимают столько времени...

— Понятно, — сказал Мишель. — Быстрота и соблюдение тайны — вот что вам нужно.

Чтобы засвидетельствовать ему свою благодарность за сообразительность, здоровяк отвесил ему такой дружеский шлепок по плечу, что Мишель едва не рухнул.

У доктора Полякова дома был небольшой кабинет, оснащенный кое-какой аппаратурой, где он осматривал своих пациентов. Он приказал ввести туда больного и уложил его на кушетку. Беглого осмотра было ему достаточно, чтобы понять, что рана впечатляющая на вид и достаточно серьезная, не была смертельной. Пуля не задела жизненно важных органов. Следовало извлечь пулю, которая только задела печень и поджелудочную железу, почистить, подшить, забинтовать рану и предписать полный покой. Мишель приспособил здоровяка к неожиданной для него роли медсестры, заставил вымыть руки, всунул ему в них некоторые инструменты, а затем сделал укол раненому, и тот потерял сознание.

Со всеми подготовительными и заключительными действиями, операция заняла каких-нибудь три четверти часа. Никто не произносил ни слова. Раненый спал. Врач отдавал краткие распоряжения подельнику-ассистенту. Когда все было закончено, Мишель спросил у обоих ангелов-хранителей, есть ли у них машина. Да, конечно, есть.

— Хорошо. Тогда все в порядке. Отнесите его в машину, отвезите домой, уложите... У него есть жена?

— У него их даже несколько, — насмешливо хмыкнул маленький.

— Тем хуже для него, — возразил Мишель. — Так вот, пусть все они проследят, чтобы он не вставал, и подержат рядом с собой в постели недели две. Затем — нормальный отдых, без женщин, насколько это возможно. Осложнений не должно быть. Если они все же будут, вот мой номер телефона... А теперь убирайтесь.

Через восемь дней у Мишеля Полякова зазвонил телефон.

— Алло! — ответил Мишель.

— Это я, — сказал мужской голос.

— Да? А кто «я»? — спросил Мишель.

— Ну, я. Это вы меня лечили?

— Хм... — Мишель был в затруднении.

— Ну, вы меня недавно лечили...

— А!.. Ну да. И как ваши дела?

— Очень хорошо. Я хочу вас отблагодарить. Сколько я вам должен?

— Мой гонорар — тридцать два франка пятьдесят сантимов, — сказал Мишель.

— Не валяйте дурака. Я тороплюсь. Сколько вы хотите?

— Я хочу именно тридцать два франка пятьдесят сантимов.

— Вы что — идиот?

— Я врач, — сказал Мишель, но не исключено, что я — врач-идиот.

— Ну знаете ли... Первый раз встречаю такое...

— Тридцать два франка пятьдесят сантимов, — повторил Мишель.

— Да послушайте же... Не могу я послать вам тридцать два франка пятьдесят сантимов. Это же идиотизм!

— Это не идиотизм. Это цена одного идиота.

— Ну, тогда я предложу вам другое. Сейчас я не пошлю вам ничего. Но если однажды — кто знает? — вам понадобится помощь, то меня зовут Карбон...

— А меня зовут Поляков, месье Карбон, — парировал Мишель, — и вы мне должны тридцать два франка пятьдесят сантимов.

И он положил трубку.

Прошли годы. Мишель Поляков женился на Франсуазе Швейцер, стал очень известным врачом. Он жил в Париже, на бульваре Сен-Жермен, почти на углу бульвара Сен-Мишель. Когда немцы вошли в город, в июне 40-го, он не захотел сниматься с насиженного места.

Июльским вечером 1942-го года, через несколько недель после речи Лаваля, в которой тот пожелал Германии победы, Мишель Поляков у себя дома старательно вслушивался в плохо различимый голос Мориса Шуманна по лондонскому радио, когда во входную дверь позвонили. Это было время, когда дверные звонки вызывали только страх. Немного позднее Жорж Бидо дал прекрасное определение мирной жизни, хотя сейчас и немного устаревшее: мир — это когда ранним утром раздается звонок в дверь, вы спрыгиваете с кровати, идете открывать, а на пороге — разносчик молока...

Мишель Поляков имел все основания бояться звонка в дверь. У них с Франсуазой была маленькая дочь семи или восьми лет, которую звали Ирен. Как-то вечером в конце зимы, возвращаясь из школы, Ирен с испугом услышала за собой шаги двух мужчин, которые, казалось, преследовали ее. Она пустилась бежать. Мужчины ускорили шаг. В конце концов, она спряталась под каким-то портиком. Мужчины прошли мимо нее, не останавливаясь, но один из них, повернувшись к ней, бросил мимоходом очень четко:

— Такая маленькая девочка не должна оставаться сейчас в Париже — скажи это своим родителям.

Ее немного успокоило только то, что она вроде бы узнала в говорившем мужа их консьержки, которая была славной женщиной. Ирен вернулась домой и все рассказала родителям.

— Напомни мне, чем он занимается, муж мадам Сассафра? — спросила Франсуаза у Мишеля.

— Он служит в полиции, — ответил Мишель.

Через четыре дня Франсуаза Поляков и ее дочь Ирен сделали попытку выбраться в свободную зону (сам Мишель по-прежнему отказывался покинуть Париж). Им нужно было пересечь демаркационнную линию. Боясь привлечь к себе внимание оккупационных сил, Поляковы даже не попытались получить «аусвайс», который давал разрешение на переход через линию. Друзья подсказали Франсуазе надежный обходной путь, где никогда не было контроля. Они с дочерью в автомобиле направились по этому пути и уже приближались к демаркационной линии, когда с ужасом увидели, что два автомобиля, шедшие перед ними, остановлены пикетом немецких солдат. Франсуаза хотела было тут же повернуть назад, но сзади уже подъехала другая машина. Они оказались в западне...

Небо было обложено тучами. Дул ледяной ветер. Франсуазу охватила тоска: у нее не было никакого документа, кроме водительских прав. Она, без единой мысли, как автомат, двигалась навстречу своей судьбе,

воплощением которой стал для нее этот старый немецкий офицер SS, проверявший разрешения на выезд. Когда подошла ее очередь, офицеру вздумалось зажечь сигарету. Он пытался прикурить на ветру. Нагнув голову, он прикрывался козырьком своей фуражки и старался оградить сложенными вместе ладонями слабую искорку, которая тут же гасла: порыв ветра всякий раз задувал огонек его зажигалки. Вот он сделал очередную попытку, отвернувшись и сгорбившись. Еще две машины стояли в ожидании за бедной матерью, молча державшей руку дочери. Тогда, нетерпеливо, в раздражении, стоя спиной к Франсуазе, — а та уже не могла ни думать, ни дышать — офицер, укрывшись капюшоном и тщетно пытаясь прикурить от огонька зажигалки, колеблемого ветром, — сделал ей знак проезжать...

С тех пор Франсуаза испытывает большое почтение к курильщикам...

...В дверь Мишеля Полякова звонили все настойчивее и даже стали стучать, и когда он открыл, то увидел то, чего боялся: двух молчаливых верзил в черных кожаных плащах, которые без лишних церемоний сказали ему следовать за ними.

— Сейчас? — спросил он.

— Да, сейчас.

— Немедленно?

— Немедленно.

— Могу я взять с собой что-нибудь?

— Туалетные принадлежности. Две рубашки. Самое необходимое.

— Дайте мне три минуты.

— Ладно. Но поторапливайтесь. Нельзя терять время.

В машине, плотно зажатый между этими двумя парнями, упорно молчащими, Мишель прокручивал в памяти всю свою жизнь, а за стеклами автомобиля пробегал летний ночной Париж. Он спрашивал себя, что его ждет. Слово «Дранси» еще редко звучало летом 42-го. Но все знали, что нацисты преследуют евреев. Многие были вынуждены вести подпольную жизнь. Мишель думал о жене и дочери и радовался, что успел отправить их в так называемую «свободную зону», где в это несчастное и гнусное время было все же меньше риска.

Черный «ситроен» переехал на правый берег Сены, проследовал по Елисейским Полям, выехал на площадь Звезды и проехал по обочинам авеню Дюбуа. Выйдя из машины, Мишель, все так же плотно конвоируемый, задавался вопросом, не упоминал ли кто-нибудь при нем гестапо на улице Фош. Его провели на второй этаж по монументальной мраморной лестнице. Позвонили. Дверь открылась. Некая фигура, тоже вся в черном, но не столь застывшая, встретила их на пороге. Беспокойство Мишеля сменилось удивлением, а удивление — ошеломлением.

Он очутился в большой комнате, несколько пустоватой, которую можно было принять за салон. Посередине — большой белый кожаный диван с тремя креслами. Звериные шкуры на полу. На стенах — несколько картин... В углу — богато оснащенный напитками бар. Никаких униформ, никаких папок с документами. Мишель стоял, свесив руки, в ожидании беды, которую не мог не таить в себе этот стерильный светский интерьер...

— Садитесь.

Он сел.

— Чего хотите?

Чего он хотел? Вернуться домой!

— Вернуться домой, — сказал он.

Охранник засмеялся:

— Это, пожалуй, единственное, чего я не могу вам позволить.

— Так я пленник?

— О, это громко сказано. Скажем так: вы здесь на...

— На неопределенный срок?

— Именно: на неопределенный срок.

Наступило молчание.

— Хотите чего-нибудь выпить?

— Стакан воды, — сказал Мишель.

— Может быть, стакан вина? С какой-нибудь закуской?

Он пожал плечами. Это слово «закуска» почему-то заставило его поежиться. Охранник на минуту оставил его одного. Он вернулся почти сразу, толкая перед собой сервировочный столик. На нем была тарелка с маленькими продолговатыми штучками, на которые Мишель воззрился вытаращенными глазами: это были канапе с икрой и лососем. На столике был также стакан и бутылка красного вина. Неосознанно — и это удивило его самого — он бросил взгляд на этикетку, покрытую пылью, — это была «Белая лошадь»...

— Они точно меня расстреляют, — мелькнула мысль.

— Приятного аппетита, — бросил ему охранник.

Мишель попытался различить в этом пожелании, произнесенном тихим голосом, оттенок иронии, благожелательности или издевки. А затем... съел все канапе и выпил три стакана «бордо».

Через полчаса охранник вернулся, попросил Мишеля следовать за ним и отвел его в маленькую, но очень удобную комнатку с прилегающим к ней туалетом; в комнате уже была постелена кровать.

— Вы пробудете здесь некоторое время, — сказал охранник. — Вам будут приносить еду. Но я должен вас закрыть.

Он вышел, и Мишель услышал, как в замочной скважине повернулся ключ.

Он провел там три ночи и два дня. Утром третьего дня охранник появился снова.

— Вы свободны, — сказал он.

Мишель Поляков взял свои вещи и вышел. На лестнице охранник протянул ему конверт. Мишель открыл его на улице: там были тридцать два франка и пятьдесят сантимов...

Вернувшись домой, он узнал, что вооруженные полицейские приходили за ним утром два дня подряд и, не застав его, ушли ни с чем. Это была облава на евреев 16-го и 17-го июля 1942-го года...

Через полтора года Мишель Поляков, ставший участником Сопротивления, попал в западню, на которую так никогда и не удалось пролить свет. Он был арестован гестапо и выслан в Германию, откуда вернулся каким-то чудом, — это было за лет двенадцать до получения Нобелевской премии и за двадцать — до его смерти...

— ...Но я все-таки должна была приехать, — говорила мне Франсуаза. — Мишель так любил Ромена...

— Да, мадам, — подтвердил я.

Она посмотрела на меня и положила свою руку на мою.

— Не надо так сильно грустить, — сказала она мне. — Жизнь продолжается...

Я молчал. Я обожаю Швейцеров. И очень люблю Франсуазу.

— Жан, — сказала она мягко, — о чем вы думаете? О Ромене?

— О том, что вы мне сказали, — ответил я.

Бешир торопливо шел ко мне.

— Кортеж прибывает, — шепнул он.

Я пристально смотрел на него, и он это заметил.

— В чем дело? — спросил он с легким беспокойством.

— Ни в чем, — ответил я. — Но тебе здорово повезло...

...Легион французских волонтеров против большевизма, под командованием полковника Лабонна, а затем генерала Пюо, который насчитывал около шести тысяч пятисот волонтеров, отобранных из двадцати тысяч кандидатов, был распущен в августе 44-го при освобождении Парижа. Это было через недель десять после начала операции «Оверлорд», высадки союзников в Нормандии и бравого марша генерала Саймона Фрейзера, будущего лорда Ловата, командовавшего Первой специальной бригадой, в состав которой было введено около двух сотен французов. Он уверенно вел своих солдат, и сопровождавшая их волынка Билли Миллина высвистывала под свист снарядов мелодию «Blue Bonnets over the Border».

Двумя месяцами позже большая часть французов, прежде входивших в состав Waffen SS, была переброшена вместе с некоторыми частями «кригсмарине», армии Власова и казачьего кавалерийского корпуса под командованием генерала SS Гельмута фон Панвица в состав дивизии SS «Шарлемань». Прежний состав дивизии «Шарлемань» был практически весь уничтожен советскими войсками в Померании весной 45-го года после занятия Восточной Пруссии генералом Черняховским. Вермахт, завоевавший почти всю Европу, часть Африки и замахнувшийся на Азию, теперь контролировал лишь узкий коридор от Норвегии до озера Комакко. Бешир был из малого числа тех, кому в апреле удалось выжить, выскользнуть из петли и добраться до Берлина. Через несколько дней он оказался в отряде из каких-нибудь трех сотен человек под командованием генерала SS Крюкенберга. Этот отряд защищал гибнущую столицу рейха и именно он лег в основу легенды о тибетской и монгольской гвардии, охранявшей затравленного Гитлера. Эта легенда впоследствии получила развитие у Луи Повеля и Жака Бержье в «Планете» и «Утре магов».

— Почему ему здорово повезло, дядя Жан? — спросила Изабель, подошедшая ко мне и слышавшая последние слова.

— Это слишком долго объяснять, дорогая, — ответил я, обнимая ее за плечи.

...Вечером 27 апреля 1945-го года Бешир получил приказ явиться ранним утром к дверям апартаментов Гитлера в бункере под имперской канцелярией, где фюрер находился уже около шести месяцев. Бешир, как мог, скудными подручными средствами вычистил мундир и башмаки, реквизированные им у какого-то покойника в Восточной Пруссии или Померании. Он проверил свое оружие, осадное ружье и «вальтер» калибра 7.65, которым особенно дорожил и с которым никогда не расставался. Солнце еще не поднялось над агонизирующим Берлином, когда Бешир уже занял свой пост у дверей бункера.

Тянулись долгие часы. Грохот рвущихся на поверхности бомб глухо проникал сквозь толщу бетона. Время от времени возникала суета: туда-сюда в спешке проходили генералы, руководство SS, врачи, медсестры, генерал фон Грейм, который чудом добрался сюда на самолете, пилотируемом женщиной, Ханной Рейтш, и даже Йозеф Геббельс собственной персоной. День уже был в самом разгаре, когда высокий белокурый лейтенант подал знак Беширу войти вместе с ним внутрь бункера — это оказался «зал карт». И тут изумление пригвоздило Бешира к полу: в состоянии крайнего возбуждения, со стаканом в руке, в окружении нескольких человек, поддерживаемый молодой брюнеткой лет тридцати, там громко разглагольствовал сам Адольф Гитлер.

Бешир, как и все прочие, видел множество изображений Гитлера, льстиво распространяемых нацистской пропагандой. Поэтому он сразу узнал истеричного диктатора, превратившего свой народ в фанатиков; его

смертоносное безумие унесло жизни миллионов безвинных жертв с обеих сторон... И вот этому человеку он служил...

Впрочем, Гитлер, который отпраздновал на предыдущей неделе свое 55-летие, сильно изменился. Десять месяцев назад, в его логове «вольфшанце» в Растенбурге, под стол, за которым шло заседание штаба, была подложена бомба полковником графом фон Штауфенбергом — одноруким, с тремя пальцами на левой руке, с черной повязкой на глазу, вполне в актерском стиле Эриха фон Штрохейма в «Великой иллюзии», и эта бомба сильно покалечила фюрера. Она нанесла существенный урон окружающей обстановке и могла бы убить фюрера, если бы не случайность: один из присутствующих офицеров, которому мешала салфетка (а в ней находилась бомба), немного ранее отодвинул ее подальше в сторону...

Это было уже не первое покушение на диктатора, даже если не считать бомбы, брошенной в ноябре 39-го часовщиком Георгом Эльсером в Мюнхене. За год до неудавшейся попытки полковника фон Штауфенберга, в марте 43-го, лейтенант фон Шлабрендорф, а через восемь дней после него — полковник Рудольф фон Герсдорф также пытались убрать фюрера. Оба раза Гитлера спас холод.

Лейтенанту удалось установить два пакета с взрывчаткой, замаскированных под бутылки коньяка, в самолете, в котором Гитлер летел из Смоленска в Растенбург. Через полчаса после взлета коррозийная жидкость должна была разъесть проволоку и высвободить детонатор. Но воздушные завихрения вынудили самолет подняться несколько выше, чем предполагалось, и на этой непредусмотренной высоте жидкость замерзла.

Полковник фон Герсдорф решил погибнуть вместе с тираном во время церемонии в честь погибших героев в Музее Армии в Берлине. Он спрятал две бомбы под своим плащом и следовал по пятам за Гитлером. Бомбы должны были разорваться через семь минут, но достаточно сильный холод разрегулировал механизм, задержав на двадцать минут его пуск, и фюрер таким образом в очередной раз спасся.

Операция «Валькирия», разработанная полковником фон Штауфенбергом, представляла собой целую разветвленную сеть вовлеченных в нее людей. Ее провал имел самые тяжкие последствия: семь тысяч арестов, пять тысяч казней и несколько самоубийств среди военных самых высоких рангов гитлеровской иерархии. Среди них — маршал фон Клюге и, особенно, маршал Роммель, без сомнения, самый крупный немецкий стратег Второй мировой войны, наряду с Манштейном и Гудерианом, повелителем бронетанковых войск. В самом сердце старой немецкой армии пировала смерть...

Гитлер уже страдал сердечными расстройствами, воспалением ободочной кишки, болезнью Паркинсона, его тело беспрерывно тряслось. Он избежал смерти, но после покушения на него в Растенбурге сильно сдал: тусклые волосы, ожоги на ногах, язвы на спине — следствие падения на него балки, контузия барабанных перепонок, парализованная правая рука. Он не был безумным в клиническом смысле этого слова, он не был зависим от сильных наркотиков, но, напичканный лекарствами, впавший в депрессию, он постепенно терял рассудок перед лицом той чудовищной катастрофы, на которую он обрек Германию и весь мир.

Бешир не сразу понял смысл сцены, при которой присутствовал. Ему помог белокурый лейтенант, время от времени шептавший ему на ухо нужные пояснения. И тогда до Бешира дошло: Гитлер сочетался браком с Евой Браун, которая, в течение вот уже двенадцати лет числилась его любовницей.

Это зрелище граничило с галлюцинацией. Снаружи столица рейха, который должен был тысячу лет царить над Европой или даже над всем миром, превращалась в пепел под бомбардировками, а здесь, в бункере,

обложенный со всех сторон диктатор любезничал с новобрачной и пил шампанское. У Бешира сверкнула мысль: о чем может думать сейчас героиня этого праздника? Он ничего не знал о ней: может быть, она вправду любила этого человека, ответственного за гибель миллионов? Он был палачом бесчисленных жертв, властелином мира наподобие Чингисхана, Тамерлана, Сталина и еще нескольких в истории человечества тех, которые пролили больше всего крови... Она долго мечтала стать его женой перед Богом и законом. И вот ее мечта осуществилась тогда, когда все рухнуло. Мечта стала реальностью и кошмаром... Он посмотрел на нее внимательнее. По сравнению с Мэг, четыре года ада не стерли ее образ из памяти Бешира — эта женщина казалась незначительной. Супруги шутили, держась за руки. Они вспоминали свои долгие прогулки в Альпах Бавьеры между Берхтесгаденом и Бад-Рейхенхалем: они искали там эдельвейсы на склонах Ватсманна. А Бешир видел только бесконечные белые равнины России и Украины, покрытые снегом и трупами. И слышал только крики Хосе и Гюнтера, тот был тоже родом из Альп Бавьеры, только немного западнее, из Гармиш-Партенкирхена, они так страшно кричали в агонии...

Адольф Гитлер сейчас совершал обход «ближнего круга», тех, кто присутствовал при брачной церемонии. Здесь не было Геринга, этого легендарного авиатора, германского Тартарена, полуопального после провала операций против Британии, сначала назначенного официальным преемником фюрера, но недавно лишенного доверия и обвиненного в предательстве. Не было Рудольфа Гесса — сердечного друга, но, к сожалению, слабого на голову, содержавшегося в плену в Англии после его парашютной высадки в Шотландии на землях герцога Гамильтона в 1941-м году. Не было Гиммлера, истребителя евреев, жестокого и бездарного шефа SS и гестапо, занятого бесплодными переговорами при посредничестве графа Бернадотта о достойной капитуляции вермахта. Зато присутствовал Геббельс с женой и шестью детьми, все шестеро были очень светловолосыми. Гитлер, проходя, погладил их по головам и обменялся несколькими словами с их отцом, шефом пропаганды, в чьи обязанности входили репрессии против врагов рейха: это он был горячим пропагандистом тотальной войны, которая теперь обернулась против своих же зачинщиков, независимо от их воли...

Вдруг Гитлер направился к Беширу, на латаном мундире которого выделялся железный крест.

— Wo haben Sie das Eiserne Kreuz erhalten? — спросил он, указывая пальцем на награду.

— In Stalingrad, mein Fuhrer! — ответил Бешир, становясь навытяжку.

— Ach, so! — протянул Гитлер. — Ach, so!..

Его тон, до этого угрожающий, истеричный и крикливый, вдруг стал мечтательным. Глаза затуманились. Может быть, вспоминал он о своем первом большом поражении — о битве, в которой весы судьбы качнулись в другую сторону, в которой на карту был поставлен исход всей войны...

Под удивленными взглядами своего интимного кружка Гитлер задержался перед Беширом. Он коротко спросил, откуда тот родом. Бешир ответил несколькими словами: Кавказ, Сирия, Ливан, Египет, Франция. Гитлер кивал головой с отсутствующим видом. Затем медленно удалился, опираясь на жену; его лицо и руки дрожали и нервно подергивались. Вдруг он остановился. Вернулся и снова остановился перед Беширом. Еле слышно пробормотал несколько слов. Беширу послышалось что-то вроде:

— Die Welt!.. Die weite Welt!.. Die ganze Welt...

Через несколько часов церемония была окончена, ее участники рассеялись кто куда, а Бешир получил приказ с завтрашнего дня быть в распоряжении фюрера.

— Дядя Жан, — сказала Изабель с подчеркнуто детской гримаской, — бабушка требует вас.

— Где она? — спросил я.

— Где-то недалеко от вас. Буквально две минуты назад она разговаривала с мадам Поляковой.

Я направился к двум дамам, которые уже расставались.

— Никак не скажешь, — проговорила Марго ван Гулип, — что вы уделяете мне слишком много внимания.

Этот упрек, сформулированный с присущим ей тактом, не был безосновательным. Окликаемый то одним то другим, отвлекаемый мыслью в прошлое Беширом или Андре Швейцером, бегая туда-сюда, беспокоясь о задержке погребального фургона, я и вправду не уделял внимания Королеве Марго. Звезда парижских светских обедов, благотворительных акций в Нью-Йорке и Вашингтоне, балов Ферррьеры и отеля Ламбер на острове Сен-Луи, приятельница Луизы де Вильморен и Джекки Кеннеди, она не привыкла к невниманию. Она привыкла царить, а я сейчас относился к ней как к рядовой персоне. И она была вправе удивляться такому пренебрежению: ведь она явилась сюда не просто как участница церемонии, пусть даже привилегированная, и не как почетная гостья. Она видела себя, я полагаю, в роли законной вдовы, раздавленной горем, и следовало воспринимать ее со всем почтением не только к этому ее рангу, но и к ее чувствам: как и все женщины в черном, которых я видел вокруг, она некогда любила Ромена. Тем более что в Греции, когда она была еще Эфтимиу, затем в Америке, Англии, Франции в течение многих лет она была самой большой любовью Ромена.

— Простите меня, — проговорил я. — Слишком много людей, у меня голова идет кругом. Мне следовало бы быть возле вас.

— Ничего, — ответила она с обольстительной улыбкой и тоном китайского императора, прощающего осужденного преступника, — вы знаете, что я всегда все вам прощаю.

Я хорошо представляю, что за все время их любовной связи, то прерывающейся, то возобновляющейся снова и снова, Ромен и Мэг, затем Ромен и Марго, каждый со своей стороны, должны были многое прощать себе и другому. Они несколько раз расставались, но всегда потом находили друг друга. Наконец возраст, усталость, годы и некоторые особые обстоятельства покончили с тем, что называют страстью. Остались дружеские чувства, восторженные — со стороны Марго, живые и прочные — со стороны Ромена. Каждый оставался для другого до конца своим человеком, и смерть Ромена была, бесспорно, тяжелым ударом для Марго.

— Дорогая Марго, — сказал я ей, — я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Я любил его, мы вместе объездили мир, и я думаю, что знал его хорошо, насколько это вообще возможно: так вот — он всегда принадлежал вам.

— Спасибо, — ответила она, кладя свою руку на мою, — спасибо.

— Знаете... — начал я неуверенно, — я уже долго вынашиваю мысль написать книгу о вас...

— Правда? — воскликнула она с удивлением и удовольствием одновременно. — Правда? И это после «Морской таможни»? Но это же абсурд. Я вам категорически запрещаю.

— Тогда я когда-нибудь напишу, вероятно, книгу о Ромене, и вы там будете фигурировать.

Это была, кстати, недурная мысль: взять Марго ван Гулип героиней романа, действие которого охватывало бы пять-шесть десятилетий и проходило бы понемногу везде, он вобрал бы в себя целую эпоху. Жюль Ромен уже сделал такую попытку, но лишь частично и с чувством ожесточения, которое я с ним не разделял. Он описал ее как интриганку, которая

не останавливалась ни перед чем, чтобы обеспечить свое восхождение, и опиралась для этого на мужчин, которых использовала, а потом бросала. Я же видел в ней королеву, испытавшую многие несчастья и сумевшую создать легенду о себе на обломках своей жизни.

Марго ван Гулип была на добрую четверть века старше меня. В отличие от Ромена, который никогда не переставал поддерживать с ней тесные отношения, моя жизнь пересекалась с жизнью Марго лишь иногда и через долгие промежутки времени. Я знал ее в Греции под именем Мэг Эфтимиу. Через многие годы я встретил ее под именем Марго ван Гулип. Что происходило до этого, между тем и потом, я знаю только по рассказам тех или иных людей, начиная с Бешира и самого Ромена. Блестящая жизнь Королевы Марго всегда была прикрыта туманной завесой.

Высокая таинственная брюнетка, которую мы встретили тогда на Патмосе, была гречанкой только по имени и по стечению обстоятельств. Она была родом с Ближнего Востока и могла считаться американкой, равно как и француженкой. Ей не было еще и двадцати лет, когда она в первый раз, еще задолго до Второй мировой войны, оказалась в Нью-Йорке.

Она сбежала из родительской семьи, возможно, для этого она использовала свое первое замужество, еще более таинственное, чем все последующие. С благословения Бешира, который не останавливался ни перед чем, чтобы ей помочь, и решил посвятить всю жизнь своему кумиру, она отправилась попытать счастья в Париж, это были как раз межвоенные «безумные годы». В те времена она звалась Мириам и была хороша до изумления. Со смелостью, присущей молодости, она представилась самой Коко Шанель, которая к тому времени уже десяток лет процветала на улице Камбон. «Великая Мадемуазель» быстро сообразила, какую выгоду можно извлечь из экзотической красоты молодой женщины. Это она дала своей протеже имя Мэг, которое стало знаменитым буквально на следующий день не только в ателье Шанель, но и далеко за его пределами. Американцы, взбудораженные французской модой (она тогда достигла своего апогея, впрочем, как и литература: имена Ланвен, Шанель, Скиапарелли, Баленсиага, Нина Риччи, Грес были не менее известны в мире, чем Бергсон, Валери, Клодель, Пруст, Жид, Поль Моран), пригласили Коко Шанель представить им свои творения, и она отправила к ним свою любимую модель и уже звезду подиума — Мэг. Она отплыла из Гавра на пакеботе «Иль-де-Франс», тогда еще совсем новеньком, и на нем многие молодые люди сразу же принялись ухаживать за ней. Не прошло и сорока восьми часов после того, как она проплыла перед статуей Свободы, как судьба ее уже переменилась...

...В толпе началось движение. Бешир бежал ко мне. Вдали показался похоронный фургон, въезжавший на кладбище. Ромен прибыл к нам. Густая толпа теперь выстраивалась вдоль аллеи, по которой медленно продвигался длинный черный автомобиль. Две или даже три сотни человек одновременно думали о Ромене. Большая коллективная душа, слагавшаяся из множества индивидуальных чувств, зарождалась сейчас вокруг Ромена — того, кем он был и кем перестал быть. Марина рыдала. У меня на глазах тоже были слезы...

Фургон проплывал вдоль живой людской изгороди: тех, кто любил Ромена, и тех, кто его ненавидел; тех, кто жил рядом с ним, и тех, чьи жизни только пересекались с его жизнью; людей равнодушных, кто отдавал здесь дань привычке или общественным условностям, и тех, чье сердце было разбито горем. Бешир закрыл лицо рукой, Андре Швейцер поклонился, я осенил себя крестом. Глаза нескольких молодых женщин были красны от слез. Марго ван Гулип была неподвижна, как статуя. Марина снова положила голову мне на плечо, и я чувствовал, как она дрожит.

В моей голове проносилась вся жизнь, связанная с Роменом. В жизни бывают дни, месяцы, целые бесконечные годы, когда ничего не происходит. А бывают минуты и секунды, которые заключают в себе весь мир. Присутствие Ромена в жизни было таким мощным, что одного воспоминания о нем было достаточно, чтобы самой собой забылось теперешнее его отсутствие. Можно было бы даже сказать, с не столь большой натяжкой, что он сам присутствовал на собственных похоронах, чтобы оживить прошлое в нашей памяти.

Печаль, которая овладела нами, была родом тоже из тех счастливых дней, которые мы провели с ним, и из той его способности, которой он был наделен как никто другой, — делать жизнь праздником, всегда новым... Он знал не так уж много, но знал жизнь. Знание как таковое намного выше «умения жить», но оно — почти ничто перед знанием жизни. Для многих, кто был в этот день рядом с ним — мужчин и женщин, — жизнь станет менее легкой, менее веселой, менее яркой, чем была с ним.

Проскальзывало у собравшихся и другое чувство, и это был явный парадокс: Ромен, который был самой жизнью, теперь своей смертью заставлял нас думать о собственной смерти. Он сам, конечно, отверг бы роль распорядителя похоронного бала. Он предпочел бы, чтобы его смерть стала поводом для праздника — по образу и подобию его жизни. Не получилось: не удавалось нам преодолеть горечь от его ухода без него... Его не было здесь, чтобы утешить нас. Он любил саму жизнь, все в ней построил на этом, и, можно сказать, построил гениально... И вот смерть торжествовала. В эти мгновения на его мертвом лице она была сильнее, чем жизнь...

То, что мы, смертные, можем сделать, чтобы преодолеть смерть, — следовало искать в жизни. Надо использовать каждый день нашей жизни, чтобы найти в ней тот секрет, который и сделает ее бессмертной. Что это за секрет? Есть что-нибудь кроме удовольствия и любви к жизни, которые Ромен при жизни возвел в культ? Где искать спасение? В порыве к будущему через прошлое, который мы называем историей? В искусстве, которое иногда приоткрывает нам — не иллюзия ли это? — неведомые берега. В любви, которая имеет то великое преимущество, что о ней нельзя сказать ничего определенного? На какой-то кратчайший миг мне показалось, как ни абсурдно, что Ромен взял меня за руку и склонился ко мне, чтобы поведать мне этот секрет...

Бешир безотрывно сопровождал похоронный фургон...

...30 апреля 1945-го года он стоял на часах перед дверями фюрера в бункере имперской канцелярии. Под многометровой толщей бетона жизнь текла в нереальности. Все понимали, что авантюра, затеянная двенадцать лет назад, закончена. И конец этот был в крови, руинах и слезах. Но слезы ужаса и отрезвения, которые могли бы еще как-то изменить ход событий, пришли слишком поздно: через пять месяцев Соединенные Штаты первыми бросят первую атомную бомбу на Японию...

Секретные переговоры германской стороны то с теми, то с другими не привели ни к чему. Оставалось одно: умирать. Там, наверху, умирали вовсю. Под бомбами и снарядами. Под ударами «катюш» — этих сталинских «поющих орг*а*нов войны», — бивших безостановочно с интервалом в две секунды... Вакханалия войны механизмов, развязанная Гитлером, в конце концов обернулась против него. Сначала он побеждал в ней своими танками и самолетами. Но, как это предсказал в самый разгар военной ночи один генерал в изгнании, приговоренный тогда к смерти, теперь побеждали самолеты и танки союзных сил. Гитлер отождествил себя со своей военной мощью, и он был побежден его же оружием. Чудовищная и нелепая война поглощала сама себя. Сила разрушалась силой...

...В бункере же ходили самые безумные слухи. Гейнц Линге, комнатный слуга фюрера, шепнул Беширу, что Геббельс недавно получил гороскоп Гитлера: после прохождения тяжелого периода звезды вот-вот должны были сойтись в благоприятном для него положении. До бункера доходили известия и о некоторых знаменательных смертях. Смерть Рузвельта пятнадцать дней назад обрадовала Гитлера, который не преминул увидеть в исчезновении ярого противника знак судьбы. Но полученное накануне сообщение о казни Муссолини и его любовницы Клары Петаччи — их захватили партизаны в Донго, на озере Ком, и их тела были повешены за ноги на мясничьих крючьях на площади Лорето в Милане — снова омрачило настроение фюрера. Шептались также, что генерал Фегелейн, шурин Евы Браун, женатый на ее сестре Гретель, был расстрелян за попытку договориться от имени Гиммлера с западным руководством... Всюду трупы, тысячи, сотни тысяч; оторванные руки и ноги, выбитые пулями и снарядами глаза, искаженные лица, калеки, обгоревшие, кучи раненых, умоляющих, чтобы их добили, и страдания, страдания, которым нет даже названия... Особенно много говорили о самоубийстве в самом бункере Геббельса и его жены, которые сначала умертвили своих шестерых детей, а затем — себя. Здесь тоже поселилась тень смерти, выпущенной в мир проклятыми, которые теперь сидели в нем...

Незадолго до полудня Бешир вдруг оказался лицом к лицу с фюрером, выходившим из своей комнаты. Гитлер, как всегда, лег поздно и встал поздно. Он уставился на Бешира блуждающим взглядом.

— Я вас знаю... — пробормотал он.

— Ja, mein Fuhrer! — ответил Бешир, стоя навытяжку.

— Вы были на свадьбе?...

— Ja wohl, mein Fuhrer, — повторил Бешир.

— А, вы тот мусульманин с железным крестом! Людей вашей закалки мне нужно было бы иметь гораздо больше... Я всегда мечтал о Востоке... На Востоке решается все. Многие воображают, и напрасно, что мои амбиции ограничивались Европой. Люди судят всегда по своей ничтожной мерке. Я видел дальше Европы. Мне нужен был весь мир. Опираясь на ислам, чтобы раздавить заговор международного иудейства, национал-социалистическая Германия могла бы завоевать всю планету и переродить ее...

Прислонившись к дверному косяку, конвульсивно подергиваясь лицом, пытаясь сдержать дрожание правой руки, бывший австрийский художник, агитатор массовых сборищ, ставший хозяином Третьего Рейха, сейчас разворачивал — уже в последний раз — свой план мировой империи... перед бедолагой, чудом выбравшимся из ада... Он говорил словно в бреду, полуодержимый — даже пена показалась на губах — на манер тех античных пифий, которые предсказывали будущее с лавровым венком на голове, в клубах курений... Под разрывами бомб, в пыли разваливающегося мира, в последние часы своей жизни, которая, после стольких триумфов, шла ко дну под грузом проклятий, он пророчески вещал о прошлом, которое не сбылось и никогда не сбудется...

Через много лет Бешир рассказал мне о том, как он тогда буквально впал в оцепенение в углу коридора бункера под «великой канцелярией» за несколько часов до безоговорочной капитуляции германского Третьего Рейха, который призван был установить огнем и кровью тысячелетний «новый порядок»... Его оцепенение было таково, что экзальтированная речь фюрера звучала для него как сквозь туман... Мимо него ходили туда и обратно секретари, медсестры, повариха Гитлера. Гитлер только что составил двойное завещание — политическое и личное, — в котором он, наряду с заявлением о своем бракосочетании и бредом о евреях, повинных во всех несчастьях, назначал новое и последнее правительство Германии: с генералом Доницем в качестве президента Рейха и главы вермахта

и Иозефом Геббельсом в качестве канцлера. И вот сейчас он перед ошарашенным Беширом набрасывал величественный контур своей мечты о мировом господстве, разрушенной мечты.

Оказывалось, что не только ради нефти, чтобы лишить Красную Армию и Британскую империю снабжения ею, Гитлер бросил войска на захват Кавказа с его Тереком, окутанным легендами, и на покорение Эльбруса, на вершине которого 21 августа 1942-го года подразделением вермахта был водружен флаг со свастикой. Все это было сделано с дальним прицелом, здесь преследовались по-настоящему грандиозные цели.

При всей важности борьбы с большевизмом, план «Барбаросса», наступление против Красной Армии, прорыв на юг и к Кавказу — все это было лишь частью гигантского общего замысла. Начало 1942-го года ознаменовалось наступлением германских войск на другом театре военных действий, весьма далеком от русского фронта: в Триполитании, Киренаике, Египте. Это была война в песках после войны в снегу...

На протяжении всего 41-го года маршал Роммель, используя власть и интриги, чередуя успехи с неудачами, продвинулся на восток во главе своего «Africakorps», сначала до Марса-Матруха, затем отступил к западу, затем снова продвинулся до Бир-Хакейма, здесь 4-я бригада французской Свободной армии под командованием Кёнига держалась 15 дней, и затем до Тобрука, взятого в июне 42-го, и до Эль-Аламейна, захваченного в июле. К середине лета 42-го он уже был у ворот Александрии и на пути к Каиру. Глобальные амбиции Гитлера, казалось, вот-вот станут реальностью.

В соответствии с простейшим планом, который Гитлер составил накануне операции «Барбаросса» и который он сейчас, напоследок, громко пересказывал Беширу, застывшему от изумления статуей, три отдельные группы войск должны были сойтись на Востоке. Первая была представлена африканским корпусом Роммеля. Он должен был пройти с запада на восток, от Африки к Азии вдоль Средиземного моря, затем подняться по Нилу до Каира, где противники англичан и горячие сторонники Гитлера, конечно, уже лихорадочно пришивали свастику на куски красного полотна. И вот уже войска Монтгомери разбиты, а за Нилом нет никого: ни обороны, ни резервов. Тогда Порт-Саид и Суэцкий канал сами падают к ногам Гитлера, как перезрелый плод. Заблокировав канал, Роммель продолжает свою военную прогулку через Синайский полуостров и Палестину, по дороге прихватывает Иерусалим, из него высланы все евреи, и, наконец, достигает Сирии.

Вторую группу войск, в соответствии все с теми же директивами 1941-го года, возглавляет маршал фон Бок. Он начинает движение от Болгарии, пересекает Босфор, продвигается в глубь Анатолии, пересекает холмы Тауруса и соединяется с африканским корпусом Роммеля на севере Сирии, на Алеппских высотах.

Перейдя Кавказ, третья группа войск под командованием маршала Листа спускается к югу, переходит из Европы в Азию, захватывает всю территорию между Черным и Каспийским морями, проходит между Ираком и Ираном и выходит к Персидскому заливу. Таким образом, все три группы войск сжимают в тисках самое сердце Британской империи.

В то время, в 41-м—42-м годах, ситуация в Азии складывалась благоприятно для национал-социализма. Муфтий Иерусалима склонялся сам и использовал свое влияние на умы в пользу Рейха. Ирак, с его прежним премьер-министром Рашидом Али, тоже был готов перейти в германский лагерь. В Иране шах Реза, свергнувший Каджаров двадцать лет назад и установивший власть династии Пехлеви, был просто зачарован Гитлером. Он был вынужден отречься в пользу своего сына, но продолжал иметь много сторонников. В понимании фюрера, весь Средний Восток вслед за Ближним Востоком был готов упасть в объятия Германии.

В мыслях Гитлер уже держал в руках все энергетические ресурсы Баку, Моссула, Киркука и Абадана. Вот он уже распоряжается всей нефтью Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Он контролирует все сухопутные и морские пути, связывающие Британскую метрополию с колониями, и перекрывает на Суэце сообщение Англии с остальной частью империи. Поставки в СССР из Соединенных Штатов через два иранских порта — Хоррамшар и Бандар-Аббас — тоже становятся невозможными.

Так на Востоке складывается его мировая империя. Затем еще шире, еще грандиознее: Гитлер идет по стопам великих завоевателей. Он захватывает, как Бонапарт, Египет и Палестину. Как Фридрих II, он присоединяет весь Восток к Священной Римской империи Германии. Закрепившись на Тигре и Евфрате — здесь зародилась вся наша цивилизация, — он продвигается, как Александр Великий, до Индостана и Индии — колыбели индоевропейцев, «арийцев», столь милых сердцу поклонников Гобино и теоретиков нацизма. И вот наконец Красная Армия на коленях, Британская империя развалилась, Соединенные Штаты отрезаны от нефти, и Гитлер уже диктует свои условия всему освобожденному миру, который благодарно увенчивает его лаврами и ждет его приказаний...

— Mein Fuhrer! Повар спрашивает, в котором часу вы желаете завтракать. — Этот вопрос задал неслышно подошедший Гейнц Линге.

Гитлер, словно очнувшись, оглянулся.

— В два часа, — решил он.

Он повернулся к высокому лейтенанту-блондину, который в день его бракосочетания привел Бешира на церемонию в «зал карт».

— Я хотел бы знать, что происходит там, наверху.

— Zu Behehl, mein Fuhrer!

Лейтенант посмотрел на Бешира.

— Пойдем?

— Пойдем, — сказал Бешир.

Они выбрались вдвоем из бетонной массы бункера со всей осторожностью: сначала — головой, затем — всем туловищем. То, что они увидели, их ужаснуло: сплошные развалины, свист снарядов, повсюду трупы — картины апокалипсиса, — и посреди всего этого — два сержанта Советской армии, водружающие красный флаг над куполом рейхстага, в нескольких шагах от убежища Гитлера...

Когда лейтенант и Бешир вернулись в бункер, Гитлер садился за стол в сопровождении жены и еще нескольких людей из ближнего круга.

— Ну что? — спросил он. — Was is los?

Они кратко доложили о том, что они видели: лейтенант изложил факты, а Бешир уточнил некоторые детали.

Гитлер неожиданно спокойно, почти равнодушно, поблагодарил обоих и пожал каждому руку.

Они уже собирались уходить, когда фюрер снова позвал их.

Указывая пальцем на пистолет у пояса Бешира, он спросил:

— Что это у вас?

— «Вальтер» 7.65, мой фюрер! — ответил Бешир.

— Надежное оружие, не правда ли?

— Лучшее из всех, мой фюрер!

Гитлер мгновение колебался. Потом положил руку ему на плечо, в упор глядя на пистолет, и пробормотал неожиданно робко:

— Не одолжите ли вы мне его... пожалуйста...

Бешир, ни слова не говоря, но со смертельной тоской в душе — это оружие было его единственным сокровищем, он очень ценил его и никогда с ним не расставался — протянул ему пистолет...

Продолжение следует.

Перевод с французского Елены ЧИЖЕВСКОЙ.

Великой любовью любят...

В разные годы в Беларуси и Украине вышли две достаточно оригинальные книги одного стихотворения на языках мира. В Минске в 1982 году — «А кто там идет?» Янки Купалы, а в Киеве в 1989 году — «Завещание» Тараса Шевченко. В первой из них, собранной благодаря стараниям литературоведа и переводчика Вячеслава Рагойши было представлено стихотворение белорусского классика на 82 языках. Русский перевод принадлежит Максиму Горькому, он и был осуществлен и опубликован в 1911 году в альманахе «Современный мир»: «А кто там идет по болотам и лесам / Огромной такою толпой? / — Белорусы <...> А чего ж теперь захотелось им, / Угнетенным века, им, слепым и глухим? / — Людьми зваться». В книге Тараса Шевченко «Завещание» (составитель и автор комментариев — Борис Хоменко) — 147 переводов... Кто не знает этот текст на русском языке в переводе Александра Твардовского?! «Как умру, похороните / На Украйне милой, / Посреди широкой степи / Выройте могилу, / Чтоб лежать мне на кургане, / Над рекой могучей, / Чтобы слышать, как бушует / Старый Днепр над кручей». И нет во всем мире украинца, который, попав на чужбину (пусть и на несколько дней), не читал бы в светлой печали эти строчки...

В 2017 году в Беларуси отметят 500-летие белорусского книгопечатания. Ровно столько исполнится с того времени, как была издана Франциском Скориной на старобелорусском языке «Псалтирь». Первопечатник XVI века — не только просветитель, понявший роль, место печатного слова в развитии общества. Франциск Скорина — замечательный переводчик, основатель школы белорусского перевода. Его перу принадлежат произведения разных жанров. В наследии Скорины есть и эти гениальные строки: «...люди / К земле, где увидели свет / И выросли с Богом, / Душою навек прирастают» (перевод Валерия Гришковца). Вот и возник замысел у белорусских издателей (проект — уже в планах работы Министерства информации Республики Беларусь и Издательского дома «Звязда») выпустить в свет книгу одного стихотворения Франциска Скорины на языках народов мира. К реализации этого начинания подключились поэты, переводчики. Во-первых, уже и ранее существовало несколько переводов: кроме русского — на английский, болгарский, польский, литовский и другие языки. А в последние два-три года к переложению слов Скорины о патриотизме, любви к Родине, прикоснулись самые разные художники слова. В Китае — Гао Ман. Его знают как большого друга русской и вообще славянских литератур, как переводчика А. С. Пушкина, А. Ахматовой, Т. Шевченко. Еще в 1958 году в Пекине увидела свет книга стихотворений Максима Танка в переводе на китайский Гэ Баоцюаня и Гао Мана. На вьетнамский стихотворение Скорины перевел председатель Союза переводчиков Вьетнама Тхуи Тоан. Кстати, он — и переводчик стихотворения Я. Купалы «А кто там идет?». На туркменский Скорину перевел Агагельды Алланазаров, на таджикский — Саидали Мамур, на эстонский — Арво Валтон, на украинский — Тарас Лучук, на сербский — Иван Чарота, на итальянский — Томазо Вальсери, на киргизский — Таштанбек Чакиев, на французский — Анес Марен, на казахский — Улугбек Есдаулетов, на коми — Алексей Попов, на калмыцкий — Римма Хонинова и Эрдни Эльдше,

на армянский — Эдвард Милитонян, на японский — Масако Тацуми, на чеченский — Мусса Ахмадов... На сегодняшний день собрано более 50 переводов на самые разные языки мира. Большую помощь белорусскому издательству оказал казахский переводчик Кайрат Бекбергенов. Он передал оригинал Скорины на старобелорусском и подстрочный перевод на русский многим своим коллегам не только по национальным литературам Казахстана — корейской, уйгурской, курдской, но и поэтам из других стран Европы и Азии. Марат Гаджиев из Махачкалы помог организовать переводы на языки народов Дагестана — аварский, агульский, даргинский, кумыкский, лакский (переводчик — народный поэт Дагестана Сугури Увайсова), лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, цахурский. Большую помощь в организации переводческой работы оказал народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги... И хотя на русский язык существует несколько переводов проникновенных строк Скорины, к перевоплощению их на язык Пушкина обращаются и сегодня. Новые переводы, которые составители книги предлагают читателям «Литературной газеты», принадлежат Валерию Гришковцу, Олегу Буркину, а также замечательному поэту, главному редактору журнала «Сибирские огни» Владимиру Берязеву, за что ему, как и всем другим переводчикам, самый низкий поклон от белорусов. Спасибо, дорогие друзья!.. Спасибо, что вы понимаете, каким ярким светочем является для нас Скорина...

А то, что к 500-летию белорусского книгоиздания, которое страна будет отмечать в 2017 году, выйдет книга одного стихотворения Скорины на языках народов мира, в этом не стоит сомневаться. Уже сегодня эта инициатива поддержана министерством информации Республики Беларусь.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

ФРАНЦИСК СКОРИНА

* * *

Как звери,
Что блуждают в чащобах,
С рожденья
Пристанище знают свое,
Как птицы,
Обжившие дали и небо,
Помнят
Про гнезда свои,
Как рыбы,
Что плавают в море и в реках,
Течение
Чуют свое
И как пчелы
Ульи свои защищают, —
Так и люди
К земле, где увидели свет
И выросли с Богом,
Душою навек прирастают.

Перевод Валерия ГРИШКОВЦА.

* * *

Как звери,
что в пуще блуждают,
от рождения ведают норы свои,
как птицы,
что в небе летают,
вьют и помнят гнезда свои,
как рыбы
в море и реках,
не забывают истоки свои,
как пчелы
обороняют
ульи, колоды и дупла свои,
так и люди
то место, где на свет явились и вскормлены были,
великой любовью любят.

Перевод Владимира БЕРЯЗЕВА.

* * *

Изначально все звери в пустынях
Знают норы свои;
И пернатые в небе высоком
Знают гнезда свои;
Да и рыбы в морях и озерах
Все пристанища в синих глубинах
Знают тоже свои;
Даже пчелы — и те защищают
Храбро ульи свои;
Так и людям
Забыть не дано
Те места, где на свет появились,
где вскормили их и растили.
К ним привязаны будут до смерти.

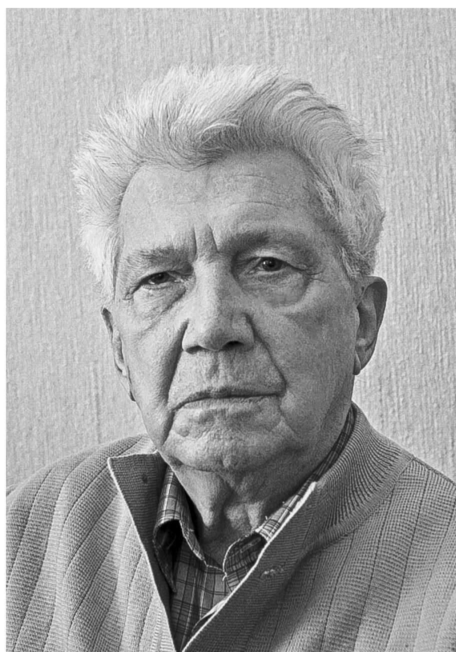
Перевод Олега БУРКИНА.



Юбилей

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Вересковый взяток



Немало примеров можно привести того, как в свое время сектор художественной литературы Центрального Комитета Компартии Беларуси вмешивался в творческие дела, решая, что печатать, а перед чем зажечь «красный» свет. Более того, при желании можно вспомнить, как чрезмерно смелых авторов вызывали на «ковер», после чего они, понятно, попадали в немилость партийного руководства с соответствующими последствиями. Что было, то было. Имел отношение к этим разборам и тогдашний заведующий этим сектором, известный белорусский писатель Алесь Савицкий. Но если быть правдивым, то до конца. Похожее случилось и с ним.

«Погорел» Алесь Онуфриевич на своем романе «Тры непражытыя дні». Не успел опубликовать его в журнале «Полымя», как нашлись «девственники», которым очень не понравилось, насколько на то время смело автор рассказал о любви двух молодых людей. Как на сегодняшний день, то в «Трох непражытых днях» ничего крамольного не было. Подумаешь, главные герои свободно проявляют свои чувства. И вовсе не ханжи они, а обычные люди, которым хочется человеческого счастья, взаимности.

Однако тогда все было воспринято иначе. В кабинете заведующего отделом культуры, а также заведующего отделом пропаганды и агитации, а кое-кто и «выше» выходил на секретаря ЦК КПБ по идеологии, — раздавались возмущенные звонки, приходили и анонимные письма. Содержание звонков и писем сводилось к одному и тому же: как можно было допустить, чтобы герои художественного произведения любились не где-либо, а в лесу вблизи Хатыни. Кощунство! Да и кто написал? Заведующий сектором художественной литературы! Какой пример подает он, особенно для молодежи. Как после всего этого ее можно воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине?!

Не обошли стороной роман «Тры непражытыя дні» и московские рецензенты. От них А. Савицкому досталось не меньше, чем от своих, белорусских «благодетелей». Эти-то ограничивались звонками в ЦК КПБ и посланиями, да и то анонимными. Осторожность проявляли. Кто знает, как все еще обернется. Чего доброго А. Савицкий останется на своей должности, тогда всего от него можно ожидать. Один Анатоль Велюгин «прятаться» не стал и разразился в «ЛіМе» на Алеся Онуфриевича эпиграммой.

Зато московская пресса оказалась особо агрессивной. А поскольку в те времена все решала Москва, нетрудно было представить, что после этого, скорее всего, последуют организационные выводы. Понимал это и сам А. Савицкий. Поэтому решил опередить

события и обратился к первому секретарю ЦК КПБ Петру Машерову с письмом, в котором высказал свою точку зрения на происходящее, и попросил разрешения пойти на творческую работу. Дальше, как вспоминает Алесь Онуфриевич, все происходило так:

«Калі ў часе гаворкі — а яна ішла да поўначы — у кабінет зазірнуў другі сакратар, Машэраў сказаў:

— А ўсё ж такі пасаду яму трэба падабраць. ЦК што? ЦК вытрымае. А ён можа зламацца...

Тады я вазьмі ды скажы ў адказ:

— Няўжо вы, Пётр Міронавіч, лічыце, што ў былога камандзіра падрыўной групы мужнасці меней, чым у былога партызанскага камісара?

Машэраў смяяўся ад душы!»

Так в 1973 году и пошел Алесь Онуфриевич на «вольный хлеб». И в общем-то, не разочаровался в этом. Обида за незаслуженные упреки забылась, свободное время, которого появилось в избытке, использовал для плодотворного творческого труда. Результаты не заставили себя долго ждать. Хотя и до этого и обретения были, и награды. Повесть «Самы высокі паверх» была отмечена премией Ленинского комсомола Беларуси (1970). Премию Союза писателей и ВЦСПС за лучшее произведение художественной прозы о советском рабочем классе (1972) получил за документальную повесть «След пракладае першы» (в переводе на русский язык она называется «Сверяю жизнь по времени». Государственную премию Республики Беларусь Алесю Онуфриевичу присудили за трилогию «Дзівосы Лысай гары», адресованную детям (2002). За роман «Верасы», а также за эту же трилогию он награжден литературной премией России «Прохоровское поле» (2010). На груди же А. Савицкого несколько орденов и медалей, которыми он отмечен как за мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, так и за достижения в области литературы.

Основные вехи биографии

Все мы, как точно подмечено, родом из детства. А. Савицкий же, будет правильным сказать, родом не только из детства, но и с войны. Родился он 8 января 1924 года в Полоцке. До нападения фашистской Германии на Советский Союз успел окончить только восемь классов. За оружие взялся в 1942 году. Воевал в партизанском отряде «Смерть фашизму», который дислоцировался в лесу вблизи его родного города. Потом был командиром группы подрывников отряда «Большевик», действовавшего на территории тогдашнего Ветринского района Витебской области. Когда Витебщину освободили от немецко-фашистских захватчиков, призвали в действующую армию. Участвовал в боях за Польшу, брал Берлин. Был трижды ранен.

После войны перед А. Савицким встал вопрос, который возникал в то время едва ли не перед каждым демобилизованным: куда пойти, где приложить свои силы. Плюсом было то, что, как отметил он про себя, был еще молод, энергичнен, полон оптимизма и жизнелюбия. Минусом, чего также не мог не отметить, что окончил всего восемь классов. Правда, «оправданием» было то, что многие и такого образования не имели. Да и нельзя было не принимать в расчет того, что четыре года войны являлись такой школой, навыки которой трудно с чем-либо сравнить, а также он уже пробовал писать.

Начинал же, как и многие, со стихов. Причем в суровых военных реалиях: «Першае, сваё, напісаў у партызанскім атрадзе». А было это зимой 1942 года. А. Савицкого тяжело ранило. В его автобиографии читаем: «Разам з Сяргеем Зімніцкім мы мініравалі чыгунку ў сасновым бары паміж Полацкам і Фарынава. Міну — амаль дваццаць кілаграмаў толу, выплаўленага з артылерыйскіх снарадаў, — паставілі, але адбегчы далёка не паспелі: цяжка было адольваць завалы з таўшчэзных сосnaў, аплеценых дротам і закіданых снегам. Выбуху не чуў; памятаю вялізнае, на ўсё неба, малінава-белае сонца і ціхі, вельмі ціхі і прыгожы гул, як бомканне маленькіх званоў...»

Спас А. Савицкого тот самый С. Зимницкий, который первым пришел в себя, потом они «дапаўзлі да лесу і там знайшлі сваіх хлопцаў з групы — яны шукалі нас». В партизанском госпитале, в котором пролежал около месяца, захотелось написать матери, чтобы успокоить ее, а в результате родилось стихотворение. «Другі верш, — продолжает А. Савицкий в автобиографии, — напісаў праз год, ужо далёка ад Завалынкі, на другі бок чыгункі, у вёсцы Бабынічы, дзе дыслацыраваўся новы партызанскі атрад «Бальшавік»».

Казалось бы, чего долго думать: надо устраиваться на работу в редакцию. Но подумать как раз и пришлось. Признается: «Брат і сястра вучыліся ў школе. Здароўе маці было кепскае. Я пайшоў працаваць». Кто знает, сколько бы это продолжалось, если бы не подвернулся случай. Перед самым Новым годом зашел Алесь к своему другу Зимницкому, а тут вернулась с работы его сестра и «паскардзілася, што не ведае, як выканаць загад рэдактара (яна працавала ў газеце): знайсці цікавы «навагодні» матэрыял. Я пажартаваў: «Давай, Сяргей, напішам пра партызанскі Новы год».

Писал, конечно, А. Савицкий, рассказывая о том, как во время оккупации они пустили под откос вражеский эшелон. К утру очерк был готов. Правда, сам Алесь тогда не знал, что у него получился именно очерк, в жанрах он не разбирался. Об этом ему сказали в редакции тогдашней полоцкой областной газеты «Бальшавіцкі сцяг». Очерк главному редактору понравился, да и все сотрудники от написанного были в восторге, а поскольку в редакции имелось вакантное место, дальнейшая судьба А. Савицкого была предопределена.

Лучше рассказать о том, как ему тогда работалось, чем это сделал сам Алесь Онуфриевич, вряд ли можно. Поэтому дам слово ему самому. Да и позволю при этом обширную цитату, только при этом условии можно понять, насколько напряженными тогда были журналистские будни, и как много дали они впечатлительному газетчику:

«З першага студзеня сорак шостага пачалася мая праца ў газеце. На першым часе ў рэдакцыі я быў мала, і камандзіроўкі ішлі бясконца. Расоны і Дрыса. Глыбокае і Ушача. Асвея і Ветрына. Я бачыў вёскі, што не адбудоўваліся, і вуліцы іх зарасталі альхоўнікам — усіх жыхароў фашысты знішчылі. Бачыў жанчын, якія басанож па вясновай слоце неслі на сваіх плячах мяшэчкі з насеннем са станцыі, — а да станцыі той кіламетраў сорак! Бачыў, як гэтыя жанчыны, запрогшыся па чатыры ў плуг, аралі поле. Я сам цягаў гэты хамут. Я бачыў, як моршчыўся дзябёлы, добра ўкормлены амерыканец (амерыканская дэлегацыя была на Асвейшчыне ўлетку сорак шостага), адліваючы з кацялка ў бутэлечку крыху шчаўніку, чорнага, як зямля, нічым не запраўленага. Тады ў калгаснікаў не толькі Асвейшчыны была такая ежа. Я бачыў слёзы маці, горкія слёзы, калі сястра абярнула чыгунок з капустаю. Чыгунок быў ладны — ежа на ўвесь дзень! — і капуста была прыпраўлена маленькімі, як касячкі медзяныя, кавалачкамі сала. Абярнуць такі чыгунок! Хіба прыдумаеш горшую бяду!.. Бачыў мізэрныя кавалачкі хлеба па картках, бачыў ордэры, па якіх давалі тры метры чорнага сукна на год».

Все эти впечатления пригодились позже, когда всерьез занялся литературой, а тогда делал только первые подступы к ней. В «Бальшавіцкім сцягу» в декабре 1948 года опубликовал свой первый рассказ «Рыбацкае шчасце», а в основном занимался журналистикой. Работая в редакции, возглавил литературное объединение. Это дело также было по душе: «Так мінула, пранеслася незаўважна сем гадоў. І ўсе гэтыя гады я марыў пра сапраўдную вучобу».

Мечта осуществилась, когда узнал — было это весной 1953 года, — что можно поехать в Москву, чтобы учиться в Литературном институте имени М. Горького. В Союзе писателей Беларуси ему пошли навстречу, и дали рекомендацию на учебу. Однако, когда обосновался в Москве, возникли непредвиденные трудности. Поступить-то поступил, но «без інтэрната, без стыпендыі, з абавязковым прадстаўленнем атэстата сталасці да першага студзеня». Пришлось экзамены за среднюю школу сдавать экстерном.

Институт окончил в 1958 году и сразу поступил в аспирантуру при нем, уже серьезно занимаясь творческой работой. Поездка на строительство Братской ГЭС подсказала тему повести «Кедры глядзяць на мора» (1960). Через два года увидела свет повесть «Пасля паводкі». В это время, через год после окончания аспирантуры, вернувшись в Беларусь, заведовал редакцией в издательстве «Ураджай». С 1962-го по 1969 год работал ученым секретарем Литературного музея Якуба Коласа, после чего и перешел в аппарат ЦК КПБ, где заведовал сектором художественной литературы по 1973 год.

О том, что хорошо знает

Повесть, давшая название первой книге А. Савицкого «Кедры глядзяць на мора», была написана еще четырьмя годами раньше. Рассказывается в ней о строительстве Братской ГЭС. Однако, хотя в основу произведения и положен не белорусский материал, главным героем повести является белорус Пятрусь Коваль. Он — человек непростой судьбы. В молодости Пятрусь оступился. Провел три года в тюрьме и теперь, по сути, начинает свою жизнь заново. Во всяком случае, должен ее начать. Только не все так легко дается, как кажется на первый взгляд.

Дело не только в том, что груз прошлого тяготеет над Ковалем. Пятрусь, как говорится, человек с характером, при этом часто этот характер проявляется не с лучшей стороны. Поэтому у главного героя повести так непросто складываются отношения и с Полиной, которую он полюбил. К счастью, преодолевая трудности, в том числе и внутреннего характера, он начинает всерьез задумываться над тем, как быть и как жить дальше: «Раней ён не думаў пра гэта. Падзеі ў яго жыцці набягалі адна на адну, сутыкаліся, віравалі і не было ні часу, ні жадання разважаць і шукаць тое істотнае, што прыносіць задавальненне і адчуванне ўласнай годнасці. А можа, ён гэту годнасць страціў назаўжды: чалавеку, які прайшоў турму, нельга разлічваць на тое, на што можа разлічваць чалавек з біяграфіяй чыстай, які ідзе правільным шляхам з самага маленства?»

Это копание в самом себе не проходит бесследно. Коваль, оставивший было стройку, находит в себе мужество вернуться обратно, участвует в перекрытии Ангары, становясь человеком нужным обществу, формируется как личность.

Повесть «Кедры глядзяць на мора» появилась после того, как писатель уже приобрел определенный опыт прозаика, написав несколько рассказов, которые позже вошли в его книгу «Белы гарлачык» (1965). Рассказ, давший название ей, один из лучших в сборнике. На не сложном сюжетном материале А. Савицкому удалось глубоко раскрыть характеры персонажей.

Удался автору образ девушки Полины. Она не считает себя привлекательной, вследствие чего ведет закрытый образ жизни, сторонится молодежи, остается замкнутой. Но так продолжается до того времени, пока она не познакомилась с Витькой. Парень понравился ей, после чего девушку стало не узнать. Но его грубость оттолкнула Полину. К счастью, Витька понял, что обидел девушку и, чтобы вернуть к себе ее расположение, появился перед ней с белыми кувшинками. Сердце Полины оттаяло... Сюжет, конечно, не хитрый, но разве не из таких историй и состоит жизнь?

Да и другие рассказы книги также о том, как важно не проглядеть человека даже тогда, когда он совершил какой-то проступок, а тем более тогда, когда его дальнейшая судьба зависит от того, как ты отнесешься к нему. Именно такая ситуация положена в основу рассказа «Мітуліца». Главная героиня его Анна разошлась с мужем, начала встречаться с другим мужчиной, но вскоре поняла, что новый ее избранник Василь совсем не такой, каким он показался ей. Выход женщина нашла в возвращении обратно в семью, где ее присутствие было очень нужно: муж Роман запил, находился на грани деградации. Одной Анне оказалось под силу спасти его от дальнейшего нравственного падения.

Обе ситуации очень правдивые, потому что жизненные. Важно и то, что молодой писатель не опускался до нравоучений. Он в какой-то степени оставался как бы наблюдателем того, о чем рассказывал, но не безучастным к судьбам своих героев. Это обстоятельство привлекало к его произведениям «малого жанра», а у читателей, постоянно следивших за новинками литературы, равно и как интересующимися творчеством определенных писателей, вызывало и желание познакомиться с крупными прозаическими произведениями автора, которого они успели полюбить.

Ожидания читателей А. Савицкий оправдал в 1962 году, написав свой первый роман «Жанчына». Правда, если говорить честно, это произведение все же не стало его творческой удачей. Причина, конечно не в том, что, как отметили некоторые критики, у романа претенциозное название, не в том, что сюжетная основа произведения новизной не отличается: молодая жена, студентка-заочница Стэфа уходит от мужа на частную квартиру, а потом одна воспитывает ребенка.

Вся беда в том, что А. Савицкий несколько прямолинейно подошел к раскрытию характера своей героини. То, что она, уже умудренная опытом и понявшая, что все же любит Михася, хорошо. Однако рассуждения Стэфы, о том, что и любви надо учиться, в общем-то, хотя и правильные, все же чрезмерно «книжные»: «А калі вучацца — тады і падаюць, і разбіваюць насы, і бывае балюча і непрыемна, калі адчуваеш, што зрабіў не так, як трэба. Каб быць моцным і перамагчы, трэба мець сілы адкінуць ад сябе тое, што перашкаджае ісці да мэты. І, відаць, ніхто не можа ўведаць гэтую важную навуку жыцця без болю і змагання са сваімі слабасцямі».

Но, несмотря на некоторые просчеты, А. Савицкий все более уверенно вписывался в современный литературный процесс. На ошибках, как известно, учатся. Однако правильно и другое: если талант жизнеутверждающий, просчеты выглядят как нечто случайное и не характерное, а новые произведения позволяют автору наверстать упущенное, выйти на новые творческие рубежи.

Так и получилось у А. Савицкого. Его повесть «Самы высокі паверх», образно говоря, стала и новым этажом в его литературной биографии. Алесь Онуфриевич рассказал о строителях одного из белорусских городов, в котором угадывается Новополоцк. Этим произведением в свое время зачитывались в родных местах писателя буквально все. Некоторые узнавали себя, а кто не узнавал, как бы примеривались к поступкам героев, которым симпатизировали, одновременно осуждая тех, кто жил не так, как нужно.

Роман «Палын — зелле горкае» (1967) — также из тех, в которых силен жизненный потенциал, создано немало ярких и правдивых характеров, отражена действительность на значительном временном отрезке, а, в первую очередь, показана жизнь деревни. Конечно, при желании можно упрекнуть автора в некоторой лакировке действительности, но это можно сделать только в том случае, если ко всему отнестись предвзято. А если подойти объективно, то очевидно, что колхоз «Партизан», в котором и вокруг которого в романе происходит действие, — один из лучших, а на лучшие хозяйства всегда нужно было равняться. А еще следует пропагандировать их работу, что и сделал А. Савицкий в своем романе, но, следует отдать ему должное, не обошел и острых моментов действительности, также правдиво показывая и тех, что своими действиями только создавал видимость работы.

На войне как на войне

И все же наиболее весомое слово А. Савицкий сказал, осмысливая события Великой Отечественной войны, что особенно видно по его романам. Среди этих произведений и роман «Зямля не раскажа» (1980), посвященный жизни мирного населения во время оккупации. В центре произведения судьба Ренаты, жены кадрового военного. Муж ее уже находился на фронте, когда она вместе с детьми

вынуждена была под бомбежками эвакуироваться из одного из белорусских городов на Витебщине. Случилось так, что на последний отходящий поезд опоздала. Дальше — хуже того. Некто Смаль, вывозивший беженцев, высадил Ренату с семьей посреди леса. Да и чего можно было ожидать от того, кто вскоре пойдет на службу в полицию. Показал и доказал, кто ныне хозяин.

Многое придется пережить Ренате, не однажды смерть будет и ей самой смотреть в глаза, да и забирать близких ей людей. Но самое страшное впереди. Придется и ей погибнуть. Произойдет это уже после того, как Рената, находясь в отряде, будет печь для партизан хлеб. Попав в руки врагам, она мужественно перенесет все пытки, ни Смалю, ни немцам не расскажет, где спрятано продовольствие.

Уже краткого пересказа содержания романа достаточно для того, чтобы убедиться в том, насколько крепко завязаны сюжетные узлы произведения. Однако, конечно, не менее существенно и иное, то, что приобретает главенствующее значение. А. Савицкий в романе «Зямля не раскажа» сумел посмотреть на войну глазами самого народа. Но не тех, кто находился на фронте, а через восприятие ее мирным населением: женщинами, стариками, детьми. Раскрывая всю драматичность их положения, а иногда и трагичность, он, вместе с тем, показал и то, что попадает под определение «дух народный», а поскольку в Великую Отечественную войну, он был как никогда силен, то и выстояли, победили человеконенавистническую орду. Конечно, в этой победе — и то, как повела себя Рената и другие — это только толика подвига народного, но разгром фашизма приближали и простые люди. О них так убедительно, с такой болью в сердце и с огромным чувством гордости, и рассказал в этом произведении писатель-фронтовик.

В неменьшей степени свой вклад в отображение темы Великой Отечественной войны он внес трилогией, состоящей из романов «Верай і праўдай» (1976), «Літасці не чакай» (1982), «Памерці заўсёды паспееш» (1983). Из-под пера А. Савицкого появилось масштабное художественное полотно, в котором изображена семья рабочего-полочанина Елисея Крупни, прошедшая через военные испыта-



Алесь Савицкий с ветеранами Великой Отечественной войны.

ния, если можно так выразиться, от звонка до звонка, она выступает типичным примером того, насколько в годы войны вся страна стала единым фронтом. Понятно, что не все из семьи Крупни дождались разгрома немецко-фашистских захватчиков, но все они пример тому, как нужно вести себя в наитяжелейших условиях. Поскольку трилогия — произведение многоплановое, в нем не один десяток действующих лиц, что еще больше подтверждает правильность мысли о том, что А. Савицкий и на этот раз посмотрел на войну глазами самого народа.

Не менее мастерски написан и роман «Верасы» (1985), в котором особенно убедительным получился образ главной героини. Студентка четвертого курса Московского медицинского института Наста лето сорок первого года проводила у матери в городе Полоцке, где девушку и застала война. Как и Рената, она во время эвакуации отстала от эшелона. Вместе с несколькими военными вышла из окружения, потом осталась в лесу с ранеными, стала лечить их. Между ней и командиром этого небольшого отряда Грачем вспыхивает любовь, но Грач принимает решение догонять фронт... Когда он, возглавив специальную разведовательно-диверсионную группу возвращается, Насты уже нет в живых: она была смертельно ранена, вступив со своими товарищами в бой с фашистами.

Точно подметила известный литературовед и критик Татьяна Шамякина: «...раман «Верасы» выявіў найбольш моцныя бакі Савіцкага-мастака. Чалавек і свет тут разглядаюцца на мяжы двух стыхій — быцця і быту. Быццё — жыццё прыроды, адзінай абаронцы групы людзей, якія апынуліся ў неверагодна складанай сітуацыі, а таксама і каханне як самае прыгожае з чалавечых пачуццяў, што разгортваецца на фоне роднай прыроды. Быт — імкненне людзей выжыць, нягледзячы ні на што...»

Безжалостной, беспощадной правдой войны наполнен и роман «Обаль» (1989) — документальный в своей основе, героями которого являются реальные люди, подпольщики Зина Портнова, Фруза Зенькова, Микола Зеньков, Аркадий Барбашев и другие. Это произведение очень дорогое Алесю Онуфриевичу, поэтому в 2013 году оно и переиздано в РИУ «Издательский дом «Звязда». Да и с интересом читается современной молодежью, о чем засвидетельствовал открытый урок, проведенный с учениками десятых и одиннадцатых классов в гимназии № 25, которые близко к сердцу восприняли подвиг, по существу, своих ровесников, мужественно сражавшихся с врагом. Тепло было встречено выступление самого автора. Особенно впечатлило в этом слове-исповеди такое признание А. Савицкого: «З тых людзей, што на ваеннай фотакартцы, уцалеў толькі я адзін. Відаць, небам было так наканавана. Маўляў, няхай гэты застанецца жывым, стане пісьменнікам, раскажа людзям, што такое вайна. Раскажа, як гэтая страшная бяда ламала людзей слабых і як загартоўвала моцных, як у душы чалавека вырастала любоў да свайго краю, сваёй Радзімы. I гэта было адзінае, што мацней за кулю, за снарад — мужная душа чалавека. Сёння яна вельмі нам патрэбна».

Тугие узлы... любви

Что касается романа «Тры непражытыя дні», то он к читателю снова пришел только в 1979 году, когда вышел отдельной книгой в издательстве «Мастацкая літаратура». Правда, под названием «Толькі аднойчы». Вряд ли была необходимость снимать в нем отдельные эпизоды, но произошло то, что произошло. И, пожалуй, нет необходимости обращаться к первоначальному варианту. Тем более что и в новом варианте роман читается с интересом, а образы главных героев — рабочего-экскаваторщика, он же «капітан спартыўнай каманды, трэнер... І якой каманды! Зайздросцяць любыя прафесіяналы!» — Дениса Сушко и молодой женщины Гиты Найденок привлекают психологической углубленностью в раскрытии их чувств.

Писатель идет от самой жизни, убедительно показывая, как мимолетная встреча может многое изменить в судьбе человека. Именно так и произошло

с Сушко. Увидев в вестибюле гостиницы незнакомую женщину, сразу почувствовал, что должен с ней познакомиться. Нет, Денис совсем не из тех, кто готов волочиться за каждой юбкой. Просто сказалось долгое одиночество, когда нет рядом того, кто разделил бы твои мысли, с кем можно посоветоваться.

«Сошлись два одиночества»... Кажется так сказал Михаил Луконин в одном из своих стихотворений. Если Гита еще как-то сдерживает свои чувства, держит их в себе, видимо, потому, что замужем, имеет сына, то Сушко ведет себя иначе. Ему хочется раз и навсегда покончить с одиночеством. То, что было раньше, для него не так и важно. Главное — в дне сегодняшнем, а он такой радостный, солнечный, счастливый: «Ён зусім не думаў пра мінулае Гіты, не думаў, хто яна і як склалася яе жыццё да сустрэчы з ім, да гэтага дня; ён марыў пра будучае, пра тое, як ім, яму і Гіце, цяпер будзе добра, як зусім інакш павернецца яго лёс, і павернецца дужа шчаслíва, дужа добра — ён будзе цяпер жыць дзеля сумеснай, агульнай радасці, каб яна, Гіта, была гэтак жа шчаслівая, каб яна паверыла ў тое, што ўсё ранейшае жыццё — і яго і яе — было толькі падрыхтоўка да гэтага дня, да гэтай іх сустрэчы тут, на беразе Мінскага мора, сустрэчы зусім неспадзяванай і нечаканай і разам з тым вельмі ж абавязковай і патрэбнай, як паветра, ім абоім...»

Чем больше дает Сушко волю чувствам, тем больше убеждается, что с момента этой встречи возрастают и обязанности. Потому что уже не только сам по себе живет он на земле. И живет не ради одной любимой женщины: «Ён, Сушко, нясе цяпер усю адказнасць за лёс Гіты, значыцца, за лёс яе сына, маленькага хлопчыка, якога ён ніколі не бачыў, але які таксама дарагі, як і Гіта».

Можно и нужно понять главного героя в этот момент наивысшего для него душевного озарения. Понять не только как влюбленного, но и как человека искреннего, щедрого, удивительно открытого и в тоже время очень и очень доверчивого. Однако именно эта чрезмерная доверчивость и не на пользу ему. Вся беда в том, что Сушко не способен почувствовать ту грань, которая отделяет увлеченность от любви, не может и в мыслях предугадать, что впереди придется еще столкнуться и со сложностью будней. Гита как женщина (ко всему замужняя) в этом смысле куда более осторожная.

Конечно, она постепенно дает волю чувствам, тем более, как вскоре выясняется, своего мужа она не любит, вышла за него замуж «назло» своему прежнему любимому, который женился на другой. Однако она, как никто другой, понимает, что не так просто отважиться на некий категорический шаг, чтобы разойтись с мужем и начать жизнь наново. Знает, семейный узел не так и просто разорвать. Но Денис, в отличие от Гиты, куда более реально смотрит на их взаимоотношения: «А ў чым ён, гэты вузел? Ты кахаеш Гіту. Яна кахае цябе. І ты перакананы: там, адкуль Гіта прыехала, яна не была шчаслівая, шчаслівая яна была толькі з табою, і толькі з табою будзе шчаслівая! Перакананы? Так, перакананы! Значыцца, няма, не існуе ніякага вузла! Чаму няма? Толькі таму, што ты гэтак катэгарычна адказаў сам сабе? Але ж ці зможаш ты адказаць з гэткай жа катэгарычнасцю кожнаму, хто раптам нешта папытае ў цябе? Кожнаму? А кожнаму ён і не абавязаны адказваць. Ён павінен адказваць толькі тым людзям, да якіх Гіта едзе заўтра...»

Осмотрительность, оказывается, очень и очень необходима. И в этом Денис Сушко убедился, когда неожиданно приехал в город, в котором жила Гита, посетил ее. Ехал с твердой уверенностью: теперь их дороги навсегда сойдутся. Его, Гиты и ее сына. А что Гита ответит взаимностью, нисколько уже не сомневался. Оставила же она после отъезда магнитофонную ленту, где записаны ее размышления о любви, которая приходит только однажды. Приходит, но также легко может и исчезнуть. Или раствориться в тех же самых буднях... Или перед ними «остановиться». В отношении Гиты как раз происходит последнее. При встрече она «не кінулася насустрач, і Сушко збянтэжыўся. Перад ім стаяла Гіта, якую ён не пазнаваў, яна была зусім не падобная на тую жанчыну, якая паехала тады з Мінскага мора...» Гита многое передумала после возвращения домой. Передумала и убедилась в том, что саму жизнь нельзя обманывать.

Пусть это резко звучит. И грубовато. Да ничего уже не поделаешь. За этой грубоватостью и резкостью мудрость Женщины, способной на жертву собственной любовью ради будущего сына. Как приговор звучит: «Ты можаш быць добрым... айчымам. Ніякім не бацькам. Бо бацька — гэта зусім іншае. Я вырасла без бацькі. І я ведаю гэтую горыч. Павер мне, ведаю!» Имеет в виду собственного сына, маленького Юрасика... А ошибки в любви? Прежде всего, собственные. Да и та из них, которая была связана с тремя непрожитыми днями. Непрожитыми ею, Гитой Найденок, и им, Денисом Сушко.

Роман «Толькі аднойчы» появился у А. Савицкого не на голом месте. Со всей остротой проблемы нравственной ответственности каждого за свои поступки были раскрыты и в повести «І нічога ўзамен» (1971). Героиня этого произведения, недавняя выпускница медицинского института, полюбила женатого мужчину. Также, как видим, возник любовный треугольник. С той только разницей, что Валера не находит взаимопонимания со своей женой. Он, как и Денис Сушко, готов поставить точку в своем прошлом, начав жить по-новому. Его теперешняя любовь Галина, от имени которой и ведется рассказ в повести, также вроде бы придерживается такого мнения. Однако, трезво взвесив все, вскоре приходит к тому, что не имеет никакого права разрушать чужую семью.

Казалось бы, в таком решении нет никакой логической мотивировки. Семья Валерия ведь существует только формально. Он и Рита — давно чужие люди. О таких говорят, что они встретились случайно. Хотя, думается, говоря любимому: «Бывай!», Галина руководствуется вовсе не правилом «стерпится-слюбится». Просто она не желает свое счастье строить на чужом несчастье. И в этот момент своего рода любовного аскетизма раскрывает свои лучшие качества. Прежде всего, те, которые свидетельствуют о ее благородстве. Она признается «Я хачу цябе кахаць, я кахаю! Павер мне, што гэта сапраўды так», но тут же добавляет: «Але цяпер я ведаю, што ў каханні ёсць свае законы, свае правы, свае межы...»

Героиня этой повести, как и Гита Найденок, действует решительно. «Сжигает» за собой все мосты, «адкінуўшы свой эгаізм, не патрабуючы нічога ўзамен». А почему бы и не поступить так, если иного выхода нет и необходимо как можно быстрее принять окончательное решение, расставив все точки над сомнениями. Подводя своих персонажей именно к подобному выбору, А. Савицкий взвешивает все «за» и «против», психологически выверяя каждый их шаг. Часто использует внутренние монологи, лирические отступления, чтобы достичь еще большей правдивости и убедительности. Чтобы и в самом деле все было как в жизни. И в то же время чтобы чувствовалось, что все это не легкое чтиво, а сегодня именно таких произведений появляется немало, а проза наполненна глубокими человеческими чувствами.

«Врослый» мир детства

Ярко заявил о себе Алесь Онуфриевич и как детский писатель. Повести-сказки «Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка», «Прыгоды Муркі» и «Дзівосы Лысай гары...» издавались и отдельно, а потом в переводе самого А. Савицкого пополнили «Библиотеку Союза писателей Беларуси» (2007). По прочтении их сразу же возникает ассоциация — это что-то наподобие известной трилогии Николая Носова «Приключение Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Понимаю, что любое сравнение, особенно если это касается литературы, всегда в чем-то «хромает». Готов услышать и упрек от тех, кто хорошо знаком как с произведениями самого А. Савицкого, так и с тем, что написано Н. Носовым, что повесть и роман Н. Носова объединены одним героем, а у А. Савицкого связь между отдельными произведениями куда более условная, хотя, скажем, у героини девочки Саши с «Радасці і нягод залацістага карасіка» много общего с Алесей, которую можно встретить в других его повестях. Да и кот Маркиз герой не одного произведения.

Это, конечно, так, но, тем не менее, есть все основания проводить подобную параллель. Поскольку тому, что написано А. Савицким, и тому, что появилось из-под пера Н. Носова, легко найти один знаменатель, который сводится к следующему: талантливо! И это при том, что, как известно, Н. Носов полностью посвятил себя детской литературе, а Алесь Онуфриевич — больше писатель «взрослый», хотя юным читателям, кроме названных его произведений, адресована его книга «Шкляная нітка», а также повести «Скажы мне праўду» и «Белая знічка».

Талант такое уж загадочное явление, что никогда заранее не знаешь, в каком направлении он себя еще проявит. Тем более, в какой творческой области лучше раскроется. Так меня, когда я читал повести-сказки А. Савицкого, не оставляло ощущение той новизны, с которой он создает мир детства.

Мир этот богат, в нем возможно все. Многое из чего мы, взрослые, не замечаем. Точнее, нам не хватает времени, чтобы его заметить. Писатель же об этом должен помнить постоянно. Поэтому в повестях-сказках А. Савицкого столько занимательного, так много необычного, так часто случаются неожиданности. Да и разве может быть иначе, если все то, о чем он рассказывает, и есть настоящие чудеса.

Взять хотя бы первую повесть-сказку. Начинается она просто: «Ласковое и простое имя — Бублик — золотистый карасик получил в день своего рождения». Начало-то простое, но одновременно и интригующее, поскольку так и или иначе хочется скорее узнать, почему карасика назвали именно Бубликом. Да и откуда он взялся, такой золотистый, если этот вид рыбы совсем иной окраски. Со временем возникнут и другие вопросы, что сами по себе уже будут развивать фантазию детей, поспособствуют их внимательному отношению ко всему тому, что происходит вокруг.

В сажалке (именно так в этих местах называют пруд), которая является родным домом Бублика, на всех наводит ужас щука, которую неслучайно зовут Зубастой. Самим воплощением добра является карась Горбок. Да и другие жители Черемуховой заводи, или, как ее еще называют, Белой, со своими привычками, со своими характерами.

Найден очень удачный художественный прием, чтобы по-своему как бы соединить жизнь людей и тех, кто обитает в Черемуховой заводи. Девочка Саша, спасшая Бублика и выпустившая его в воду обратно, сама превращается в рыбку. Происходит это благодаря удивительному жуку, который сам о себе говорит так: «Я не жук, дорогая девочка Саша. Я водяной Малиновая бусинка. Я единственный волшебник. Последний в этих местах». Благодаря ему и происходит превращение девочки в рыбку. Саша в этой роли много помогает своим новым друзьям, среди которых, конечно же, самый лучший и надежный друг — Бублик, они наводят в заводи порядок, проучив как следует агрессивную Зубастую щуку.

В повести-сказке «Приключение Мурки» повествование ведется от имени самой героини, а это «рыжеватая кошечка с белым колечком на черно-буром хвосте». Мурка потерялась и ищет дорогу домой. Она признается: «Моя исповедь честна и правдива. В ней — мой горький опыт, желание уберечь вас от ошибок, шагов торопливых и необдуманных... В ней — твердое убеждение, что беду не всегда предугадаешь. Но уж если пришла она, беда большая или малая, нельзя отчаиваться. И нельзя терять мужества, оно необходимо каждому из нас на крутых житейских поворотах».

Как и в предыдущем произведении, А. Савицкий создал целый ряд героев, а это представители фауны, на этот раз лесные жители, с которыми встречается кошечка. Каждый из них по-своему примечателен. Как это и бывает в сказке, в конце концов, все хорошо заканчивается.

Из всех трех произведений наиболее реалистична заключительная часть этой трилогии: «Женя, Линда и Рык». В этой повести-сказке рассказывается о том, насколько изменился мир в глазах мальчика Жени после того, как, наконец, у него дома появилась собака. Однако и в этом случае не обошлось без сказочных элементов. Сказка врывается в словесно-образную ткань произведения после того, как автор наделяет четвероногих персонажей способностью не просто

говорить, но и рассуждать над многими проблемами. При этом А. Савицкий не забывает, что главными его читателями будут школьники, поэтому, как и все его повести-сказки, «Женя, Линда и Рык» — пример тому, как нужно писать для детей. Правильно: как для взрослых, но только лучше. Отсюда и уже названная занимательность, однако, вместе с тем, писатель старается психологически глубоко постигать и мотивировать поступки и поведение своих персонажей, независимо от того, кто это — главный герой мальчик Женя, его родные, школьные товарищи, или собаки Линда, Рык и другие «братья наши меньшие».

В повести «Белая знічка» А. Савицкий в который уже раз обратился к событиям Великой Отечественной войны, а если быть конкретнее, — перевернул еще одну страницу своей боевой юности. В этом произведении, правда, нет фактов из его личной жизни, но это ни в коем случае не уменьшает достоверности того, о чем рассказывается. Нечто подобное было с друзьями А. Савицкого, которые, несмотря на свой совсем юный возраст, взяли в руки оружие, чтобы сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них были и такие, как Михась, который вместе со старым Ахремом ищут в лесу тайник, в котором в начале войны подросток спрятал оружие. Но им не повезло: напоролись на фашистов. Ахрем, спасая своего юного товарища, погибает, а Михась...

Неизменно оставаясь мастером острого, динамического сюжета, А. Савицкий строит в своих произведениях действие так, что завершение произведения всегда неожиданное, но, вместе с тем, психологически выверенное. Повесть «Белая знічка» — не исключение. Михась, переживая гибель Ахрема, на многое смотрит по-новому, все больше и больше убеждаясь в том, как много сделали для него другие, от многого предостерегали его, а то и спасали. Теперь настало время за все платить: «Двойчы ты, дружа, уцякаў ад бяды. Дзе ж уцякаў! Цябе другія ратавалі! Ахрэм на тым пагорку ахвяраваў сабой, даючы табе магчымасць уцячы... У другім выпадку табе дапамог Лёнік, галёкнуў, на сябе кулямётныя чэргі адцягнуў... Цяпер твая чарга, дарагі дружа! Твая чарга падышла ратаваць сяброў». Но Михась к этому уже готов, остается только проявить решительность. Когда немцы заставляют его вести их к месту дислокации партизанского отряда, он поворачивает туда, где находится заминированный участок.

Это произведение как бы перекликается со «взрослой» повестью А. Савицкого «Узаранае поле», написанной в 1975 году, в основу которой положена ситуация в чем-то близкая этой. Во время посевной партизаны решают помочь мирному населению, провести эту важную сельскохозяйственную компанию. Молодой боец Олег оказался в хозяйственном взводе, из-за чего очень обиделся, ведь считает себя опытным разведчиком, убежден, что его место не на поле. Однако бывалый партизан Гонта мыслит куда мудрее: «Садзіць бульбу пад самым, як гаворыцца, носам у немцаў! Гэта і смела, і дзёрзка! Гэта ўжо сапраўдная справа! І рызыкоўная!» Тем самым он убеждает своего младшего боевого товарища в том, что в борьбе с врагом нет большого и главного дела. Главное — чтобы приближало Победу. Сказанное Гонтом помогает Олегу иными глазами посмотреть на задание, порученное ему. Они завершают то, что от них требовалось, но погибают, ибо с противоположного берега их заметили немцы и окружили. Однако гибель эта одновременно и путь в бессмертие. Глубокий смысл приобретают слова опытного партизана, сказанные Олегу как утешение: «Свой бой, братачка, мы выйгралі. І вялікую справу зрабілі. І людзі гэтае поле памятаць будуць».

Что касается повести «Скажы мне праўду», то она рассказывает о старшеклассниках, их учебе. Одновременно и об их проблемах, ибо такой возраст не простой, до всего хочется дойти самому, иметь собственную позицию. Отсюда и постоянные конфликты со взрослыми. В который раз А. Савицкий повествование ведет от имени юной героини, что дает хороший результат. По сути, исповедуется девятиклассница. Но она, как видно из повести, уже взрослый человек, который не принимает фальши, обмана и не терпит чрезмерной опеки.

Душа наизнанку

Алесь Онуфриевич из тех людей, которые после развала Советского Союза не изменили своим взглядам, не заметались, пытаясь доказать, что они в чем-то прозрели, а остались верны идеалам молодости, ориентирам, являющимся для них путеводной звездой на протяжении всей жизни. Но, как точно сказал один из классиков марксизма-ленинизма, «жить в обществе и быть свободным от общества невозможно». Даже для самых непоколебимых граждан наступило время некоторой переоценки ценностей, появилось желание разобраться в том, что было и что произошло. Не в смысле того, чтобы от всего отречься, а ради того, чтобы по-прежнему жить, не кривя душой.

Такими раздумьями и наполнен роман А. Савицкого «Письмо в Рай» (2003). Сам писатель называет его романом-исповедью, что соответствует истине. Главный герой Андрей Смолич, который одинаково хорошо раскрыл свои творческие возможности и как писатель, и как журналист, он исповедуется, как жил и чем жил. Более того, настолько искренен и открыт, что, по сути, выворачивает наизнанку свою душу, ничего не пряча. Даже того, в чем, казалось бы, можно и не признаваться. Однако он понимает, что недоговоренное вряд ли пойдет на пользу в этой исповеди, ибо исповедуется, прежде всего, перед близким человеком — отцом. Судьба его такая, что и врагу не пожелаешь: Онуфрий Смолич погиб в гулаговском застенке. К отцу и обращается сын через расстояния и пелену времени, отправляя письмо в Рай:

«Даруй...

Даруй мне, татка родны...

Даруй мне, мілы бацька мой, даруй...

Гэтае маленне студзіць сэрца штораз, калі ўглядаюся ў тваe вочы на фотакартцы, якую ты збярог у фашысцкім палоне. Цяпер давяраю яго паперы і дасылаю табе ў Рай. Перакананы, што ты цяпер там, бо кожнаму на згоне жыццёвага шляху на зямлі небам дараваны толькі дзве дарогі — альбо Рай, альбо Пекла. Пекла ты адбыў тут, на зямлі. А двойчы туды, як кажуць мудрыя людзі, трапіць немагчыма».

Ад Онуфрия Смолича — все те семь кругов, через который прошел ни в чем неповинный человек. Да и откуда той вине было взяться. Как только немецко-фашистские захватчики напали на Советский Союз, он, не задумываясь, взялся за оружие: «У сорак першым быў паранены на правым беразе Нёмана, непадалёк ад Гродна. Апынуўся ў палоне, і за гэта быў асуджаны на пяць гадоў, трапіў на востраў Пуцяцін, што на Далёкім Усходзе. Пра гэта і паведаміў сам блізкім у лісце. Нічога не ўтаіў, усё расказаў, роспачна прызнаўшыся: "І ведайце: мая віна толькі ў адным — не збярог і паспеў спаліць фінансавыя дакументы штаба, і не застрэліўся, бо барабан майго нагана быў пусты — усе кулі я паслаў па ворагу"».

В том, что никакой вины отца нет, Андрей Смолич, как и все его близкие, ни на минуту не сомневается. Поэтому сразу же берется за восстановление справедливости. Однако где искать ее? Молодой, но уже не раз закаленный в боях, он убежден, что адресат есть один. Конечно же, отца может освободить самый справедливый человек на земле. Это, в чем не однажды убеждали Андрея, как и всех советских людей, Сталин. Поэтому Смолич и отправляет письмо «вождю всех народов», наивно полагая, что тот справедливо во всем разберется.

Ошибается юноша, еще как ошибается! Ничего не дает не только это письмо, но и последующие. А потом.... В это невозможно поверить, однако, что произошло, то произошло. Работая со своей бригадой на выгрузке леса с парохода, его отец стоял у самого борта. Матрос неожиданно включил лебедку, и крюк весом до пуда ударил бедолагу. Об этом сообщил Андрею некто Филяев, который в письме назвался «товарищем по работе» Онуфрия Смолича. Случайность на выгрузке произошла? А может... Андрей постепенно убеждается: «Ліставанне іх (начальство лагеря. — **А. М.**) напалохала... Сябе ратуючы, яны татку пад абух і кінулі...»

Пребывание в лагере, а потом гибель Онуфрия Смолича — это как бы пролог произведения. Понятно, что такое определение условное. Тем не менее, суть которого (имеется в виду действие) сводится к тому, чтобы правдиво показать, как само время начинает преломляться в судьбе Андрея Смолича, а сам он, живя в этом времени, как бы вырывается за его пределы.

Поскольку роман в целом, за исключением первого и последнего разделов, — именно исповедь главного героя, то и повествование ведется от первого лица. Значит, на то, что было когда-то, Андрей смотрит уже с позиции сегодняшнего дня. Давние события воспринимает не так, как воспринимал их тогда, когда являлся их современником. Это выигрышный момент для писателя. Есть возможность позволить главному герою произведения сделать переоценку своей прежней жизни.

Правда, существовала опасность, что автор попытается идеализировать своего Я-героя. Однако этого не произошло потому, что А. Савицкий удивительно честен как в поиске самой правды, так и в стремлении разобраться, насколько поколение, к которому принадлежит Андрей Смолич своей жизнью, своим поведением, соответствовало тем идеалам, к которым оно стремилось, и в какой степени эти идеалы оказались обманчивыми и иллюзорными.

Главный герой романа, как и многие из его поколения. У Андрея Смолича была партизанская юность. Он пережил измену девушки, которая была его первой любовью. Не принесла счастья ему и первая женитьба — женщина, с которой он надеялся обрести семейное счастье, оказалась вовсе не такой, как ему представлялась. Не просто проходила и учеба в престижном московском институте... Зато теперь, на склоне своих дней, он может чувствовать себя счастливым, ибо рядом те, кого он любит и кто любит его. Жалко, однако, что счастье и благополучие достигнуто такой большой ценой, да и многое из прошлого хотелось бы навсегда забыть.

В романе сильны публицистические моменты. В отдельных случаях, пожалуй, их можно было бы немного ослабить, ограничившись внутренней публицистичностью, а то, как в случае с известным высказыванием Даллеса насчет того, как нужно «промывать» мозги советских людей, чтобы «расшатывать поколение за поколением», можно и совсем обойтись. Но это в частности. В целом все как нельзя к месту, когда во всем слышен голос самого писателя-гражданина. Особенно это касается моментов, позволяющих уяснить, как относиться к нашей недавней истории.

Взять хотя бы такое утверждение: «І мінулае ты ніколі не падманеш. Бо яно табе непадуладнае. [...] Яго не зменіш, не пераробіш, не ўпросіш зрабіцца лепшым, прыгажэйшым, у ім ты не выправіш нават дробненькую памылку, ніводнае слова і гук, і ўсе твае апраўданні і маленні яно, тваё мінулае, маўкліва прапусціць гэтак жа, як прапускае вецер расхінутая нахлашч брама. Тваё мінулае заўжды застаецца гэткім, якім яно было».

Поэтому так больно Смоличу, когда негодяи оскверняют памятники и мемориалы: «У большасці сваёй гэта нашы, айчынныя вандалы, пацукі нашае ўласнае гадоўлі, і раскашуюць яны з нашае ласкі, з нашае дабрыні, неабачлівасці, лагоды». Не менее страшен и вандализм духовный. Проявление его, пожалуй, даже в большей степени наносит урон нравственности, извечным идеалам добра и справедливости. Вандалов, осквернивших партизанский мемориал неподалеку от Полоцка, можно наказать, а как быть с разными Антонами Шавлюками?

Антон Шавлюк — внук одного из тех, кто немало учинил беды в годы сталинизма. Конечно, за деда он не отвечает, однако «чалавек новага і ўчэпістага пакалення», Шавлюк, хотя и любит порассуждать (иногда и правильно) о том, в частности, как развивать бизнес, но ничего святого за душой не имеет. Он без зазрения совести греет руки на издании книг бывших гулаговцев. Да и откуда появиться сомнению насчет того, насколько нечистоплотен его поступок, если свое отношение к воспоминаниям тех, кто пережил сталинизм, он высказал до этого: «Кніга Філяева выдадзена, помнікам героям яе можна лічыць. А хто і як

на яго будзе маліцца — нам тое ведаць не дадзена. У дзеда была свая праўда, у нас — свая. І гэта нязменна: новыя пакаленні жывуць па сваёй праўдзе. Так што эпас нашага дзеда ўжо нічога не зменіць».

Как будто и придраться не к чему. Однако так кажется только на первый взгляд. С точки зрения самого Шавлюка и ему подобным. Только есть еще правда, которая забвению времени неподвластна — правда поколения Андрея Смоляка. Правда тех, а это хочется особенно подчеркнуть, кто жил так, как и должен жить честный человек. На зло тем, для кого честь и совесть ничего не значат. Поэтому Андрей Смоляк и взялся распутывать историю судьбы своего отца, а вместе с тем переосмысливать свое отношение к событиям, которые сопутствовали ему на протяжении всей жизни.

Каждое раздумье его — нелегкое и непростое. Однако от этого никуда не денешься, ибо это необходимая духовная потребность. Нельзя вступать в завтрашний день с грязными помыслами, поскольку это непростительно. Андрей Смоляк мог уже не однажды убедиться в том, что и нравственный суд также много значит. Как и над другими, так и над самим собой. Ибо то, что вершится в тебе самом, также важно для общества, поскольку ты являешься его частью: «Тут Антон, вядома ж, мае рацыю: у свеце яны сапраўды нічога не зменяць (имеются в виду гулаговские записи. — **А. М.**). Затое ў маёй душы змянілася шмат: амаль усе падрабязнасці таго, што здарылася са мною (имеет в виду своего отца. — **А. М.**), я цяпер ведаю. Аднак Антонаву выснову — «У дзеда была свая праўда, у нас — свая» — маё сэрца не хоча прыняць і аніколі з ёй не пагодзіцца, калі Яўгенка, мой унук, а твой праўнук, не паставіцца з павагаю да праўды, па якой мы жылі, дык чаго яна, тая наша праўда, вартая? І навошта тады было па ёй жыць, адстойваць яе і за яе змагацца?»

Нельзя не согласиться с Т. Шамякиной: «Раман Савіцкага прасякнуты вялікім гуманістычным, жыццясцвярджальным пафасам. Сцвярджэнне жыцця — як і ў папярэдніх творах — адбываецца як сцвярджэнне дабра, прыгажосці, міру, кахання, сям'і, працы, любові да сваёй зямлі — тых самых каштоўнасцяў, якія маюць універсальны характар і з'яўляюцца ўмовай выжывання роду чалавечага. Уласнае шчасце чалавек павінен бачыць не ў тым, каб шмат чым валодаць, а ў тым, каб шмат што бачыць. Укараненне такой жыццёвай мудрасці праз мастацкую літаратуру заўсёды лічыў сваёй галоўнай місіяй пісьменнік-патрыёт».

* * *

90 прожитых лет — само по себе много. Учитывая такую творческую активность и результативность, как у Алеся Онуфриевича — тем паче. Однако считать года все же занятие не такое и благодарное, как может показаться на первый взгляд. Все радостнее и важнее ощущать, что рядом с нами находится такой прекрасный человек и замечательный писатель. А. Савицкий является своего рода связующим звеном между прошлым и настоящим, он собственным примером утверждает и убеждает, как нужно жить, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Отрадно и то, что у него такая пора, когда весомо чувствуется свой взяток с цветов жизни. Он, взяток этот, сродни тому, который берут трудолюбивые пчелы с вереска, упиваясь его ароматом, и стараясь, чтобы все это благоухание было передано меду. И как пчелы, так не знает отдыха настоящий писатель, у которого его вересковый взяток и так очень весом, но ему хочется, чтобы и дальше он нисколько не оскудел. Алесь Онуфриевич Савицкий относится именно к таким писателям.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

Романтика советской науки[*]

Глава 2

Зов космоса

Свершения человека в космосе и космические мифы

Значительную часть романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» — предмет разбора в предыдущей главе — занимают страницы, посвященные полетам землян к далеким звездам. Человечество в знаменитом романе уже вступило в сообщество Великого Кольца, то есть оказалось в контакте и дружеских отношениях с обитателями иных миров нашей Галактики. У писателя здесь много интересных фантазийных проектов, типа особого горючего для звездолетов — анемезона, «вещества с разрушенными мезонными связями ядер, обладавшего световой скоростью истечения», которое и позволило ракетам летать к созвездиям Млечного Пути. И хотя на самом деле у героев романа — космолетчиков — оказалось невероятно много разных ограничений в их деятельности, и совершенная якобы техника не раз отказывала (а потому фантазии писателя сегодня выглядят наивными), но все равно роман внушал оптимизм, веру в возможность преодоления невероятных межзвездных пространств, звал молодых к познанию загадок космоса.

В самом деле, мы в нашей юности совершенно не интересовались богословскими проблемами и все были атеистами, но безоговорочно верили в возможность и даже скорое освоение безграничных пространств Вселенной. Впрочем, у нас были свои мифы. Обожавшие Юрия Гагарина советские люди не могли в своем сознании принять его гибель в 1968 г. Поэтому возникла легенда, что в аварии он сильно пострадал, от него отказались власти, и он — нищий калека — бродит неузнанным по стране. Тем более, что и знаменитая Ванга поддержала эту наивную, но искреннюю веру, сообщив, что Гагарин не погиб, а «был взят». Куда, кем — непонятно. Но миф и должен быть таинственным, оставляя пространство для чуда.

Представления о Космосе сегодня, по сравнению с годами нашей молодости, кардинально изменились. Нынешние ученые и конструкторы мыслят очень трезво и прагматично: никаких заоблачных фантазий и радужных мечтаний, тем более мистики. Лев Матвеевич Зеленый, директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН говорил в интервью газете «Завтра» (2013 г.): «Космос не создан для того, чтобы там жил человек. Человек — такой, каким мы его знаем, — может существовать при определенных условиях: давлении, температуре, уровне радиации. Большая радиация начинает разрушать клетки, что ведет к гибели человеческого организма. Мы живем в нашем довольно узком диапазоне параметров <...> Пределы экспансии человека существуют, их установила сама природа <...> Когда нас спрашивают о перспективах, мы говорим — дальше Луна. Лет через 15—20, возможно, удастся купировать радиационные проблемы при полетах на Марс <...> А дальше я дороги не вижу».

---

[*]Начало в № 12, 2013 г.

То есть ставятся очень конкретные и реальные задачи на несколько поколений вперед: Луна и Марс. Остальное — с помощью роботов, в дальнейшем, видимо, киборгов. Но не людей.

Мое поколение — свидетель начала космической эры. Достижений масса. В частности, у СССР. Первый искусственный спутник Земли (1957 г.). Первый в мире запуск в космос животных. Первый полет человека в Космос — Юрий Алексеевич Гагарин (1961). Первые в мире снимки обратной стороны Луны, созданный в СССР глобус Луны. Первый в мире вымпел, доставленный на Луну. Первый в мире луноход. Первая в мире орбитальная космическая станция. Первый в мире космический корабль многоразового пользования «Буран».

Техника и методики, которые позволяли достаточно далеко летать, закономерно привели к идее полета на Луну. Причем нельзя сказать, что такой полет — кардинальный *принципиальный* прорыв, феноменальное достижение. Настоящий прорыв — первый спутник, первый полет человека в Космос. А далее — планомерное продолжение наработанных технологий.

Тем не менее, именно Луна всегда была в центре внимания пытливой мысли человечества, считалась *главным и наиболее таинственным объектом неба*.

Еще в древности люди верили в заселенность Луны. Луну считали обжитой арийцы в Ведах, а затем и выдающиеся философы Античности, такие, как Фалес (VII—VI вв. до н. э.), Гераклит (VI—V вв. до н. э.), Анаксагор (V в. до н. э.). Последователи величайшего из философов Пифагора (VI в. до н.э.) утверждали, что растения на Луне намного краше земных, а животные больше в пятнадцать раз. Знаменитый древнеримский (греческого происхождения) писатель Плутарх (I—II вв.), известный как автор жизнеописаний выдающихся людей императорского Рима, рассуждал и о селенитах, то есть жителях Селены (Луны). Римский поэт Лукиан в сочинении «Заоблачный полет» (II в.), пожалуй, первым упомянул полет на Луну. Мыслители Средневековья и эпохи Возрождения были совершенно уверены в населенности Луны. Это, например, утверждал сожженный инквизицией в 1600 году Джордано Бруно, а также выдающиеся ученые Иоганн Кеплер и Галилео Галилей. Так, Кеплер считал кратеры на Луне искусственными. В его единственном художественном произведении «Сомниум» мистика соседствует с поразительными научными наблюдениями. На Луну герой Кеплера попадает с помощью демона (уж не так ли и американцы в XX веке?). Французский писатель XVI в. Сирано де Бержерак, неординарная и довольно таинственная личность, написал книгу «Иной мир, или государства и население Луны», которая поражает силой предвидения будущих, характерных для XX в., технических достижений (трехступенчатая ракета, электричество, радио, телевизор). Еще в начале XIX в. в существовании селенитов был уверен выдающийся математик, которого очень ценил Альберт Эйнштейн, Карл Гаусс.

Луна из всех феноменов неба вызывает наибольший интерес у *оккультистов* и *философов* мира. Конечно же, Луна поражает своими загадками и не случайно о ней писали, ею интересовались интеллектуалы начиная с глубокой древности. Как видно из предыдущего абзаца, многие философы и ученые становились, благодаря интересу к Луне, писателями, у них буйно расцветала фантазия. При этом они не пришли к окончательным выводам относительно заселенности спутника Земли, а передали последующим поколениям некоторую растерянность перед проблемой.

Иногда мыслители отталкивались от народных представлений. В *мифологии* богиня ночного волхвования Селена сопровождала человека до последней черты и продолжала ему светить в царстве мертвых, когда душа покидала разрушенное тело. В *астрологии*, где каждый возраст человека подчинен какой-то планете, с Луной связано умирание, смерть, существование в иной форме.

Известный религиозный философ XVIII в. Эммануил Сведенборг также связывал с Луной мир умерших, причем введенные им термины и его рассуждения поражают удивительным проникновением в тайны человеческой души

(недаром он — предшественник писателей-романтиков). В потустороннем мире, пишет философ-мистик, каждый связан с тем, что царит внутри него. Тот, кто живет в Небесном царстве, царстве Любви и Красоты, обращается к Богу, как к Солнцу; тот, кто живет в духовном царстве, царстве Разума, обращается к Богу, как к Луне; эгоисты же обращаются к мраку и тьме и поворачиваются тылом к Богу, а лицом к аду. Таким образом, Луна, как и Солнце, в философской мысли эпохи Просвещения связывалась все же со светом, но этот свет — не физический, не природный, а духовный, интеллектуальный.

Правда, уже в первой половине XX в. другой необычайно оригинальный философ нетрадиционного направления Георгий Гурджиев выводил теорию о поглощении Луной энергии всего живого на Земле — растений, животных, людей — в момент их смерти. Таким образом, Луна — мощный вампир, выцеживающий жизнь из Земли. Роль, которую отводил Гурджиев спутнику нашей планеты, соотносится с некоторыми мифологическими представлениями, например, индийских Упанишад. Но это не удивительно, поскольку Гурджиев с ранней юности увлекался восточной философией.

Наука также всегда серьезно интересовалась Луной. Большинство современных ученых соглашаются с гипотезой, что Луна — не изначальный спутник Земли, она была и сама частью ее (после отрыва сформировался Тихий океан), что маловероятно, или захвачена в результате глобального космического катаклизма. Кстати, жители Южной Америки и Микронезии сохранили мифы о небе, на котором Луны не было, а явилась она там в сопровождении страшных разрушений на Земле. Жителей счастливой Аркадии античные философы называли «долунными». К слову, некоторые высшие животные (волки, собаки) не терпят полную Луну: воют, глядя на нее. Может быть, их генетическая память как раз сохранила то состояние Космоса, когда не существовало рядом с нашей планетой другой — мертвой?

Луна представляет для науки большую загадку. Например, во время полного солнечного затмения Луна точь-в-точь покрывает диск Солнца. А это возможно только потому, что Луна находится в 400 раз ближе к нам, чем к Солнцу, при этом, как ни удивительно, диаметр Луны именно в 400 раз меньше диаметра Солнца. Этим и объясняются одинаковые угловые размеры Луны и Солнца!

Одна из самых необычных современных научных теорий, принадлежащая российскому ученому Владимиру Ковалю, а затем многократно повторенная другими исследователями, в том числе зарубежными, говорит об искусственном происхождении Луны как спутнике-базе инопланетян или космическом корабле. Действительно, если бы в начале человеческой истории нашу Землю посетили жители иной планетной системы, то они вполне могли бы оставить о себе определенного рода памятник. Он должен был отвечать нескольким условиям. Во-первых, быть долговечным, чтобы дождаться момента, когда заложенные в нем идеи и знания будут восприняты; он обязан всегда привлекать внимание своей необычностью, яркостью, масштабами; он призван нести разнообразную информацию, которая бы активизировала мышление; он должен учить наблюдать, сравнивать, осмысливать полученную информацию — по этой причине памятник способен открываться в новом качестве в соответствии с ростом интеллекта людей и быть многофункциональным; наконец, его искусственность не должна бросаться в глаза, а проявляться постепенно. Всем этим требованиям как раз в полной мере отвечает Луна. Возможно, она — и не искусственное тело, полое внутри, а астероид, который остался после взрыва планеты Фаэтон и был притянут (кем и как?) к Земле. Эта версия нашего белорусского замечательного литературоведа и культуролога Алеся Яскевича. Можно считать ее современным мифом. Ведь миф — далеко не всегда полный вымысел. Великий китайский философ Конфуций считал мифы бывшими когда-то историческими событиями, облеченными фантазией человека в образную форму.

Между тем, есть не менее невероятные, но все же официально признанные научные теории. Так, ученые говорят о квантовании пространства-времени: издавна искался эталон, который одинаково был бы характерен и для пространства, и для времени и который воплощал бы фундаментальные величины в мире. А то, что пространство и время соединены в одном континууме, — неоспоримо. Например, каждому моменту времени соответствует определенная точка в пространстве, причем на орбите любой планеты. На древнем арийском языке — санскрите — «месяц» звучит как «mas», что значит измеритель. Оказывается, путь Луны, которая предстает как единица пространства на протяжении 28,42 суток времени, и есть тот интервал, можно сказать, алгоритм, которым квантуется Солнечная система. Эта величина — ключ к дешифровке всей структуры пространства-времени в Макрокосмосе. Даже в обыденном сознании, да и в истории, Луна — именно *измеритель*, потому что наблюдение за ее изменениями позволило древним людям перейти от короткой меры времени — дня — к более продолжительным — неделе (одна фаза Луны) и месяцу (ее полный цикл).

Уже более пятидесяти лет напряженно следят за Луной японские, австралийские, немецкие обсерватории. В результате их наблюдений в печати появляются просто ошеломляющие читателей публикации. Например, об участке оплавленного грунта около Моря Спокойствия: температура, вызвавшая оплавление, в сто раз больше достигнутой на Земле. Загадочны и знаки на поверхности Луны, например, во многих местах повторяется рисунок, отчетливо видимый в телескопы, — крест в кругу: это самый древний из арийских символов, означающий Древо Жизни. Странные шестикилометровые кресты зафиксированы в кратере Кеплера. Некоторые объекты напоминают технические сооружения, но разрушенные. Есть что-то типа антенн, сигнальных знаков, мостов. Похоже на то, что Луну издавна кто-то обживает, но кто? Астрономы наблюдают появляющиеся время от времени на лунной поверхности струйки какого-то газа; сейсмографы фиксируют постоянный сигнал, исходящий из глубины Луны, словно там работает некий прибор, запрограммированный посылать сигналы в Космос. Еще в 1970-е годы самый авторитетный советский астрофизик Иосиф Шкловский осторожно согласился с мнением романтиков от науки, что Луна может быть потерпевшим аварию космическим кораблем, посланным в нашу область Космоса далекой цивилизацией.

Сегодня группа авторитетных американских ученых и астронавтов требуют от Конгресса США опубликовать их наблюдения и признать Луну базой НЛО. Ответа пока нет. Между тем, официальных загадок, связанных с Луной, на сегодняшний день, как сообщает интернет, — около 900. От спутника Земли можно, видимо, ожидать еще немало сюрпризов. Если только все вышеизложенное — не дутые сенсации, причем имеющие коммерческую подоплеку (государственное финансирование космических программ), или романтические заблуждения, раздуваемые СМИ также с меркантильными целями.

В настоящее время вновь возрос, на несколько десятилетий поутихший, интерес к Луне, хотя разговоров о Марсе все же больше, поскольку именно финансирование для Марса, естественно, значительнее.

Характерно, что в годы юности нас манили более далекие, чем Луна, объекты. Возможно, потому, что достижениям США в освоении Луны в нашей стране не придавалось особого значения. О каждой новой высадке американцев на спутник Земли сообщали в несколько строк только на последних страницах советских газет, как о чем-то незначительном, рядовом событии. Никакой политкорректности в отношении конкурента СССР в лунной гонке не прослеживалось, даже на уровне словесных формул. Например, в речах или соответствующих публикациях никогда не говорилось: «Сегодня, когда человек уже покорил Луну...», а неизменно провозглашалось следующее: «Сегодня, когда человек полетел в космос...», хотя этот космос, на самом деле, находится в 400 км от Земли. Уже только после развала Советского Союза все чаще и чаще следовали уважительные реверансы

в сторону победившей нас в холодной войне страны. Но одновременно возник и скепсис, сомнения в посещении земного спутника американцами.

Действительно, полеты на Луну в 1969—1972 гг. — вещь достаточно спорная, во всяком случае, вероятность сего факта не более 50 %. В самих США появилось множество серьезных публикаций вполне ответственных людей, прямо обвиняющих свое правительство в грандиозной мистификации. Ведь на знаменитых фотографиях, которые, кстати, якобы потеряны уже в конце 1990-х годов, совершенно отсутствовали звезды, развевался флаг там, где нет атмосферы (явно поддувал вентилятор). Советские лунные аппараты показали, что поверхность Луны — пыль, и четкие отпечатки ботинка Армстронга, первого человека, ступившего на Луну, могли быть только в одном случае — если их смочить водой. То есть все знаковые символы, широко тиражируемые в СМИ, въевшиеся, можно сказать, в сознание землян, оказались, мягко говоря, бутафорией.

В конце концов, недавно умершая вдова кинорежиссера Стэнли Кубрика — богобоязненная женщина, призналась перед смертью, что все так называемые космические «экспедиции» снял ее муж в кинопавильоне в Хьюстоне. Ведь делать съемки на Луне в самом деле невозможно: цифровых фотоаппаратов и камер тогда не существовало, а в традиционных пленка из-за радиации обязательно должна была бы засвечиваться. Высота подъема ног астронавтов в официальной съемке не превышает нескольких сантиметров, чего в условиях Луны просто не может быть: там можно свободно прыгать в высоту и длину на три и более метров. Воспроизвести тяготение, в шесть раз меньшее, чем на Земле, оказалось не под силу даже такому таланту, как Стэнли Кубрик.

В наше время признано, в том числе белорусскими учеными, что да, американцы действительно боялись отсутствия возможности для съемок и потому подстраховались, сняв посещение Луны в кинопавильоне. Но это крайне уважительное к конкурентам объяснение просто умиляет до слез. Какова все же цель полетов: покрасоваться перед камерами или достичь научных результатов? А любая реальная съемка — это именно научный результат, имеющий колоссальное значение для дальнейшего прогресса человечества.

Но вообще в то время (1969—1972 гг.) жители Земли еще очень мало знали о Космосе и потому легко поверили в романтическую версию полета на Луну.

Сегодня мы знаем значительно больше. Мы знаем, например, что скафандры космонавтов при их выходе из корабля в космическое пространство обязательно раздуваются — этого у американских астронавтов не наблюдалось. Они не сказали о данном факте режиссеру, чтобы он подкорректировал кадры, потому что сами о том не имели понятия: ведь выхода в открытый космос еще ни разу не было. Притом, что сделать в условиях павильона раздувающиеся скафандры значительно легче, чем показать отсутствие тяготения. Кстати, сами скафандры тогда были на порядок тоньше, чем сейчас. Между тем, сегодня мы знаем, как чудовищно действует на человеческий организм космическое излучение. Собственно, по всем физическим законам человек просто не смог бы свободно разгуливать по Луне, он вообще не смог бы там находиться. Дело в том, что суммарный вектор гравитации в космическом пространстве так мал, что тормозятся все жизненные процессы в организме. Лишь до расстояния примерно 1000 км от Земли простирается зона с более или менее физиологически приемлемыми условиями. А до Луны — 384 000 километров! Спутники, орбитальные станции в основном летают на высоте в 300—400 км. Это *считается космосом*, но человек здесь еще защищен от чудовищной космической радиации мощным электромагнитным полем Земли. Вспомним, что сказал академик Лев Зеленый: «*Лет через 15—20, возможно, удастся купировать радиационные проблемы при полетах на Марс*». То есть сейчас это действительно самая важная задача: создать вокруг космического корабля электромагнитное поле, аналогичное земному, — только тогда полет в открытом космосе возможен, а иначе ни корпус корабля, ни тем более скафандры от радиации ни в коем разе не спасают.

В 1971 г. американский астронавт Эдгар Митчелл, шестой человек, ступивший на Луну, провел на ее поверхности более 9 часов. Тот, кто это придумал, вообще соображал что-нибудь?! Ведь гулять около 10 часов по Луне — это то же самое, что находиться внутри взорвавшегося 4-го блока Чернобыльской АЭС. Когда глупость о Митчелле сочинялась, еще не случилось катастрофы на Чернобыле, но радиация-то была известна! А она разрушает ДНК, центральную нервную систему, ведет к клеточным мутациям и неизменно заканчивается скоротечной лучевой болезнью. После своего «подвига» астронавт даже и до Земли не долетел бы, а он до сих пор прекрасно живет и здравствует (дай Бог ему здоровья!).

Еще аргумент со знаком «минус»: во время американских полетов на Луну не было совершенных компьютеров, и рассчитать точное время соединения модуля с кораблем-маткой было бы чрезвычайно сложно, если не невозможно, в то время как — мы знаем это сейчас — даже полсекунды чреваты катастрофой.

Создатель советской космической техники Леонид Бацуро отмечает, что оболочка «Аполлонов» тогда покрывалась одним слоем алюминиевой фольги, «в открытом космосе она бы разлетелась в клочья». Вообще конструкция американских космических кораблей такова, что при посадке на Луну посадочный двигатель спускаемого модуля должен был сжечь и антенну посадочного радиолокатора, и стойки шасси, и днище посадочной ступени. При работе взлетного двигателя его факел обязательно сжигал бы и покрытия, и ниши, и днища взлетной ступени, перегревал баки компонентов топлива и уничтожал всю ступень. И таких претензий инженеров-специалистов, настоящих профессионалов, к американским космическим кораблям, которые сегодня выглядят, на фоне современной техники, как примитивные консервные банки, сотни, если не тысячи.

Русский исследователь науки, автор двух десятков книг, известный публицист Юрий Мухин обратил внимание на полное отсутствие *научных свидетельств* о таком грандиозном достижении, как полет на Луну. Любой результат в науке обязательно публикуется и этим фиксируется в виде научной статьи в специальных международных научных журналах, с которыми сотрудничают крупнейшие в мире эксперты по той или иной проблематике. Научных статей о полетах на Луну нет, поскольку, видимо, невозможно было представить для авторитетных экспертов реальные доказательства этих полетов. Таким образом, в *науке* не существует такого понятия, как высадка американцев на Луну, хотя оно прочно вошло в массовое сознание и *постоянно подпитывается* в СМИ разными безумно интересными, но, к сожалению, малоубедительными историями, легендами для наших милых наивных людей, типа встречи астронавтов на Луне с инопланетянами или передачи телепатически мыслей астронавтов с Луны своим адептам на Землю. Более того, специальное исследование показало, что с доставленным будто бы «Аполлонами» лунным грунтом мировые научные коллективы стараются не работать, а предпочитают пользоваться тем, что забран автоматами и привезен советскими ракетами.

Еще в 1976 г. американский писатель и ученый Билл Кейссинг издал книгу «Мы никогда не были на Луне». Он утверждал, что NASA так и не смогло разработать надежный водородно-кислородный двигатель, которым якобы была оснащена ракета «Сатурн-5», носитель «Аполлонов». Мощности ее двигателя не хватило бы для полета на Луну (в настоящий момент последний по времени американский ракетоноситель «Атлас-5» летает на советско-российских двигателях РД-180.). Более того, у США вообще не было положительного опыта такого рода экспедиций. 4 апреля 1968 г. при старте двигатель ракеты-носителя взорвался (впрочем, в это же время не раз взрывались и советские ракеты, предназначенные для Луны.) А через год без проведения, как это обычно водится, ряда испытаний, вдруг в США совершен абсолютно удачный пилотируемый полет. Сторонники американской версии неубедительно отбиваются: якобы пошли на риск, чтобы обогнать СССР в лунной гонке (ничего себе у них забота о человеке, которой они

так кичатся!). Но технология производства чудо-двигателя странным образом оказалась утеряна, как и лунные снимки-оригиналы. А после неудачного старта в 1968 г. были уволены 700 сотрудников и в том числе директор космического центра Вернер фон Браун, доставшийся американцам еще от фашистской Германии, где считался главным специалистом по ракетной технике. А кто же тогда доводил до ума такой безумно сложный проект?

Я уже не говорю о совершенно очевидных вещах: структуре грунта, очень уж напоминающей калифорнийскую пустыню; не соответствующий снимкам, сделанным беспилотными кораблями значительно позже, лунный ландшафт в месте высадки и прочее.

В наши дни российский инженер Евгений Иванько также, вслед за Кейссингом, обратил внимание на то, что для полетов на Луну у США совершенно не было соответствующей научно-технической базы и практического опыта. Ведь каждый шаг в освоении космоса СССР — это логическое продолжение предыдущего достижения. То есть у нас никаких лакун не было, все лунные успехи четко прослеживаются, и они очень последовательны: развитие техники шло сугубо на базе достигнутого. Причем для советских АМС каждый раз ставилась новая задача, причем с учетом и провалов. А у американцев все полеты, как близнецы. Летали словно для того, чтобы вот именно только попозировать перед кинокамерами (которые на самом деле не могли там снимать). Научного осмысления, как я уже сказала, не было. Практического использования тоже не получилось. Советский Союз оставался лидером в космической гонке. И только в 1990-е годы, стараниями президента РФ Бориса Ельцина и его разудалой команды, американцы получили доступ к советским технологиям и благодаря им быстро ликвидировали свое отставание. И то специалисты США обещают полететь на Луну снова лишь к 2020—2025 гг. — до этого не готовы. Спрашивается, а где же прежние наработки?

Правда, пафосных заявлений достаточно. Например, в 2010 г. NASA объявило о том, что постройка американской лунной базы для добычи полезных ископаемых будет проводиться дистанционно управляемыми роботами-автоматами. На реализацию этой программы под киношным названием «Аватар» отводилось 1000 дней. Однако за три года с момента объявления амбициозного проекта к его реализации в США так и не приступили. Полагаю, деньги на него, и немалые, были выделены. Роскосмос тоже делает ставку, где-то после 2015 г., на создание лунных баз и тоже с помощью роботов. Главный интерес для всех стран, участников космической гонки (в том числе уже сейчас и Китая), — лунный грунт, из которого можно получать кремний, титан, алюминий, железо и многие другие чрезвычайно ценные элементы. Уже разрабатываются проекты автоматических заводов, которые будут двигаться по Луне и соскребать с нее риголит. А там и вглубь полезут, благо выкачивать богатства из недр Земли уже хорошо научились, можно применять и на другой планете.

Все это, однако, дело будущего и, думаю, достаточно далекого, несмотря на громкие обещания. Мы же вернемся к прошлому. Встает вопрос: а знали ли советские космонавты и проектировщики космической техники о, мягко скажем, мистификации США? Безусловно, знали, но дали подписку о неразглашении. Недавно в телевизионном интервью Георгий Гречко, лукаво улыбаясь, говорил о павильоне, где проводились съемки «высадки», который показывали советским гостям-космонавтам; упомянул и о чудовищной радиации, из-за которой полеты в открытом космосе пока невозможны. В самом деле, мы видим, что космонавты всех стран накручивают и накручивают витки вокруг Земли, а дальше пока пути нет. Потому академик Лев Зеленый так пессимистичен.

А от сказок в СМИ действительно часто не знаешь, смеяться или плакать. Так, все чаще в массовых изданиях публикуют удачно сочиненный по всем литературным канонам диалог американских астронавтов с их космическим центром, якобы случайно прорвавшийся в эфир, о виденных ими НЛО: те и догоняли

в полете ракету землян, и примостились на краю лунного кратера. Этим безумно увлекательным мифом решалось и решается несколько задач, и в частности, непосредственно в то время: отвлечь людей Земли дутой сенсацией, взволнованными голливудскими репликами астронавтов о наблюдателях извне, поскольку среди радиослушателей вполне могли найтись трезвомыслящие люди, что-то заподозрившие о самом полете. Также широко тиражировалось сообщение о каком-то странном старике, которого Армстронг видел на Луне и в котором сторонники «Детки» узнали Порфирия Иванова, создателя этой философско-оздоровительной теории. Его последователи также могут доказать там присутствие Иванова, как и сторонники полета американцев на Луну. То есть приняв одно, извольте принять и другое. Подобно тому, как фанаты Порфирия Иванова верят в своего кумира, так и все остальные верят в посещение американцами Луны. Никакой разницы между данными мифологемами нет.

Тем не менее романтическая сказка американцев сыграла свою несомненно положительную роль. Прежде всего в политике. После тайного договора США и СССР о разделении приоритетов в космосе и сохранении некоторых тайн последовали Хельсинские соглашения, вывод американских войск из Вьетнама, продажа Америкой Советскому Союзу зерна по цене в два раза ниже мировой. Видимо, были и другие тайные договоренности, о которых мы не догадываемся. Во всяком случае, они пошли на пользу разрядке, сохранили мир. А главное, этот чудесный миф — полет на Луну — замечательный стимул для молодых: осуществление вековой мечты человечества. Его и нужно принимать как миф, некую ментально-эстетическую условность, замечательное, продолжающееся во времени, художественное произведение. Ну, а если в самом деле высадки были, так ведь и мифы часто оказываются правдой...

Космичность фольклора и литературы

1

Лучше всего то или иное явление познается через изменение мифов о нем. Есть у человека область мозга, которая отвечает за восприятие религиозных постулатов, сказок, утопий. Вместе они формируют «надмировоззрение», то есть не столько понимание людьми устройства мира, сколько определение своего предназначения, своих целей в нем. Эта система с положительной обратной связью. Все, что совершено в науке и технике, в том числе полет на Луну, сначала «проигрывалось» в этой «надмировоззренческой» области. То есть чем больше мечтать, тем значительнее ожидаются реальные достижения. Как говорил французский философ Мишель Монтень (XVII в.): «Сильное воображение порождает событие».

Вся наша художественная культура, в частности словесная, удивительно космогонична. Сказки, загадки, заговоры, поэзия в широком смысле слова, в том числе авторская, пронизаны космической тематикой, жаждой чуда, исходящего с неба.

Однако *научное изучение* космологии, явленной в *словесном творчестве*, началось достаточно поздно. На протяжении советского периода истории белорусской науки данной проблематикой, вообще мифологией, даже в рамках фольклористики, почти никто не занимался, миф находился на периферии научных интересов. Примерно с 80-х годов положение кардинально изменилось. С одной стороны, в СССР возник острый интерес населения в целом и интеллектуалов в частности к христианству (приближалось 1000-летие Крещения Руси), с другой, и это парадокс, также и к языческому прошлому нашего народа. Такой интерес общества к проблемам, считающимся ранее ненаучными, связан не только с объявленной Михаилом Горбачевым свободой слова, общей демократизацией жизни, но и эпохой fin de siecle — конца столетия, а тем более тысячелетия,

ощущением несомненной смены цивилизационной парадигмы. Действительно, в конце XX — начале XXI вв. возрастает интерес к духовным проблемам, к тайнам психики, усиливается и тенденция тяготения друг к другу религии и науки. Возможно, названная тенденция вообще будет определяющей в культуре XXI века. Изменилось и отношение к мифу. За последнюю четверть века он приобрел буквально универсальный статус, а это, в свою очередь, обусловило переоценку базисных основ многих гуманитарных наук. В 80-е годы появились фундаментальные работы по связи мифологии и литературы таких выдающихся белорусских исследователей, как академики Виктор Коваленко и Иван Науменко.

Названные исследователи — мои учителя, Иван Яковлевич Науменко — руководитель моей дипломной работы и кандидатской диссертации. Он благородно подарил ученице заинтересовавшую и его тему, увидев мое увлечение ею. Так с конца 1970-х годов я стала заниматься мифологией. Уже издано около десяти книг. Начинала я именно с темы «космос и словесное творчество». Мой путь, самое начало которого я здесь решаюсь на русском языке представить, во многом характерный для гуманитарной науки рубежа веков. Заметим, что в XX веке произошло понимание значения мифа как такового, а в XXI в., я думаю, осуществится собственно расшифровка каждого конкретного мифа. Я лишь намечала пути к такой расшифровке.

Хотя Луна всегда намного больше интересовала творцов, однако логичнее начинать с Солнца. Идеал, вечный двигатель стремлений — именно Солнце. Люди всегда понимали, что они «дети Солнца» (Максим Горький**)**. Потому и лучшие герои фольклора облекались в солнечную атрибутику («во лбу солнце, на затылке месяц, руки в золоте, ноги в серебре»). Золотые части тела имелись у всех порождений Солнца: волосы у многочисленных красавиц, гривы у лошадей, рога у туров, у свинок «золотая щетинка», у петушка «золотой гребешок». Чрезвычайно широко представлены в мифах и сказках волшебные золотые предметы: яйца, нитки человеческой судьбы, цепи от неба до земли, кольца, яблоки — средство вечной молодости, наконец, золотое царство как осуществление мечты сказочного Героя. Само Солнце, поскольку оно величайшее и ценнейшее, что есть у человека, на Украине представлялось отблеском Лица Божьего, или Оком Божьим, чем и объясняется его всеведение.

Особенно интересными являются украинские и белорусские *сказки*, где Солнце предстает человекообразным существом, которое крадет себе девушек на земле и берет их в жены. Тут как раз и выявилась извечная мечта о связи неба и земли, Божественного и человеческого. В сказках вообще прослеживается наиболее явственное единство царств: подземного, земного и небесного. Так, падчерица, спустившись в колодец и попав под землю, взбивает так снежную перину Мороза, в результате чего снег идет с неба. Или у матери рождаются на протяжении одной ночи три сына: вечером, в полночь и утром (Вечерник, Полуночник и Иван Зорькин). Все они воплощают Солнце: раньше солнце разных пор года и разных периодов суток, действительно, называлось по-разному. Фольклор — закодированная в устойчивых образах и сюжетах *родовая память* народа — дает сотни и тысячи примеров космического отношения к миру наших мудрых предков.

Люди верили, что огонь их душ — от солнца: он делает человека благородным, добрым, творчески-активным. А в словесном творчестве все, что пробуждает в человеке ассоциации с солнцем (пусть это будет всего лишь определение «желтый»), наполняет сердце ощущением красоты мира и полноты жизни.

В европейском фольклоре солнце, месяц, звезды предстают в разных обличьях. Так, в известной сказке «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», популярной у белорусов, литовцев, латышей, норвежцев, шведов и русских, Старик выдает замуж дочерей за трех персонажей, перечисленных в названии, потом по-родственному навещает молодых, и каждый зять его чем-нибудь удивляет. На теле Солнца пекутся оладьи, Месяц своим пальцем освещает баню, а Ворон Воро-

нович прячет Старика под свое крыло (последний из зятьев, безусловно, связан с подземным миром, видимо, персонифицирует собою бога Велеса). Непонятным тут является брак космических объектов с земными женщинами (о моей догадке относительно этого мотива скажу позже). Хотя речь ведь идет о сказке, которая и должна иметь дело с человеком, а не только с мифологическими персонажами, персонификациями космических объектов. Вообще в фольклоре ничего просто так не бывает. В его мифологемах, сюжетах и образах зашифрованы какие-то архаические знания, ключи к пониманию которых, к сожалению, утрачены. Фольклор вобрал в себя в специфической компактной символическо-образной форме факты этногенеза, истории народа, мировоззренческие, философские представления, культовые ритуалы, обряды, поверья и многое другое.

В известном сборе восточнославянских сказок Александра Афанасьева, собиравшем народное творчество в первой половине XIX века, приведена белорусская сказка о чудесных превращениях убитых злыми родичами мальчиков в деревья, цветы, затем в баранчиков и снова в людей. Этот мотив имеет параллели у чехов, поляков, словаков, украинцев. Но *только* в белорусской сказке описывается облик убитых детей, у которых «на лбе па месяцу, у патыліцы па зёздачцы». Такое описание, которое встречается и в других белорусских сказках, — осколок древних космогонических мифов о рождении чудесных близнецов. Возможно, имеются в виду двойные звезды, и наше Солнце, как предполагают некоторые астрономы, когда-то входило в такую же систему, имея «брата». Может быть, им был Юпитер, но, скорее всего, второе Солнце коллапсировало, став так называемой Черной дырой, отсюда миф о некогда светоносном упавшем ангеле Люцифере (lucis — свет, вдруг ставший воплощением зла). В последнее время все чаще пишут о планете Глории, двойнике Земли (то есть ее близнеце), которая находится напротив нас, но за Солнцем, а потому не видна.

В целом для индоевропейских сказок, а значит, и для славянских, характерен мощный *солнечный культ*. Солнце у славян воплощают различные птицы, и реальные (сокол), и мифические: Феникс, Алконост, Жар-птица, Гамаюн. В поэзии Ивана Бунина, настоящего огнепоклонника, встречаем образ Жар-птицы-солнца: «И солнце мутное Жар-Птицей // Горит в их дебрях вековых». У белоруса Петруся Бровки в одном из лучших его стихотворений «Пахне чабор»: «Сонца за борам Жар-птушкай садзіцца». Птица Рарог (сокол) стала эмблемой варяжского князя Рюрика (Рёрика Ютландского), основателя династии русских князей и царей. Золотой петушок как символ солнца упоминается во многих сказках и загадках (скажем, в украинской «Сядзіць півень на вярбі, звесіў косы да зямлі»), но поистине увековечен в удивительной сказке Александра Пушкина, словно бы предупреждающей об опасности увлечения зарубежной (образ астролога) магией.

Как своеобразно трансформируются народные космогонические, календарные представления на протяжении тысячелетий и переплетаются с бытовыми мотивами, свидетельствует белорусская сказка «Золотое перо». В ней главный герой Иванька поднял на дороге сияющее перо (луч) и отнес пану, затем по приказу господина поймал и Золотую Птицу, потерявшую перо. В результате у пана сгнило сено, потому что птица же в плену, а значит, солнца на небе не было. По-философски воплощает народные представления о потерянном пере-луче гениальный Якуб Колас в притче о блуждающем луче в поэме «Сымон-музыка». Луч подарил свой свет тучке, а не земле, куда был послан солнцем, и за непослушание «Ён быў асуджан на выгнанне // І на бясконцае блуканне // Паміж нябесаў і зямлі».

Старшее поколение в детстве еще играло в игру под названием «Гуси-лебеди». А раньше она имела ритуальный характер: волк в ней — темная ночь, стремившаяся догнать и проглотить светлые солнечные дни — гусей-лебедей.

Составитель Толкового словаря русского языка Владимир Даль приводит различные словоформы, включающие морфему «сол», общую для русского и для

латинского языков: солнцепек, подсолнечник, солнцепись, солнцеворот, солнцезарный, солодкий (сладкий), соль и т. д. Можно полагать, что и название певчей птицы «соловей» того же происхождения.

Народные *загадки*, как и сказки, также насквозь космогоничны. Так, о солнце существует общероссийская загадка: «Красная девушка по небу ходит». Или же: «Бурая корова через прясло глядит». О солнце и месяце говорится: «Золот хозяин — на поле, серебрян пастух — с поля. Хоть и видятся, а не сойдутся». Или о них же: «Сестра к брату в гости идет, а он от сестры прячется». О солнечном луче: «Из ворот в ворота лежит чурка золота».

О культе солнца у белорусов наиболее ярко свидетельствуют народные *обычаи* и *обряды*, причем для наших предков характерно религиозное отношение и к солнцу как таковому, а не только его персонификациям в человеческом облике (сказочные персонажи Иван Быкович, Иван Сучич, Иван Попелов, Иван Царевич — все это воплощения Солнца в образах людей).

Еще относительно недавно — в XIX в. — белорусы каждое утро молились на восход солнца. Отец новорожденного выносил ребенка из избы и «представлял» всем космически стихиям, прежде всего — солнцу. А хоронят умерших и в наше время после полудня и обязательно до захода солнца: похоронные обряды в наибольшей степени сохранили связь культа предков с почитанием солнца, поскольку в данном случае речь идет о *бессмертии человеческой души* — главной заботе человека (всегда, но только, к сожалению, не в наше время). В Могилевской области зафиксирована молитва невесты Солнцу, оставшаяся нам от далекого языческого прошлого [по записи Ирины Казаковой]. Таким образом, с Солнцем связаны важнейшие семейно-бытовые обряды белорусов. Но прежде всего, речь должна идти об обрядах календарного цикла.

Свою непосредственную зависимость от солнца люди понимали издавна. Свои чувства они воплотили в *художественной литературе*. Призывы к Солнцу, гимны Солнцу встречаются уже в наиболее древних произведениях, известных человечеству, — в религиозных книгах арийцев Авесте и Ригведе. В «Рамаяне» — грандиозном народном эпосе индусов — к Солнцу-Сурье обращается главный герой Рама за помощью: найти его любимую жену Ситу, украденную драконом Раваной. Рама, скорее всего, сам сын Солнца, как и в наших сказках Иван Царевич, однако фольклор и героический эпос скрывают свою мифологическую основу.

Одним из любимых персонажей русских былин и сказок является Владимир Красно Солнышко. Это отнюдь не реальный персонаж, как почему-то принято считать в последнее время, не конкретно Владимир Креститель (X в.), а образ собирательный, воплощающий в себе лучшие черты нескольких князей, в том числе, конечно же, и Владимира Святославовича.

Языческие гимны Солнцу почти в неизменном виде вошли в христианскую литературу. Например, в «Слове на Антипасху» Кириллы Туровского (XII в.): «Ныне сонца красуяся к высоте восходит и радуяся землю огревает...» Сам объект поклонения придает стилю одного из первых белорусских писателей праздничную возвышенность, торжественность, лирическую тональность и внутреннюю симметрию.

«Слово о полку Игореве» буквально насыщено солярной символикой. Русичей тут называют внуками солнечного бога Даждьбога. Князь Всеслав Полоцкий в облике оборотня-волколака перебегает дорогу утреннему солнцу Хорсу — это значит, он бегает быстрее солнца, которое за ночь должно продвинуться под землею с запада на восток. Исследователи обращают внимание на важность солнечных затмений в жизни представителей династии Олега Святославовича, к которой имеют отношение герои произведения: затмение как раз и происходит накануне похода Игоря в 1185 году. Жена Игоря Ярославна, как и Рама в «Рамаяне», обращается к Солнцу (а также к Ветру и Днепру Славутичу) и, можно сказать, «магия» женской любви спасает героя: Игорь сразу же бежит из

плена. С солнцем связаны и «золотые» эпитеты, которыми наполнено не только «Слово...», но и русские былины, скандинавские саги, героический эпос многих народов. Золотыми там являются и дворцы, и башни, и мебель, и посуда, и оружие, и кони, и даже разные дикие животные, как и в фольклоре.

Иное понимание Солнца как символа идеального общества мы видим в эпохи Возрождения и Просвещения в так называемых утопиях XVI—XVIII веков. Известно, что марксизм-ленинизм с гордостью выводил свое происхождение (по линии искусства) как раз от этих произведений. Но сегодня мы их оцениваем иначе. При всей непохожести утопий друг на друга им всем в значительной степени характерны черты казарменного образа жизни. Он проявляется в жесткой регламентации быта и мышления простых людей. Утописты этим боролись против индивидуализма, эгоизма, себялюбия, нарождавшихся вместе с капиталистическими отношениями, им они противопоставляли одинаковость, стандарт в действиях и мыслях. Так, в «Городе Солнца» итальянского гуманиста Томмазо Компанеллы (XVI в.) царит порядок, близкий к военному; обращает на себя внимание и колоссальное количество чиновников (как в сегодняшней России); контроль державы за личной жизнью граждан (тенденция, характерная во все большей степени для большинства развитых капиталистических стран). Мне кажется, что священная, солнечная, народная идея «купы», то есть гармоничной жизни общины, здесь испоганена, дискредитирована. В то же время у гениев литературы эпохи Возрождения уже встречаются метафоры совершенно удивительные, например, у Данте: «Солнца луч умолк».

Совсем другое, по сравнению с утопистами, отношение к Солнцу у русских писателей-классиков XIX в., которые во многом опирались на народное мироощущение. Прекрасно-поэтический, сказочный мир царит в пьесе выдающегося русского драматурга Александра Островского «Снегурочка» (сказка, на основе которой создано произведение, есть и у белорусов). Времена года и космические стихии предстают здесь живыми, яркими характерами. Впечатляют необычные отношения Мороза и Весны, родителей Снегурочки. Но сюжет в пьесе движет великое Солнце-Ярило, которому и поют страстные гимны, и адресуют упреки за трагическую коллизию с главной героиней, главное несчастье которой — неумение любить. Мифологический персонифицированный образ Ярилы в XIX в. лучше всего сохранился у белорусов.

Русские писатели любили не столько живописать солнце, сколько «наполнять» им пространство своих произведений. У Александра Пушкина торжественно: «Погасло дневное светило». Он же удивительно соединил: «Мороз и солнце; день чудесный!» Пушкин, пожалуй, одним из первых описывал не собственно солнце, ведь на него смотреть трудно, да и вредно, а его отблески на земле: «Под голубыми небесами // Великолепными коврами, // Блестя на солнце, снег лежит».

Иван Никитин, поэт из народа начала XIX в., широко использующий фольклорную образность, прославился своим описанием летнего утра: «Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, // За морями ночлег свой покинуло. // На поля, на луга, на макушки ракит // Золотыми потоками хлынуло».

Очень точные слова находит маститый Афанасий Фет для описания жары: «Солнце нижет лучами в отвес, // И дрожат испарений струи». Он же с непревзойденным мастерством живописует весну: «Уж солнце черными кругами // В лесу деревья обвело», то есть деревья создают тень в пространстве, заполненном солнцем. Для сравнения: замечательная картина российского художника Архипа Куинджи «Березовая роща» вся наполнена солнцем — это одно из самых ярких, солнечных произведений в русской живописи, но если присмотреться, то убеждаешься, что весь передний план в ней затенен тенью, отбрасываемой деревьями. Так и у Фета.

Несколько поколений русских людей радостно начинали день и будили своих близких хрестоматийными строками того же Афанасия Фета: «Я пришел к тебе

с приветом, // Рассказать, что солнце встало, // Что оно горячим светом // По листам затрепетало». Эти строки любила повторять и моя мама.

У гениального Федора Достоевского почти нет описаний природы в романах. Единственное, что заметили исследователи, косые лучи заходящего солнца, которые появляются в произведениях в самые ответственные, кульминационные моменты развития действия, — этот мотив очень частый, он встречается более пятидесяти раз. Писатель противопоставляет лучи заходящего солнца мрачному, страшному, грозному виду столичного Петербурга. Солнечная символика указывает на светлое и возвышенное начало среди болот, грязи, вечной слякоти неприветливого имперского города, враждебного простому человеку.

Русские классики со временем находят все более и более изощренные метафоры для изображения солнца, скажем, у Ивана Бунина: «Солнце, улыбаясь в нежной дымке, // Перламутром розовым слепило». У поэта Серебряного века Вячеслава Иванова весенняя оттепель передана через соединение образов солнечного света и капели: «Ленивым золотом текло // Весь день и капало светило». У его же современника Николая Клюева, выходца из крестьян, сравнения неожиданны, но часто напоминают о занятиях коренного населения северной Руси: «Как лещ наживку, ловят ели // Луча янтарную иглу». В поэме «Дева Солнца» один из лучших поэтов Серебряного века Николай Гумилев писал: «Он видит деву, блеск огнистый // В его очах пред ней потух, // Пред ней, такой невинной, чистой, // Стыдливо-трепетной, как дух». Собственно, всегда все лучшее славяне воплощали солнцем, сравнивали с ним.

Гениальным мастером метафоры был Сергей Есенин. Некоторые его образы можно понять, только учитывая мифологический контекст. Например: «Холмы поют о чуде, // Про рай звенит песок. // О, верю, верю — будет // Телиться твой восток!» Имеется в виду восход солнца, которое не раз у поэта предстает теленком. Ведь в верованиях ариев небо — корова. Есенин расширяет толкование: «Перед воротами в рай // Я стучусь: // Звездами спеленай // Телицу-Русь».

Есенин славит космические стихии в духе народного христианства или даже славянского язычества: «В вихре снится сонм умерших, // Молоко дымящий сад, // Вижу, дед мой тянет вершей // Солнце с полдня на закат».

Древние арии верили (и вера эта сохраняется сегодня в некоторых регионах Индии), что *солнце светит благодаря душам умерших, летящим на него после смерти человека*. То есть предки («деды») непосредственно питают солнце энергией, и чем сильнее, благороднее их души, тем лучше живется людям на Земле. Вот откуда, я думаю, сказочный мотив женитьбы Солнца на земной женщине (союз с душой человека). Вот откуда и такая удивительная образность у Сергея Есенина, который, кстати, глубоко интересовался мифологическими представлениями народа.

У замечательного русского советского поэта второй половины XX в. Александра Яшина, поскольку он из северной Вологды, где солнца мало, особенно благоговейное отношение к светилу: «Солнцем смотрит каждая былинка»; «Водопад — светящиеся струи, // Солнечные брызги и лучи»; «Очень много солнечного света, // Будто счастьем все озарены». Для Дмитрия Кедрина красота родины ассоциируется с солнцем: «Я теперь понимаю, что вся красота // Только луч того солнца, чье имя — Россия».

Прозаик Константин Паустовский, в продолжение отечественной традиции, описывает состояние земли, освященной солнцем. Вот, например, как рождается вдохновение у его героя — гениального Петра Чайковского в «Повести о лесах»: «С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видимого сверху, с обрыва. На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освященной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золоти-

стого, розоватого тона. И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды. Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвала у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо».

В белорусской литературе все классики обращались к образу солнца, но наиболее часто, по моим наблюдениям, оно встречается в творчестве Якуба Коласа, что связано с жизнеутверждающим, оптимистическим мироощущением писателя. Например: «На ўсходзе сонца грае // Пераліўным блескам, // Сыпле золата над гаем // І над пералескам»; «Як пасмы золата, праменні, // Бруяцца з сіняй глыбіні»; «Сонца сцеле на ўзгоркі парчу залатую»; «Сонца — радасць, сонца — казка».

Другой наш гениальный поэт Янка Купала мечтает о Золотом веке, чудесной стране: «Як самае сонца, // Дзе ясна — так ясна, // Як самае сонца, // Дзе шчасна — так шчасна». Поэтическая мысль Купалы основывается на антитезе, у него «сонца з цемрамі змагаецца», и потому создается особенное напряжение материального мира. С другой стороны, Купала, который всегда так страстно мечтал о весне, призывает-заклинает солнце заключить вечный брак с землею: «З непатульнай, пакорнай зямліцай // Заручыся, шлюб вечны вазьмі». Иногда поэт говорит о «сонца пажары», о «сонцавых косах». С рассветом он связывает Национальное Возрождение, как и с весной, молодостью, девичеством (чистотой, синонимичной свету).

Месяц — частый персонаж в *песнях*, но, как правило, в связке с Солнцем и звездами. Почти во всех случаях эти образы служат фольклорной идеализации героя: «На маладым шапачка, як месяц свеціць, // На ім паясочак, як зоры зарэюць». Или: «Ці не сонца яго радзіла? // Ці не месяц яго ўзгадаваў?// Ці не зоры яго калыхалі?»

В русских песнях самых разных жанров герою желают быть красивым, «как ясен месяц». Во многих песнях, особенно колядного (святочного) цикла, «красное солнце» символизирует хозяйку, а «ясный месяц» — хозяина. В любовных песнях месяц — влюбленный парень, а заря, звездочка — девушка. Ясно, что это перенос на людей отношений мифологизированных космических объектов. Так, о женихе русские пели: «Что у месяца рога золоты, // И у солнышка лучи светлые; // У Ивана кудри русые — // Из кольца в кольцо испронизаны».

В Украине девушки гадали о любимом с помощью определенных *ритуалов* и *заклятий*. Так, увидев молодой месяц, девушка должна перевернуться три раза, взять землю из-под стопы, запечь эту землю в печи, чтобы получился слепок следа, положить его ночью себе под подушку с приговором: «Місяць, місяць молодий, // В тебе ріг золотий. // Ти знаэш старого й малого, // Пошли мені мого милого».

Кстати, на основе мифов и народной поэзии можно сделать следующий вывод: в тех случаях, когда под Солнцем имеется в виду женский персонаж, то такая женщина обязательно замужняя и именно за Месяцем, звезда же — всегда девушка. Впрочем, Солнце-дева часто выступает именно как невеста. Так, на севере России верят, что на день Купалы происходит свадьба Солнца и Месяца.

Очень часто упоминается луна или месяц в календарно-обрядовой поэзии. Причем здесь солнце и месяц не только в сравнениях, не только служат тропами, но и явственно возводят мотив песни к космогоническому мифу. Так, в чертах песенной Коляды — языческого божества — просматривают космические и природно-метеорологические элементы: «Прыехала Каляда на белым кані, // Яе конічак — ясен месячык...»

Часто в песнях упоминается «ясное солнце», «светел месечек», «частенький дождичек» как дорогие гости, как «три радости», которые несут колядовщики в дом трудолюбивых хозяев.

Праздник Купалы посвящен Солнцу, но в песнях нередко встречается обращение к Месяцу, что также можно объяснить отношением к купальскому празд-

нику всех важных космических объектов. Праздник Купалы представлял собой соревнование, борьбу, бой, но и союз, брак (*иерогамию*) огня и воды, солнца и месяца, жизни и смерти, мужчины и женщины.

В белорусских *заговорах*, едва ли не самом древнем жанре фольклора, месяц помогает, прежде всего, от зубной боли: «Есць на свеце тры царыкі: ясен месяц на небі, сіні дуб на зямле, чорны камень у вадзе. Як этым царыкам не піць, не гуляць і ўмесце не схадзіцца, так у раба Божага [Івана] зубам балець не гадзіцца». Названные объекты — месяц, дуб и камень — соответствуют основным сферам: Небу, Земле и Подземному царству, которое всегда связано и с водой. Как видим, Месяц назван царем неба.

Очень часто в заговорах звучит обращение к месяцу как к властителю потустороннего мира, что соответствует мифологическим представлениям и убеждениям философов (Сведенборга, Гурджиева): «Маладзік ты маладзік, ці быў ты на тым свеце? — Быў. — А ці баляць у мертвых зубы? — Не, не баляць. — Дык няхай і ў [Віці] не баляць». Однако же Витя (любой, на кого направлен заговор) живой человек. Тем не менее подчеркивается связь реального мира и потустороннего в духе мифологического мышления.

Сегодняшние оккультисты, которые знакомились, вероятно, с тайными рукописями масонов и других подобных мистических орденов, также с сохранившимся наследием и Александрийской библиотеки, утверждают, что Месяц — действительно низший уровень иномира, куда попадают не совсем праведные души, но все же и не отъявленные грешники. Это, как ни странно, соотносится с некоторыми мотивами *сновидений*: иногда снятся умершие родственники и говорят, что пребывают на Луне. Вообще же не зря писал известнейший русский поэт Серебряного века Игорь Северянин: «Луна глядит в мое окно, // Как некий глаз потустороннего». Действительно, в мифологических представлениях Луна связана с местонахождением умерших предков, вообще с запредельным миром, где коренятся якобы причины всех явлений на Земле. Во всяком случае, Месяц в народной и профессиональной поэзии знает все, что делается среди людей, потому к нему и обращаются в заговорах, гаданиях, он фигурирует в многочисленных приметах. В представлениях о Луне присутствуют и надежды, вера на помощь *оттуда*, и некоторая тревожность.

В *загадках* месяц в основном предстает как пастух, пасущий стадо звезд, или как хлеба краюшка, или кусок золота, красная сковорода, либо каким-то животным: бараном, белоголовой коровой. В мифологии индусов бык воплощал Солнце, а корова — Луну. Ее же — Корову-Луну — индийцы называли своей матерью. Загадки, как видим, сохраняют связь с мифологическими представлениями и овеяны поэтическим взглядом на мир.

Согласно народным верованиям, Луна влияла на так называемых лунатиков (больных сомнамбулизмом), на рост растений (во время сева и современные хозяйки руководствуются лунным календарем), на приливы в океанах, на перемену погоды (в народе говорят: «Молодик должен обмыться»). Все эти поверья уже нашли подтверждение в науке. Другие так называемые суеверия пока невозможно объяснить, кроме как действием мыслительного закона аналогии. Так, русские верили, что, увидев молодой месяц, необходимо взяться за деньги, чтобы целый месяц был прибыток. Украинцы утверждают, что на полную луну нельзя показывать пальцем, потому что палец отсохнет. Вообще наши предки очень многое в жизни связывали с Луной. Они не могли не заметить связь ее фаз и определенных циклов в женском организме (отсюда аналогия «луна — лоно»). Жила вера, что человек, рожденный во время нового месяца, всю жизнь сохраняет бодрость, оптимизм, моложавость; тот же, кто родился на его убывании, — ворчливый, пессимистичный по характеру, быстро стареет. Известно, что собирать лекарственные травы лучше всего в купальскую ночь — ночь самого сильного Солнца. А в другое время года — в последние фазы Луны, начиная с 23-го дня.

В наше время ученые открыли, что на полной луне вода «уходит» из межклеточного пространства внутрь живой клетки, а в новолуние перемещается из клеток к тканям. В этом, я думаю, кроется объяснение некоторых физиологических процессов, связанных с луной.

Наши предки, безусловно, были гораздо наблюдательнее нас. Даже если названные приметы (на самом деле их намного больше) и не будут подтверждены наукой, они останутся приобретением богатой народной фантазии, полной поэтической красы. Однако замечу, что все названные поверья были мне известны с детства, детства сугубо атеистического, пионерско-комсомольского, благодаря частым повторениям моих родных. Значит, народ пронес мифологические верования через столетия, через безбожный XX век. А в наше время древние мифологемы своеобразно вплелись, смешались с современными мифами типа полетов американцев на Луну. Ведь красивый же миф!

Не удивительно, что большой интерес всегда вызывала Луна и у писателей. Отдельные, наиболее яркие примеры уже приводились. В *национальных литературах* по-разному относились к показу Солнца и Луны. В китайской поэзии на протяжении всей ее многовековой истории можно проследить явное пристрастие к передаче чувств, вызванных лунной ночью. Китайская литература очень конкретная, зрительная, живописная (она на самом деле весьма близка к живописи), но в каждом рисунке природы китайский поэт видел сложные знаки и символы. В талантливой поэзии всегда есть подтекст. И в китайской поэзии приемы потаенной ассоциации, внутреннего параллелизма всегда считались высшим уровнем поэтичности. Китайские поэты любили описывать, как блестит роса или снег под ясным месяцем; какие удивительные тени отбрасывает на вещи полная луна; как блестит ночью, словно шелк, озеро; как луна украшает небо нарисованной ею рекой... Обычно ночной пейзаж вызывает грусть, ощущение одиночества (но настоящий поэт всегда ищет одиночества) или глубокое философское размышление, однако всегда царит главное чувство: умиление, восхищение природой, преклонение перед ее тайнами. А ведь *Луна как раз и воплощает тайну мира.*

В арабской и персидской классической поэзии Луна символизировала, прежде всего, любимую женщину, по красоте они равны. Параллель «женщина — луна», пожалуй, самое характерное сравнение в поэзии на языке фарси.

Эстетическое восприятие природы в европейской поэзии очень несмело проявляется в эпоху Возрождения, но по существу берет начало только в литературе сентиментализма в конце XVIII в. Уже в поэзии гениального Иоганна Гёте явственно философское восприятие природы и культ ландшафта. У него есть несколько стихов под названием «К Луне», где используются мифологические мотивы. Луна здесь наполняет душу человека «сладкой» или «нежной» грустью, и это восприятие немецкий классик передает следующему литературному поколению — романтикам.

С романтизмом связан высший этап в отражении *мистицизма природы*. Тут преобладает углубленная субъективность, антропоморфизация пейзажа, индивидуальное и любовное отношение к ландшафту, проекция настроений поэта на природу, в каждом явлении которой творец находил аналогии со своим душевным настроением. Образ Луны становится важнейшим как в глобальных романтических космогониях, так и в произведениях, проникнутых личными переживаниями.

Белорусские, русские, немецкие, французские, английские, польские, украинские романтики любили показывать таинственную, загадочную, волшебную природу. Для них вообще весь мир — чудо, тайна, загадка. Главный герой романтиков — мечтатель. Жить в мечтах — только и значит по настоящему жить, так полагали поэты эпохи романтизма (как и наш Владимир Короткевич). Ночь, луна содействовали мечтательному настроению, помогали углубиться в бытие Природы и в свою собственную душу. Любимая пора суток у романтиков — ночь, потому что ночь интимная и трагическая. Пушкин оставил незаконченные стро-

ки: «Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак // Мне радостней...» У известного немецкого поэта Новалиса есть даже «Гимны к Ночи», а у замечательного русского писателя Владимира Одоевского — цикл повестей «Русские ночи».

Луна среди ночи наполняет всю жизнь тонким и сладким смыслом, дарит человеку впечатление, что он присутствует при зачатии мира. И вообще ночь — «мать любви». «Любовь идет ночным путем, и Луна освещает ее» (Новалис). Кроме этого широко распространенного мотива под светом луны развивается и другой, важный для романтиков мотив — слияние жизни и смерти, действительности и сна.

Поэзия и проза романтиков проникнута глубоким чувством природы, дающей темы, аналогии и бесконечную сокровищницу мотивов. Причем реальные пейзажные образы часто превращаются в метафоры, символы, даже в поэтические мифы. Таким символом, мифом стала и луна. Более глубокого наполнения образа в позднейшей литературе уже не было может быть только у символистов начала XX в. Очень часто показывается лунная ночь и в живописи эпохи романтизма.

Лунный пейзаж часто встречается у реалистов. Впрочем, великие зачинатели русской реалистической литературы — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь — в молодости отдали дань романтизму и в значительной степени сохранили романтическое мироощущение до конца жизни. У Пушкина: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна, // На печальные поляны льет печально свет она...» У него же в стихотворении «Бесы» под мертвым сиянием Луны активизируются вредоносные духи: «Бесконечны, безобразны, // В мутной месяца игре // Закружились бесы разны...»

В русской классической литературе луна (месяц) обладает всеми функциями полноценного художественного образа, часто встречается в пейзажных описаниях. Вспомним классическое описание Николая Гоголя из «Майской ночи»: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладнодушен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!» Именно Месяц благодаря своему серебряному свету придает удивительное очарование теплой и благоуханной украинской ночи. С появлением утопленниц-призраков этот свет становится как бы еще более концентрированным: «Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца». И уж совершенно сказочные явления происходят в «Ночи перед Рождеством», черт крадет месяц: «Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал его в карман...»

Афанасий Фет утверждал: «Каждое чувство бывает понятней мне ночью», потому любовные объяснения у этого тонкого лирика всегда ночью и происходят: «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали // Лучи у наших ног в гостиной без огней». Он находит удивительные образы, буквально космические, для описания своих ощущений: «Земля, как смутный сон немая, // Безвестно уносилась прочь, // И я, как первый житель рая, // Один в лицо увидел ночь. //Я ль несся к бездне полуночной, // Иль сонмы звезд ко мне неслись? // Казалось, будто в длани мощной // Над этой бездной я повис».

Иногда Фет в духе мифологического мышления прямо называет луну богиней: «Звездное небо во мгле дальнего облака ждет. // Вот потянулось оно, легкому ветру послушно, // Скрыло богиню, и мрак сладостный землю покрыл».

Иван Тургенев считается строгим реалистом, одним из ярких представителей русской классической прозы XIX в. Однако для передачи тонких движений души и удивительных психологических состояний он нередко прибегал к сюжетам, отмеченным печатью таинственности. И тогда описание лунной ночи помогало

создавать соответствующее настроение, как, например, в рассказе «Стук... Стук... Стук...»: «На небе взошел месяц: весь туман проникнулся насквозь и как бы позолотился его сиянием. Все странно передвинулось, закуталось и смешалось; далекое казалось близким, близкое далеким, большое малым, малое большим... все стало светло и неясно. Мы словно перенеслись в сказочное царство, в царство бело-золотистой мглы, тишины глубокой, чуткого сна... И как таинственно, какими серебристыми искорками сквозили сверху звезды! Мы оба умолкли. Фантастический облик этой ночи подействовал на нас: он настроил нас на фантастическое».

Настроение тонко чувствующего природу Ивана Бунина часто зависело от состояния неба. Луна в духе мифологических представлений как зловещий объект навевала на него тоску: «В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бледный, слегка склоненный набок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба, в вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымные, свинцовые, а то и совсем темные облака...»

У Александра Блока образы глубоко индивидуальны и очень оригинальны: «Из длинных трав встает луна // Щитом краснеющим героя». У Сергея Есенина образы луны, месяца, лунного сияния встречаются очень часто и отмечены безусловным влиянием фольклора: «На бугре береза-свечка // В лунных перьях серебра»; «Дымом половодья // Зализало ил. // Желтые поводья // Месяц уронил»; «Ягненочек кудрявый — месяц — гуляет в голубой траве».

У русского советского поэта Михаила Исаковского, многие стихи которого стали народными песнями, месяц предстает в духе фольклорного словотворчества: «И такой на небе месяц — // Хоть иголки подбирай». В известной всему миру песне «Подмосковные вечера» на стихи Михаила Матусовского «Речка движется и не движется // Вся из лунного серебра». Советская поэтесса середины века Вероника Тушнова описывает ночь совсем в духе мифопоэтики: «Мир обретает облик древний // В сиянье млечно-золотом. // А небо-то и вправду купол! // С непостижимой вышины // Стекают медленно и скупо // Лучи невидимой луны. // Они переполняют тучи, // Просачиваются в снега, // Они бесплотны, вездесущи, // Они — веками — на века... // Нездешнее сиянье льется, // Мерцают срубы в глыбах льда, // И смутно светится в колодцах // Животворящая вода».

Острый, публицистичный, боевитый Станислав Куняев озабочен будущим превращением Луны в объект купли-продажи: «Есенин, Лермонтов и Блок // Твой мертвый свет боготворили... // Сияй, покамест твой чертог // Окутан слоем нежной пыли. // Пока твой блеск не развезли // И как сырье не расхватали...»

Поэт оказался совершенно прав в своем предвидении: уже существуют фирмы, которые торгуют участками на Луне, хотя с точки зрения международного права это совершенно невозможно: Космос общий, и никто не смеет на него претендовать... Однако в обществе капиталистическом, насквозь торгашеском, можно распродавать и космические объекты.

Стоит обратить внимание на то, что белорусская литература вся, в том числе в лучших образцах и в советский период, проникнута ощущением таинственности, загадочности, сказочности мира, что передалось ей от мифа. Еще ренессансная латиноязычная поэма Николая Гусовского «Песня о зубре» (XVI в.) создает впечатление необыкновенности нашей лесной отчизны. Поэт утверждает принцип таинственности жизни и объявляет источником чудес пущу — отсюда и привязанность белорусов — лесных жителей — к тайнам, к «сказкам Медеи» (Медея в античной мифологии жрица богини Гекаты, самой загадочной ипостаси Луны).

Одним из первых поэтов, начавших писать по-белорусски, был Андрей Римша (XVI в.). В его произведениях пока нет собственно пейзажных описаний, но уже встречаются упоминания о солнце, луне и звездах как объектах именно поэтических.

Наиболее значительный белорусский (и одновременно русский) поэт XVII ст. Симеон Полоцкий. Некоторые его произведения посвящены вопросам естествознания: «День и нощь», «О четырех временах года», «Стихии четыре». Симеон приближал поэзию к науке, по существу он был натурфилософом в литературе. Поэт стремился к глобальности и в духе барокко — к предельной метафоричности, потому так часто у него встречаются образы солнца, месяца, планет. Если у А. Римши они только называются, то у Симеона объекты неба — знаки Вечности и Божественной Гармонии.

На формирование белорусско-польских писателей начала XIX в. — Адама Мицкевича, Яна Борщевского, Яна Чечота — большое влияние оказал белорусский фольклор. А в целом их творчество развивалось в русле европейской романтической традиции.

Первый в полном смысле слова белорусский профессиональный писатель Нового времени Винцент Дунин-Марцинкевич идиллически-любовно показал будни и праздники в жизни белорусского народа. И природа у него идиллическая: волшебный, блестящий солнечно-лунный фон действия. Как раз в описаниях природы лучше всего проявляется авторский идеал: свободное и гармоничное существование всех сословий в единстве национального и природного начал.

Творчество белорусских классиков начала XX в. поражает, во-первых, колоссальным обогащением образности в сравнении с фольклором и писателями-предшественниками, во-вторых, глубокой философской наполненностью традиционных мотивов. Приведем несколько шедевров словесной живописи. У Янки Купалы: «ад бледнага месяца бледныя ценi»; «месячны шлях, што нябесны дзядзiнец». У Якуба Коласа: «зоркi ў небе — неба вочкi, месячак — вартаўнiчок»; «срэбраны серп назiрае з узвышша»; «месяц... чуць пачаты баханок». У Максима Богдановича: «месяц белы заплаканы свецiць»; «месяц увесь чырвона-жоўты, быццам пугачова вока».

Самый «космический» из трех поэтов-классиков — Максим Богданович. Причем месяц и звезды у него — любимые образы как наилучшее воплощение красоты Природы. У Янки Купалы больше ансамблевости, простора, величия. У Якуба Коласа царит гармония человека и природы, пантеизм. Но все классики белорусской литературы соединяли небесное и земное, великое и малое; они рисовали и локальный, и широкий ландшафт, благодаря чему происходило своеобразное накладывание друг на друга масштабов и представал обобщенный образ белорусской природы, формировался *эталон* национального пейзажа.

Белорусская поэзия в целом шла по пути конкретности и живописности тропов. Но наши современники (например, Алесь Рязанов) начинают наполнять традиционные образы не только визуальной живописностью, но и глубиной философского содержания, когда сам принцип мифологического сознания *умышленно* становится основой, фундаментом сознания поэтического, художественного.

* * *

Мир един. Мы — только небольшая часть огромного Космоса. В анатомии нашего тела, нашей души, сознания отражены законы Мироздания. Космос — вечная загадка Бытия. Если в наивной молодости мы верили в населенность планет из разных далеких созвездий, то сейчас пришло понимание, даже скорее ощущение, Живого Космоса, уровень которого для нашего интеллекта равноценен труднопостижимому Божественному Абсолюту. Символом Его было Небо.

Человек всегда стремился в небо. Сначала мыслью, фантазией и на крыльях мечты, позднее — с помощью созданной им техники. Небо выступает синонимом Космоса и в бытовом, и в философском, и в научном планах. Мир можно воспринимать по-разному: абстрактно, лично-заинтересованно, поэтически, мистически-религиозно. Нас интересуют последние виды восприятия, имевшие в своем генезисе мифологию.

Древних людей Космос интересовал намного больше, чем нас, людей, живущих, как мы гордо полагаем, в космическую эру. От космогонических представлений предков остались материальные свидетельства. Так, самый известный туристический объект на Британских островах — Стоунхендж, как считают ученые — архаическая обсерватория. О Стоунхендже много писали и в годы нашей юности. Но значительно позже появились разные, отличные от официозных, объяснения появления удивительного объекта. Однако они так и остаются в разряде паранауки или, как я говорю, романтики науки.

Другой удивительный памятник мегалитической культуры — это три тысячи вертикально поставленных камней-менгиров в местечке Карнак на севере Франции. Камни тянутся одиннадцатью рядами на протяжении четырех километров, представляя собой, по последним данным, своеобразное вычислительное устройство на поверхности земли, видимо, для расчетов движения Солнца и Луны.

На севере Европы известно несколько десятков так называемых «лабиринтов»: выложенных из камней кругов-спиралей, предназначение которых до сегодняшнего дня неизвестно. Курганы на территории Украины и Кубани, оказывается, представляли собой комплексы, имитирующие разные созвездия неба, как доказал украинский археолог Александр Шилов. Да и пирамиды Гизы в Египте — проекция на поверхность земли созвездия Орион. Совсем не случайно звезды рисовались на потолках египетских древних храмов и на шатрах-луковках храмов православных. Впрочем, о таинственных земных объектах я еще надеюсь написать.

Календарь — практическое применение знаний о Космосе. А тем более мифология и фольклор как закодированная в устойчивых образах коллективная память народа дают буквально тысячи примеров космического отношения человека к миру. Мне приходилось об этом писать, в частности, в книге «Китайский народный календарь и славянские мифологические параллели». Я отмечала: «Наличие в наше время космического цикла животных, восточного «сказочного» календаря, на первый взгляд кажется архаическим и наивным. На самом же деле китайский календарь передает какие-то важные ритмы или вибрации Космоса и создает единую космогоническую систему, которая интегрирует в себе собственно понятия линейного и циклического времени. В основе такой системы лежит вера в циклическое «разворачивание» и «сворачивание» Вселенной, о чем свидетельствует также и современная физика (так называемая сингулярность). Возможно, это одна из причин популярности китайского календаря не только на Востоке, но и на Западе, в том числе (в последние десятилетия) в России и Беларуси».

Обращение (пусть и на уровне сувениров) к тому или иному животному, которое символизирует конкретный год, возникают из потаенного желания вернуться к истокам человеческой культуры, к первопричинам истории и основам человеческой психики. Психологический мир человека рожден из мифа: эта та духовная формула, которая переводит *образы подсознания* на язык практического бытия.

Природный календарь всегда сопрягался и с *судьбами* людей. Каждый человек в эпоху архаики мечтал родиться под счастливой звездой. И действительно, считалось, что число звезд на небе равно количеству живущих на земле людей.

В видимом Космосе 70 секстиллионов звезд (за семеркой — двадцать два нуля). Чтобы представить названную цифру, скажу, что это больше, чем песчинок во всех вместе взятых пустынях и пляжах Земли. В ясную ночь мы в нашем Северном полушарии можем насчитать на небе без телескопа около 3000 звезд. По международной договоренности (1923 г.) небо разделено на 88 созвездий, названия которых дошли до нас из глубокой древности. Наиболее яркие из звезд имеют собственные имена: Альдебаран, Альтаир, Вега, Полярная звезда, Регул, Сириус.

В античном мире наибольшее внимание привлекал Сириус из созвездия Большого Пса. Римский философ I века Сенека писал о Собачьей звезде (так она тогда называлась) как о красной, хотя мы сегодня отчетливо различаем, что ее

цвет бело-голубой. Есть мнение, что Сириус *B,* спутник этой самой яркой звезды нашего неба, взорвался более тысячи лет тому назад как сверхновая. До взрыва он был красным гигантом (так что Сенека был прав), после же коллапса превратился в белого карлика. Эта гипотеза современного английского астронома У. Х. Мак-Кри, в разработке которой он основывался на мифологии небольшого (около 300 000 тысяч человек), достаточно примитивного по уровню материальной (но не духовной) культуры племени в Западной Африке — догонов. Как раз в их мифах сохранились сведения о взрыве сверхновой, не замеченного наблюдателями неба в других странах. О догонах очень активно писала уже советская пресса, а сегодняшняя лишь повторяет то, что было известно сорок лет назад, и даже известно гораздо больше, чем пишут ныне. Просто советская пресса была рассчитана на людей достаточно образованных, а современная учитывает нынешнюю деградацию образования при невероятной в сравнении с советским временем доступности информации. Кроме того, моя бывшая однокурсница работала в Мали и посещала там это племя, так что я о нем знала и из, так сказать, «первых рук».

У догонов очень сложная, прекрасно разработанная и на удивление «научно-современная» мифология, хотя на самом деле глубоко архаичная. Так, они утверждают, что Сириус является «пупом неба» и играет важнейшую роль в группе созвездий, среди которых главные — Орион и Плеяды. Названная группа непосредственно и очень активно влияет на земную жизнь (!); она же включена в «спиральный звездный мир», под которым можно понимать Млечный Путь. На многих звездах, по мнению догонов, есть живые существа.

Сириус, Орион и Плеяды очень прочно прижились и в поэзии. У Ивана Бунина: «И царственным гербом // Горят холодные алмазные Плеяды // В безмолвии ночном».

Существуют разные версии относительно удивительной мифологии догонов, вплоть до теории палеоконтакта (то есть бывшего некогда в древности контакта землян с пришельцами из Космоса). Я же полагаю, что догоны — знания о Сириусе и вообще о Космосе — позаимствовали из Древнего Египта, с которым как-то сталкивались в своей истории, а, возможно, и вышли с его территории. Восход Сириуса в Египте (то есть видимость звезды в небе, подъем над горизонтом) совпадал с разливом реки Нил, после которого оставался плодородный ил, что обещало благосостояние для всего народа. Появление Сириуса на востоке и вместе с этим начало разлива Нила считалось первым днем Нового года, отсюда исключительная важность именно этой, посвященной богине Изиде, звезды. Такой же она виделась и римлянам. На латинском языке: «Собачья» — «канис», потому звезду называли Каникулой. Для римлян появление Каникулы на небе означало наступление самой жаркой поры года: тяжело было что-то делать, уменьшалась деловая активность, все прятались по домам, отдыхали. Наше слово «каникулы» такое приятное для школьников и студентов, как раз от названия Собачьей звезды. Писатели также любили ее. Вновь сошлемся на Ивана Бунина, но уже прозаика: «...серебрится широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона, — остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус...»

Вообще от Древнего Египта соседние с ним народы переняли многие сведения по астрономии. Правда, остается открытым вопрос: откуда же такие удивительные для того времени знания у египтян, многие из которых подтвердились в наше время? Египет скрывает огромное количество загадок, и их нельзя игнорировать. Например, тут существовали ритуальные танцы, символически передающие ход небесных светил на небе. Известно, что Большие Пирамиды удивительно точно сориентированы по сторонам света, иначе говоря, находятся прямо на оси Земли. Есть предположение, что такой точности строители пирамид достигли, ориентируясь по звездам, которые знали великолепно. Один из узких тоннелей в пирамиде Хеопса тянется в направлении Полярной звезды,

но это справедливо для того необычайно древнего времени, когда Полярная звезда находилась в созвездии *Дракона*. Когда-то, примерно двадцать тысяч лет назад, названное созвездие располагалось в центре неба. Отсюда возможно и присутствие образов Змеев, Драконов, Птицеящеров в древних мифах, сказках и преданиях буквально всех народов мира. Да и о самом созвездии существует множество мифов. Например, жители древнего Вавилона считали, что все звезды стережет страшный Дракон, которому охрану поручил сам бог Мардук. По греческому же мифу гневная богиня-воительница Афина зашвырнула на небо одного из могучих змеев, намеревавшегося вступить в бой с богами Олимпа.

Полярная звезда считалась главной у наших далеких предков — ариев: она являлась той точкой, в которую упиралась земная ось, «гвоздем», державшим Мироздание. Мифологию арийцев хорошо сохранили современные индусы. Так, по их космогонии, в центре Земли находится гора Меру, над которой размещен центр Неба — Полярная звезда. Она, действительно, ближе всех к Северному полюсу и как раз она помогает определять географическую широту места. Все народы Евразии верили, что Галактика вращается вокруг Полярной звезды. На самом деле, северный полюс нашей Галактики проецируется на созвездие Волосы Вероники. Однако действительно, ось, что проходит через Полярную звезду и Южный крест (самое яркое созвездие в небе южного полушария, любимое у писателей-маринистов), почти совпадает с осью Галактики. Белорусы и русские называли Полярную звезду Небесный кол («Она горит на всю округу, // Как скотоводом вбитый кол, // И водит медленно по кругу, // Созвездий пестрый ореол» у Николая Заболоцкого). И был у нас бог Коледа, отвечающий за годовой круг, вообще за неизменно цикличное время. А может быть, он отвечал даже и за движение Галактики. К сожалению, далеко не все представления о звездном небе сохранились у нас, потомков великого народа, арийцев. Остались осколки преданий о наиболее ярких звездах и созвездиях неба. И, конечно же, эти предания я ни в коей мере не связываю с палеоконтактом. Имело место что-то другое.

Обращусь к созвездию Волосы Вероники. У белорусов и украинцев оно называлось Волосожар. Есть мнение, что в названии как-то зафиксировано почитание бога Велеса в образе летучего змея, который часто отождествлялся с чудесной птицей (в самом деле, от динозавров-рептилий произошли современные птицы). Но я считаю, что название имеет в виду «жар волос», то есть чудесное существо с золотыми волосами — дочь Солнца (позднее к мифу добавилось, напластовалось на него, как это обычно и происходит в мифологии, историческое предание о волосах жены египетского царя Птолемея III Вероники). Созвездие, кстати, находится близко к эклиптике Солнца, а Золотоволоска — распространенный образ в сказках многих народов.

Все древние этносы почему-то интересовались скоплением звезд, названных греками Плеяды. У них это семь дочерей титана Атланта, держащего небесный свод на своих плечах. Появление на небе Плеяд в месяце мае означало начало сезона мореплавания, а с исчезновением их в ноябре начиналась зима. Таким образом, Плеяды связаны со сменой сезонов. (У Максимилиана Волошина: «...Сноп огня в сиянии Плеяд! // Над зеркальной влагой Океана — // Грозди солнц, созвездий виноград»). В Украине созвездие называлось Квочкой, но не простой, а той, что снесла Мировое Яйцо, из которого родился материальный мир. У белорусов же, по А. Сержпутовскому, было другое название — Сито (Ситко): «Тут ангелы отсевали праведные души от грешных». Народ или интуитивно (что маловероятно), или на основании остатков прежних научных сведений, оставшихся от древних (допотопных) земных цивилизаций, понимал значимость определенных объектов. Возможно, в Космосе названное созвездие, действительно, «сито», но для чего, для каких излучений, физических полей, для какого космического вещества мы, естественно, не знаем. У русских Плеяды — семь девушек-красавиц, которых хотели выкрасть семь братьев-злодеев, и за это были отправлены богами на небо стеречь Полярную звезду, где они стали созвездием Большая Медведица.

Большая и Малая Медведицы всегда вызывали наибольший интерес (как раз в созвездие Малая Медведица входит Полярная звезда). Большая Медведица в нашем небе кажется раскинувшейся особенно низко и потому наиболее красивой. Античный миф повествует о нимфе Каллисто в свите богини Артемиды, требовавшей от своих жриц сохранения девственности. Однако нимфу полюбил сам бог Зевс, и девушка чистоту утратила. Разгневанная Артемида превратила ее в медведицу, но Зевс перенес возлюбленную на небо и этим восславил. Малая Медведица — их ребенок.

Большая Медведица — самое известное созвездие нашего неба. В Беларуси его можно наблюдать круглый год. Всего здесь 125 звезд, но мы видим в основном семь. В народе созвездие называли по-разному: Воз, Большая Повозка, Лось, Ковш, Волосыня, Ось, Масеев Палец. Белорусы говорили Воз, украинцы — Виз, русские в основном — Ковш. Как воз (колесница, повозка, телега) созвездие предстает не только у европейских народов, но и у древних шумеров, в китайской и даже американо-индейской мифологии. Это вынуждает задуматься, поскольку проблема здесь не только в реальной похожести на конкретную вещь, пусть и очень важную в скитаниях древних племен, а в чем-то более существенном. Я думаю, что название символически передает идею движения, постоянную доминанту Мироздания. А возможно, еще что-то чрезвычайно серьезное. «... Слово Бога с высоты // Большой Медведицей заблестело», — писал Николай Гумилев. Все жители региона в границах от 49 до 52 градуса северной широты называли себя «Детьми Большой Медведицы», то есть, живя под ней, как бы родились из ее лона. Недавно по сложной компьютерной программе ученые высчитали конфигурацию созвездия в разные тысячелетия земной истории. Оказывается, в какой-то момент созвездие действительно было похоже на сидящую медведицу, но было это 80 тысяч лет назад! Вот глубина памяти человечества!

В летние и осенние вечера в небе Северного полушария Земли выделяются еще три наиболее яркие звезды, которые создают огромный треугольник: Вега в созвездии Лиры, Денеб в созвездии Лебедя и Альтаир в созвездии Орла. С Лирой связан миф об Орфее, потому и все созвездие, и наиболее яркая звезда в нем — Вега — почитаются художниками, музыкантами, творческими натурами, вызывая множество поэтических ассоциаций. Поэты Вегой часто называли красавицу-девушку, разлученную со своим возлюбленным Сириусом, находящемся по другую сторону Млечного Пути. У китайцев даже есть летний праздник, совпадающий по времени с нашим Купалой, посвященный этому событию, — он становится днем всех влюбленных.

Денеб — па-арабски «хвост курицы»: так непоэтически жители Передней Азии называли созвездие Лебедя. Между тем древние греки видели в Лебеде самого Зевса, который в виде птицы спустился к красавице Леде, родившей от него детей, в том числе Елену Прекрасную. Но славяне называли созвездие иначе: Хрест в Украине, Крыж на Беларуси. Крест — центр всего в мире, пересечение бинарных оппозиций, символ самой Жизни и Большой Жертвы, принесенной во имя Жизни. Созданный же названными созвездиями огромный треугольник с Денебом-оком посередине как бы указывает на важность цифры 3 в нашем пространстве. Вспомним, что треугольник с глазом посередине — один из самых древних и таинственных универсальных символов.

Созвездие Орион — тоже одно из самых приметных на звездном небе. По античному мифу Орион — мужественный и красивый юноша, сын бога водной стихии Посейдона, потому созвездие считается навигационным: ориентируясь на него, можно найти множество других созвездий и звезд. А вот белорусы называли его Грабли (что оно гребло, какие космические частицы?); русские в нем видели крестьян, молотящих снопы ржи. Я думаю, созвездие символизировало завершение некоего важного процесса, приносящего пользу. Всего существует около двадцати народных названий Ориона, среди которых, например: Девичьи Зори, Петров Крест, Три Царя. Иван Бунин писал: «Свет серебристо-голубой, // Свет от

созвездий Ориона, // Как в сказке, льется над тобой...» Или в его же прозе: «По ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона». Мир сквозь призму писательского взгляда выглядит удивительно живописно.

Расшифровка древних народных названий созвездий позволяет говорить об *астральной природе* нашего язычества. Однако я совсем не претендую на истинность именно моих расшифровок, а только ставлю проблему.

Зодиакальные созвездия также всегда являлись объектом пристального внимания древних людей. Так, созвездие Тельца было посвящено необычайно древнему и одному из важнейших по всей Евразии богов пантеона Велесу-Волосу. Первоначальное название созвездия — Вол, а окончание «ес», как предполагают исследователи, готского происхождения и означает «бог». Правда, в Украине употреблялось и другое название — Тур. Огромные быки туры водились и в Беларуси. От названия быка, созвездия, а также бога происходят многочисленные *онимы* — имена людей и мест. Так, белорусский город Туров, основанный легендарным Туром, был одним из самых великих и славных городов Древней Руси, являлся родиной лучшего писателя эпохи Средневековья во всей Восточной Европе — Кирилла Туровского (XII в.). Имя Тур объединяет нас с архаической культурой Италии, существовавшей еще до Рима, — цивилизацией *этрусков* (корень «рус»), одного из самых загадочных народов мира. У них главным богом неба был Тур. У германских племен — Тор.

Первостепенное значение придавалось созвездию Тельца-Вола-Тура в эпоху, когда в нем находилась точка весеннего равноденствия (с IV по II тысячелетие до н. э.). С этого дня начинался Новый год у многих народов, сохраненный поныне. Есть мнение, что даже буква «А» финикийского, а на самом деле еще шумерского алфавита, происходит от стилизованного изображения в проекции головы быка.

Здесь, видимо, необходимо сказать, почему так важно нахождение точки весеннего равноденствия в том или ином созвездии. Речь в данном случае идет о явлении *прецессии*. Прецессия — главный закон небесной механики, движения Солнечной системы, которая вращается вокруг какого-то непознанного центра силы (но не центра Галактики). Полный оборот Солнечная система делает примерно за 26 000 лет. Вдоль этой траектории на значительном удалении от нее размещены 12 известных нам созвездий. Двигаясь по прецессии, Солнечная система, а вместе с ней Земля поочередно попадают в зону влияния того или иного созвездия. В древних цивилизациях прекрасно знали про прецессию, но это означает, что они должны были непрерывно наблюдать небо как минимум 52 000 лет, передавая сведения об изменениях положения звезд от поколения к поколению! О нахождении Земли в проекции того или иного созвездия судили по дню весеннего равноденствия.

Еще недавно в течение 2 000 лет Земля находилась в зоне преобладающего действия созвездия Рыб, в результате человечество в своей эволюции решало строго определенные задачи. Сейчас оно, как будто, входит в зону влияния созвездия Водолея. Действительно, прежнее созвездие уже практически не видно из-за горизонта. Сейчас вся Солнечная система (но отнюдь не отдельный человек) будет развиваться по совершенно иной программе, отличной от программы созвездия Рыб.

В каждом созвездии точка весеннего равноденствия бывает примерно по 2 160 лет. С созвездиями было связано влияние определенных языческих богов. Так, мне кажется, Перуну соответствовало созвездие Стрельца. Точка весеннего равноденствия в Стрельце находилась в XX в. до н. э. Казалось бы, невероятная архаика. Но о колоссальной древности образа Перуна говорит тот факт, что этот бог под разными именами (хеттский Пирва, иранский Пейрамун, индийский Парджаня, литовский Перкунас) встречается у очень многих народов. У праславян он назывался, видимо, Первун (проще говоря — *Первый*). В значительно более позднюю эпоху в созвездии Стрельца рождалось Солнце уже во время

зимнего солнцестояния. Сам Перун — не Солнце (Даждьбог), но его брат. На Святки (Коляды), в день астрономического рождения нового солнца, германцы и славяне всегда закалывали свинью, во многом потому, что вепрь был животным, посвященным Перуну. Еще совсем недавно у славян, как и у этрусков, по внутренним органам вепря гадали о будущем. В эпоху язычества в священный дуб, также посвященный Перуну, вставляли челюсти молодого вепря — символ новорожденного Солнца. Священные дубы, уже окаменевшие, с челюстями в них, найдены археологами в реке Днепр.

Этнографы Беларуси глубоко заинтересованы архаичным и очень оригинальным обрядом «Похороны стрелы», зафиксированном в Ветковском районе Гомельской области. Обряд, как я думаю, хорошо соотносится с Перуном-Стрельцом и отражает космогонический ритуал, связанный и с созвездием, и с богом.

Планеты на небе наблюдателям с Земли также представлялись звездами. Древний мир знал семь движущихся по небу тел, включая Солнце и Луну. Причем каждой планете соответствовал определенный день недели, время суток, нота в гамме, цвет радуги, степень тепла и влаги, запах, минерал, растение, животное, типы и темпераменты людей, части тела, болезни и, конечно же, человеческая судьба. Каждая планета воплощает, собственно, важнейшие человеческие качества, желания и стремления: Меркурий — хитрость и гибкий разум, Венера — любовь и красоту, Марс — разрушительные инстинкты, Юпитер — стремление к власти, Сатурн — тягу к смерти, Солнце — гармонию, Луна — мечтательность. Все они, как видим, полностью соответствуют мифологическому персонажу, именем которого названы. Но и люди, родившиеся под влиянием той или иной планеты, наделяются определенными характеристиками: Сатурн дарит человеку серьезность, мрачный, меланхолический характер; Юпитер — доброжелательность, властолюбие, чувственность; Марс — воинственность, грубость, энергию; Солнце — возвышенность мыслей и чувств, художественный талант; Венера — физическую красоту, страсть; Меркурий — находчивость, практичность; Луна — склонность к фантазиям, поэтичность.

Примерно в 1970-е годы распространилось поветрие: узнавать все, что связано со знаком зодиака того или иного человека. Пошла мода на символы, ювелирные украшения со знаками зодиака. Дальше — больше. В 1990-е годы — уже астрологические прогнозы в СМИ, в которые верят многие мои просвещенные знакомые. Да, космос, безусловно, оказывает мощное влияние на земную жизнь, но нет прямой зависимости судьбы конкретного индивидуума от созвездия, «под которым» он родился. На жизнь людей оказывают влияние многие другие факторы: генетические, национальные, регионально-географические, исторические, социальные.

В древности планетам был подчинен весь животный и растительный мир, например, Солнцу соответствовал лев, орел, дуб. Эта цепочка основана на явной мифологической основе: Солнце — царь на небе, с ним связан «царь зверей», «царь птиц», «царь среди деревьев».

Все астрологические схемы опираются на античную мифологию, где мистический символизм смешан с конкретными реалиями мира. Можно смеяться над астрологическими представлениями, тем более не стоит верить прогнозам, помещенным в бульварных изданиях, но нельзя не отметить, что мифологическое мышление, на котором основана астрология, стремится к исчерпывающей полноте мира, пусть себе и фантастической, жаждет того универсализма, которого явно не хватает современной науке, разорванной на отдельные области, практически не связанные между собой. Универсализм, гармония, полнота связей между разными явлениями в Мироздании — то главное, что осталось от мифологии и как раз, может быть, то, что требуется современным людям, разочарованным в позитивных науках.

Увидеть истину сегодня можно, только зная законы мифологического мышления, которое, кстати, необходимо и для того, чтобы понять детскую психоло-

гию. Мифологическое сознание у современного человека сложно комбинируется, взаимодействует, переплетается с логическим, научным мышлением — отсюда и интерес к таким паранаукам, как астрология. Понимать мифологическое мышление исключительно важно и в целях воспитания детей, и для развития творческих способностей, и для понимания поведения человека, вплоть до его мимики, жестов, даже психопатологических состояний.

Астрология — паранаука, но наполненная поэзией, своеобразный мост между мифологией и астрономией. Но и собственно астрономия как наука в последнее время все больше интересуется мифологией, ища в ней ответы на некоторые важные вопросы. Не случится ли Апокалипсис из-за планеты Нибиру? Есть ли у Земли двойник Глория? И почему Венера вращается вокруг Солнца не так, как другие планеты, а наоборот? Не находится ли она на своей орбите сравнительно недавно? Не путешествовала ли она по Солнечной системе, как считают некоторые ученые (З. Великовский), неоднократно проходя вблизи Марса? Ведь этому есть подтверждение в античной мифологии: Марс и Венера — давние возлюбленные.

Венера — утренняя и вечерняя, необычайно яркая звезда на небе. Славяне ее называли Денницей. Солнце (если в мифологии это мужской персонаж), согласно верованиям предков, ревнует ее к Месяцу и не позволяет им встречаться, поскольку Месяц и вправду не равнодушен к Деннице. Венера знаменует восход Солнца, как бы выводит его на небо и исчезает в его ярком сиянии. Ночью же она светит ярче всех, помогая Месяцу. В русских сказках Денница выступает под именем Красы Ненаглядной. Для поэта романтического мироощущения Николая Гумилева Венера — символ счастливой жизни: «На Венере, ах, на Венере // Нету слов обидных или властных, // Говорят ангелы на Венере // Языком из одних только гласных». Советские исследования показали, что, к сожалению, жизнь на Венере невозможна, потому интерес к ней угас.

В античной мифологии Марс — бог войны, и никто не любил его, кроме сестры Эриды, богини вражды, да еще возлюбленной Венеры. В гениальной философско-сатирической книге английского классика Джонотана Свифта «Путешествие Гулливера» (XVIII в.) описываются два спутника Марса, Фобос и Деймос (Страх и Ужас), — открытые астрономами только через сто пятьдесят лет после опубликования романа, и это одна из самых интригующих литературных и научных загадок. О нашествии марсиан писал также выдающийся английский писатель Герберт Уэллс в «Войне миров», а о путешествии на Марс — русский классик Алексей Толстой (XX в.) в «Аэлите». В научной фантастике прославлен также цикл американского писателя Рея Брэдбери «Марсианские хроники». Вообще Луна и Марс — самые притягательные для литературы объекты, поскольку жила, да и живет сегодня, вера в их населенность.

Упомянутые звезды, созвездия и планеты в основном и остались в памяти народа. Как видим, с ними связывались некоторые главные параметры Мира и самые могущественные боги, которые персонифицировали собою важнейшие природные стихии или человеческие стремления. Конечно же, образованные люди знали намного больше созвездий и связанных с ними античных мифов. Но это не выходило за рамки профессиональной культуры. Самый известный в России второй половины XX века писатель-моряк Виктор Конецкий, сценарист культового фильма «Полосатый рейс», писал о значении знания неба для моряков: «Моряки были ближе к Солнцу, Луне, звездам, нежели в нынешний космический век. Светила и Время были дороже драгоценностей. Моряки знали повадки первых вечерних звезд, по неуловимому дрожанию звезды в зеркале секстана интуицией чувствовали рефракцию. Они узнавали звезду даже в маленьком окошечке среди густых туч, и звезда помогала им и вела их через море, как некогда волхвов через пустыни Египта. Звезда соединяла прошлое и настоящее. А прекрасная маленькая и скромная Полярная звездочка тысячелетия честно работала для моряков, легко указывая им широту».

В народе же самой почитаемой со времен Крещения была, конечно же, Вифлеемская звезда. Звезда отнюдь не мифическая, поскольку ученые говорят о возможности взрыва сверхновой, видимой как раз в год рождения Христа, или же о схождении в одну линию Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб, для наблюдателей с Земли слившихся и тем увеличивших свою яркость. В Евангелии от Матвея читаем: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят: “Где рожден Царь Иудейский? Мы увидели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему”» [Мт. 2:1, 2]. Звезда в ночном небе — символ Божественного покровительства.

С большой блестящей самодельной звездой, символизирующей Вифлеемскую, и сегодня колядовщики ходят по деревням. А у нас на филфаке БГУ тоже празднуются Коляды. Студенты обходят деканат и все кафедры, получая заранее подготовленные подарки. Так в условиях города возродили традицию.

Вообще же у славян Звезды — дети Солнца и Луны. У всех народов распространена вера, что как только рождается человек, вспыхивает звезда. В этот момент увидевшему ее наблюдателю желательно перекреститься: крест, положенный живым человеком, поможет душе покойного избавиться от грехов и попасть в Рай. Белорусы даже в XX в. были уверены, что если человек добрый, мало грешит, то его звезда ясная, светит ярко, а если он нечестный, злой, завистливый, его звезда тусклая, едва блестит. О том же говорится в гениальной «Новой земле» Якуба Коласа: «Калі стваралісь Богам светы, // Па зорцы светлай чалавеку // Назначыў Бог Святы спрадвеку; // Яна жыццем яго кіруе // І лес яго і смерць пільнуе. // Чым больш з людзей хто выдатнейшы, // Таго і зоркі блеск яснейшы, // І гасне зорачка святая, // Калі даручаны сканае: // Вось так на небе адначасна // Яна мігнецца і пагасне...»

Душа-звезда у белорусов зовется «зничкой», она имеет близкую связь с огнем. В Украине верили, что звезды — это ангелы-хранители, которые сидят на небе с зажженными свечечками (душами людей) в руках. Даже советский писатель, мой любимый Константин Паустовский, как всегда, с непревзойденным мастерством пишет об этих поверьях: «Осенью, как водится, бывает по ночам много падающих звезд. В давние-предавние времена люди выдумывали про эти звезды всякую всячину. То будто чистые души младенцев слетают на грешную землю, то будто сиротка уронила с неба ворох райских цветов. Но больше всего люди верили в то, что падающие звезды приносят счастье. Стоит только задумать, пока не погасла звезда, самое заветное свое желание, и оно будто бы непременно исполнится». Эта вера жила даже среди нас, безбожных пионеров и комсомольцев.

Вместе с представлением, что звезда сияет на небе, пока продолжается жизнь человека и потухает с его смертью, бытовало и другое, по которому душа в виде пламенной звезды падает с неба и поселяется в ребенка в момент его зачатия или рождения, а после смерти человека возвращается на небо. В этом смысле становится понятным удивительный образ советской поэтессы Людмилы Татьяничевой: «В междузорье вмещается жизнь». В любом случае, душа — звезда, значит, с ней связано все прекрасное, высокое, духовное, светлое в человеке. «Словно по сердцу ступаешь ты, // Рассыпая звезды и цветы», — писал Николай Гумилев.

Звезды часто упоминаются в народной поэзии. Многие белорусские *песни* начинаются зачином типа: «Усе зорачкі паўсходзілі», или «Разгарыся вячэрняя зорка», или «Цёмна ночка да нявідная». Такое вступление произведения уже одной строкой создавало определенное настроение, как правило, сладко-грустное, или придавало песне атмосферу таинственности, загадочности, потусторонности. Звезда часто выступает как составная часть *тропов*: со звездами сравниваются глаза девушки или сама девушка. В белорусских *сказках* звезды украшали головы чудесных мальчиков. Один из самых распространенных сюжетов в сказках русских, белорусов, украинцев — рождение трех братьев-близнецов за одну ночь

и соответственно названных Вечерко, Полночко и Зорька, причем тот, кто родился перед рассветом — Зорька — стал самым сильным и умным. Очень часто фигурирует месяц и *звезды* в загадках. Например: «Вся дорожка осыпана горошком»; «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»; «За бабиной избушкой висит хлеба краюшка; собаки лают, а достать не могут»; «Голубое поле серебром усыпано»; «Синие потолочины золотыми гвоздями приколочены».

Звезды — объект показа и в художественной литературе. В XII в. Кирилл Туровский написал трактат «О небесных силах» — по существу первый у восточных славян труд по космогонии, где Мироздание рассматривается как неповторимое единство Макро- и Микрокосмоса в их становлении от небытия к бытию.

В традициях народной поэзии работали писатели начала XIX в. Как уже отмечалось, романтики любили ночь и вечернее небо, которое дарило их вдохновение, вызывало волшебные мечты. Но у белорусских поэтов, писавших по-польски, даже и традиционный для всех европейских романтиков мотив представал в оригинальном виде, более мифологизированном, более сказочном. Например, у Яна Барщевского («Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях») читаем, как герои «убачылі на небе такую зыркую яснасць, што ледзь вока трывае; разлілася яна кшталтам велізарнае ракі. Палі, лясы і горы, пакрытыя снегам і асветленыя агністым небам, мелі дзіўны і захапляючы выгляд. Хмары, распаленыя чырвоным полымем, ляжалі на даляглядзе; здавалася, што там тонуць у пажарах велічныя гмахі і стромкія вежы» (Перевод с польского Николая Хаустовича). Ясно, что в произведении поэтически описано очень редкое для наших широт явление — Северное сияние. Сам шляхтич говорит, что за свою жизнь третий раз видит такое диво, причем всегда в тот год, когда видели «пожары на небе», случались какие-то неординарные события (еще одно подтверждение связи космоса и жизни на Земле).

Космичность пронизывает образную структуру произведений романтиков. Действие баллад Адама Мицкевича «Свитязь», «Свитязянка», «Люблю я» происходит в звездные ночи, что, естественно, создает особую атмосферу таинственности, соединенной с грустью. У Николая Гоголя в его полной чудес «Ночи перед Рождеством» «...звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки...» У Винцента Дунина-Марцинкевича также часто упоминаются звезды, хотя не с такой долей фантазии, как у Гоголя: «Над горадам зорка ясна засвяціла» или «Засвяцілі тры звездачкі ў пару нам шчасліву! // Заляцелі тры сокалы дый на нашу ніву!» («Стихотворение Наума Приговорки на приезд в Минск Аполлинария Контского, Владислава Сырокомли и Станислава Манюшки»). И все же белорусские поэты XIX в. еще не выходят за границы парадигмы фольклорной образности.

Русская литература этого периода намного более развита, собственно, это ее золотой век, начатый Александром Пушкиным, довольно часто живописавшем небесные объекты, например: «Звезда печальная, вечерняя звезда, // Твой луч осеребрил увядшие равнины...» Живой космос воплотил Михаил Лермонтов в одном из гениальных стихотворений в русской литературе, начинающемся так: «Выхожу один я на дорогу; // Сквозь туман кремнистый путь блестит; // Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, // И звезда с звездою говорит». Или его же: «По небу полуночи ангел летел // И тихую песню он пел, // И месяц, и звезды, и тучи толпой // Внимали той песне святой».

Афанасий Фет, проникновенный и тонкий лирик, сравнивает звезды с очами: «Долго ль впивать мне мерцание ваше, // Синего неба пытливые очи?»

Федор Тютчев космичен и философичен: «Небесный свод, горящий славой звездной, // Таинственно глядит из глубины, — // И мы плывем, пылающею бездной // Со всех сторон окружены».

Во второй половине прагматического XIX века уже ушло мистическое восприятие неба, характерное для романтиков, но люди еще часто всматривались в необъятный простор, он вызывал глубокие мысли и даже прозрения, буквально изменяющие судьбу человека (небо над Аустерлицем для князя Андрея Болкон-

ского в «Войне и мире»). У того же Льва Толстого в «Анне Карениной» читаем: «Стало темнеть, ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Артур. Над головой у себя Левин ловил и терял Звезды Медведицы...»

Звездное небо у Антона Чехова в его повести «Степь» наполняет созерцателей ощущением полноты жизни: «А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова».

Продолжатель русской реалистической традиции, писатель и XIX, и уже XX века Иван Бунин, очень часто описывал ночное небо: как в своих стихах, так и в прозе: «...прозрачным дымом // Нисходит Млечный Путь к лугам необозримым»; «Так ясно Млечный Путь струится». У него же: «Не устану воспевать вас, звезды! // Вечно вы таинственны и юны. // С детских дней я робко постигаю // Темных бездн сияющие руны». Вот именно, руны. Для поэта звездное небо — какой-то удивительный тайный текст.

У Сергея Клычкова сравнения напоминают о фольклорной образности: «Висят меж сучьев звезды, как подвески, // И как на ниточке луна». Или же: «И звезды связаны в мониста // На нити тонкие лучей».

У поэта Серебряного века Максимилиана Волошина, тонкого знатока мифологии, часто возникают мифологические образы или реминисценции в стихах: «Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь // Шуршит про таинства возврата и возмездья, // И видеть над собой алмазных рун чертеж: // По небу черному плывущие созвездья».

Широко известны строки Владимира Маяковского: «Послушайте! // Ведь если звезды зажигают — // Значит — это кому-нибудь нужно?» Мы в нашей юности очень любили повторять эти слова. Возможно, подсознательно жаждали Божественного, хотя и опирались на поэта безбожного и грешного.

У друга Маяковского, Николая Асеева: «...а ваше лицо из мела // Горит и сыплется звездами».

Как и месяц, звезды — частый образ у Сергея Есенина: «На ветке облака, как слива, // Златится спелая звезда». Поэт не устает напоминать о бессмертии души: «Братья мои, люди, люди! // Все мы, все когда-нибудь // В тех благих селеньях будем, // Где протоптан Млечный Путь»; Или: «На синих окнах накапан лик: // Бредет по туче седой Старик. // Он смуглой горстью меж тихих древ // Бросает звезды — озимый сев». Последний пример совершенно мифологичен, как часто у Есенина: ведь в образе Старика явно видится древний бог Сварог.

Сергей Есенин — поэт первой трети XX века, а вот у замечательного русского поэта последней трети столетия Юрия Кузнецова образность носит совсем иной характер: «Бывает у русского в жизни // Такая минута, когда // Раздумье его об отчизне // Сияет в душе, как звезда»; или: «И звезда горит ясным пламенем // После вечности мира сущего». Широко известный в середине века Василий Федоров в лаконичных, точных строках выражает диалектическое понимание жизни, ее видимости и сути: «Наружностью // Земля — планета, // А в глубине // Она — звезда».

Для советской поэзии характерна духовная полнота и многозначность. Поэты и философичны, и конкретны, находят для привычных космических объектов все новые и новые эпитеты и метафоры. У Александра Яшина: «В каждой льдинке огонек, // Будто всей лавиной звездной // Млечный Путь на землю лег». У Вадима Шефнера: «Созвездий огненные знаки // Вмонтированы в небеса». «Меркнут знаки Зодиака // Над просторами полей» у Николая Заболоцкого,

поэта-натурфилософа, пожалуй, лучшего из советских поэтов, при этом упорно замалчиваемого. А «Звезда полей» Николая Рубцова, наиболее яркого представителя так называемой «тихой лирики» 50—70-х годов, лучшее его стихотворение, продолжившее традиции Заболоцкого: «Звезда полей горит, не угасая, // Для всех тревожных жителей земли».

Снова-таки у Рубцова — удивительно проникновенные, наполненные нежностью, строки о родине, о детстве: «В горнице моей светло. // Это от ночной звезды. // Матушка возьмет ведро, // Молча принесет воды...»

Очень часто звезды, как и в фольклоре, сравнивались в поэзии с очами, но образ выступает и в неожиданном контексте. У русского советского поэта Дмитрия Кедрина: «Я видал эти синие звезды очей, // Что глядят с вдохновенных картин Васнецова».

Звездное небо неотделимо от понятия «Родина». У известного русского советского поэта Александра Прокофьева: «Сколько звезд голубых, сколько синих, // Сколько ливней прошло, сколько гроз. // Соловьиное горло — Россия, // Белоногие пущи берез».

Та же тема — у замечательного поэта Ярослава Смелякова, очень нами в юности любимого: «Если я заболею, // К врачам обращаться не стану, // Обращаюсь к друзьям // (не сочтите, что это в бреду): // Постелите мне степь, // Занавесьте мне окна туманом, // В изголовье поставьте // Ночную звезду».

Вообще мы в нашей юности очень хорошо знали поэзию еще в школе: интересовались новинками, много читали, учили наизусть. А в студенческие годы незабываемы «поэтические разминки» нашего профессора Михаила Ларченко, который иногда пол-лекции посвящал чтению стихов из белорусской классики и из русской. Он приучал нас к мысли, что мы будем вдвое духовно богаче, если полюбим поэзию разных национальных литератур.

По мере профессионального становления я все больше находила красоту в классической традиции. Удивительный взлет белорусской литературы начала XX в. — это закономерный итог постепенного накопления в традиционных мотивах философичности, вызванной своеобразной трансформацией мифологии, а по существу — натурфилософии в литературу.

У Якуба Коласа, который считается самым «земным» из классиков, земля и небо в постоянной связи, потому звезды — «цветы неба», а цветы — «звезды земли». Такие сравнения встречаются у поэта очень часто, кстати, они — также в русле очень древних преданий, но приобретают новое философское наполнение: звезды — свет, посланный ночным небом, цветы — свет, излученный черной землей. Встреча светов— небесного и земного — воплощает поэтическую мечту о Вечности, о Гармонии мира. Сравним: у древних шумеров верховный бог Анки персонифицирует собой нерасчлененное понятие Небо-Землю, от брачного союза которых рождается Космос. (В наше время шумерский Анки и его сыновья — Энки и Энлиль — уже считаются инопланетянами, прилетевшими с планеты Нибиру и создавшими людей на Земле.)

У Янки Купалы в начале творчества еще царит фольклорная образность: «Як дзве зоркі, яе вочы, // Гляне — свет яснее». Или «Адна зорка мігацела — і тая прапала» (о Бондаровне). В лирической поэме «Яна і я»: «Крылатыя стварэнні з выраю // Па Млечнаму Пуці плывуць, як шнур».

Белорусы верили, что Млечный Путь — это путь птиц из рая (всего же существует не менее двадцати названий Млечного Пути). В белорусской литературе один из известных философских романов, последний роман Кузьмы Чорного называется «Млечны Шлях». Его очень любил наш обожаемый лектор Алесь Адамович, известный писатель и литературовед. Он был универсал: читал на нашем курсе русскую литературу второй половины XIX века и спецкурс по связям белорусской и русской литературы. Он же первый оппонент по моей кандидатской диссертации. В связи с поэзией так приятно вспоминать любимых учителей, которых уже нет с нами...

Янку Купалу особенно любил еще один замечательный писатель и наш профессор Олег Лойко. Творчеством Якуба Коласа занимался и он, и Иван Науменко, и Степан Александрович. Вспомнившиеся мне наставники и их уроки упрямо опровергают один из приевшихся современных мифов: о догматизме советской науки. Все наши профессоры — люди чрезвычайно широких взглядов, мыслящие масштабно, стратегически и глубоко, внушавшие нам отнюдь не партийные догмы. Вообще в нашем обучении было гораздо меньше формализма, чем теперь, но гораздо больше новаций и собственного творчества выдающихся ученых, которых сегодня нам уже не превзойти.

Относительно Янки Купалы скажу еще о драме «Раскіданае гняздо», где традиционные мифологические мотивы приобретают глубокий философский смысл. Речь идет о сне Зоськи, в котором она с отцом, матерью, братьями, преодолев многочисленные препятствия на земле, восходит все выше и выше: «Аж да самых зорак забраліся, а там, па млечнай пуціне, з зоркі на зорку пераскокваючы, цягнемся далей; а зоркі хоць свецяцца, але не пякуцца: як па кветачках гэтых, ступаем па іх... І прыйшлі мы ў нейкую харошую краіну, якой я ў жыцці не бачыла, не чула і не сніла... Ідзём гэтым садам-раем ды ідзём...» Известно, по теории крупнейших ученых-психологов XX века З. Фрейда и К. Г. Юнга, что сны являются выявлением мифологического мышления, родовой памяти, а также индивидуального подсознания человека. Действительно, здесь сон Зоськи помогает понять ее душу. Я думаю, путь Зоськи как романтической натуры, совсем не на Великое Вече, он не в активном действии, а в погружении в свой внутренний мир, зеркалом которого и была звездная страна сна, сад-рай на небе. Есть личности, не способные жить внешним, такова Зоська.

Со сном купаловской героини перекликается стихотворение Алеся Гаруна: «Дзіўлюся я на ззянне ясных зораў, — // І сумна-сумна так, што я не зараз з імі, // Што жыць не лёс мне ў вышыне нагорнай // І сцежкамі хадзіць па небе залатымі. // Сярод нязнаных мне, не бачаных прастораў // Раўнінай той, што завецца Бесканечнасць, // Я лётаў думкаю б і воляй непакорнай // І, можа б, там пазнаў цябе, Адвечнасць...»

Здесь поэтическое представление, преодолевая конкретику, движется уже дальше, по ту сторону видимого, к Вечности.

У Максима Богдановича часто и земная Природа предстает как Вечность, раскрываясь в своей торжественной, жизнеутверждающей полноте и расцвете творческих сил. Но светлое жизненное начало не исключает трагического, печального, грустного, задумчивого, всех тех потаенных движений души, с которыми как раз и связано звездное небо. В поэзии М. Богдановича жизнь и смерть, радость и горе всегда рядом, и это придает своеобразие и значительность философии поэта. С падающей звездой он сравнивает жизнь рано умершего литератора Сергея Полуяна. Шедевром богдановичской лирики является, безусловно, романс «Звезда Венера...», в котором соединены реальность и мечта, явь и видение. М. Богданович — самый «звездный» из поэтов-классиков Беларуси.

Последующие поколения белорусских поэтов значительно обогащают эстетику стиха и иногда идут в, так сказать, недра фольклора. Так, у исключительно талантливого Владимира Дубовки есть одно, совсем не замеченное исследователями, произведение, где поэтически отразился миф об отсутствии ночного неба, ночи как таковой. Речь идет о небольшой поэме «Ноч на Прыпяці і казка пра зоркі», в которой рассказывается о Солнце и Месяце как об одинаково дневных светилах: «Тады не зналі людзі змроку. // Быў дзень на свеце ўсім шырокім, // Бо двое разам ім свяціла, // А ў двух мацнейшая і сіла».

Звезды в то время были цветами в небесном раю. Как-то Солнце задумало подарить звезды людям. Оно щедро бросало их вниз, на землю, где они тоже делались цветами. А Месяц свои звезды пожалел и побросал вместо них камни. Солнце возмутилось и отказалось ходить по небу вместе с Месяцем. С тех пор они «работают» в разное время, причем Месяц не столько светит, сколько зани-

мается своим небесным садом, потому и стало темно, возникла ночь. Я думаю, что белорусский миф, возрожденный поэтом, сохранил, как ни странно это звучит, воспоминание о какой-то космической катастрофе, видимо, коллапсе второго Солнца, трансформации его в Черную дыру (при двух Солнцах на небе ночи как таковой на Земле не было).

Своеобразную космическую катастрофу переживаем мы и сегодня. В современной литературе гармония земли и неба нарушена, потому что исчезла гармония в душе человека, поселился в ней «Чернобыль». Незабываемый Пимен Панченко пишет незадолго до своей смерти стихотворение «Черные дыры» — произведение о пустых душах: нет в них огня, нет звездного света, произошел коллапс...

Вообще же тема «звезды Полынь» (образ взят из «Откровения Иоанна Богослова») делается, пожалуй, доминирующей в белорусской литературе с конца 80-х годов XX столетия. У Ивана Шамякина роман о трагедии Чернобыля называется «Злая зорка», а в белорусской же культуре звезда никогда не была злой и даже некрасивой! Все перевернулось!

И все же не случайно выдающийся немецкий философ Иммануил Кант (XVIII в.) говорил о самых важных ценностях в мире: звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. Звездное небо — действительно, то единственно устойчивое, вечное, верное, одаривающее своим светом, что только и внушает надежду. Недаром оно так часто возникает в русской и белорусской поэзии.

Таким образом, наши славянские предки чрезвычайно почитали Солнце, Луну и звезды. А вообще они иначе, чем мы, представляли себе включенность Земли в мировой круговорот, видели большую зависимость нашей планеты от законов Мироустройства. И потому современные успехи космонавтики и астрономии — ничто в сравнении с архаической высокой космогонией и космологией, отраженных, прежде всего, в мифологии и поэзии. Все наиболее удивительное, что осталось от древних цивилизаций, связано с космосом, с календарем, небом.

Космические объекты испокон веков вызывали интерес человека, побуждали его к размышлению, к научным открытиям, творчеству. С ними связаны великие загадки Природы, все самое таинственное и необычное на Земле. А это прекрасно, когда есть Великая Тайна.

Продолжение следует.



Verbatim

ЕЛЕНА МАЛЬЧЕВСКАЯ

Праздник непослушания

Этой осенью в Москве прошел VIII Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». Традиционно в рамках фестиваля показали провокационные, неожиданные, экспериментальные проекты и театральные постановки. Зрителям предлагали уснуть на концерте и посмотреть спектакль в палатке, узнать что-то новое об обнаженном теле и стать очень необычным посетителем музея. Кроме того, отличительной особенностью «Территории» уже давно стала образовательная программа фестиваля-школы. Ежедневно на протяжении фестивальной недели сто студентов из России, стран СНГ и ближнего зарубежья посещали мастер-классы и творческие встречи. Одна из них была анонсирована как праздник непослушания. Кирилл Серебренников — арт-директор фестиваля «Территория», режиссер и непримиримый руководитель «Гоголь-центра» (новой формы организации культурного центра для российского арт-пространства, появление которой вызвало череду споров, протестов и жалоб) — поговорил со студентами о природе актерской профессии, проблемах современного театра и о том, какой артист этому театру сегодня необходим. Мы выбрали для читателей «Нёмана» самые интересные фрагменты из двухчасовой беседы.

Я серьезно задумался об актерской профессии, о том, что она есть, когда заметил: каждый кастинг на спектакль у меня длится месяцами, я не могу найти артистов, которые удовлетворяют тем или иным требованиям. Эти требования, которые я для себя сначала не формулировал, а потом начал формулировать, были, в общем-то, несложными. Надо всего лишь говорить человеческим языком, надо всего лишь быть на сцене интересным.

Что такое артист сегодня и как он будет осуществлять коммуникацию между театром и зрителем? Артист театра — это такой медиум, который заставляет зрителей в каком-то случае слушать и вдумываться в суть старых текстов, в каком-то — открывать новые тексты. Иногда он проводник абстрактного, иногда — разрушитель шаблонов. Присутствие личности на сцене для меня является определяющим в артисте.

Артисту нужно себя сочинить. Безусловно, сочинить. Придумать свои ноги, свои руки, свою голову, свой голос, свое тело. Замечательный пример — это сценарист, режиссер, актриса Рената Литвинова, которая за несколько лет на наших глазах сочинила себя. Если найти в интернете ее фотографии времен ВГИКа, то на них, она вовсе не блондинка, а шатенка, девушка «пройдет мимо — не заметишь». Но она буквально за несколько лет сочинила себя. Она придумывала руки, волосы, лицо, голос, манеру одеваться, манеру себя вести. Это придуманное, но для меня самое ценное, потому что в этом есть мощь личностного начала. Понят-



Кирилл Серебренников

Российский режиссер театра и кино.

Родился в 1969 году в Ростове-на-Дону. В 1992 году окончил физический факультет Ростовского государственного университета.

В 2008 году набрал курс в Школе-студии МХАТ, из которого вырос проект «Седьмая студия».

С 2011 года помощник художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова.

С 2012 года — художественный руководитель «Гоголь-центра».

Режиссер спектаклей: «Пластилин» Василия Сигарева (Центр драматургии и режиссуры), «Откровенные полароидные снимки» Марка Равенхилла (Театр имени А. С. Пушкина), «Терроризм» и «Изображая жертву» братьев Пресняковых, «Господа Головлевы» по Михаилу Салтыкову-Щедрину (МХТ им. А. П. Чехова), «Мертвые души» по Николаю Гоголю (Национальный театр Латвии), «Отморозки» по Захару Прилепину (Школа-студия МХАТ) и др.

Режиссер фильмов: «Ростов-папа», «Рагин», «Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена» и др.

но, что на своем пути она встретила таких великих художников как Рустам Хамдамов и Кира Муратова. Но ведь мы можем прийти под водопады мудрости, имея в руках наперстки... Человек был готов к тому, чтобы измениться, человек был готов к тому, чтобы кем-то стать, во что-то превратиться.

Когда меня позвали работать в Школу-студию МХАТ и предложили набрать курс, я посмотрел программу и сказал: давайте попробуем сделать экспериментальный курс. Мне ответили: «Пожалуйста, только если найдете возможности и средства для этого». Проблема в следующем — программа утверждена министерством, ее нельзя менять. А она, извините, в чем-то устарела. Например, набирая ребят, я понимал, что не хочу, чтобы они в лосинах танцевали полонезы и мазурки. Может быть, это вообще никогда не понадобится им в жизни. Нет, занятия у станка важны и нужны, но не все время обучения. Мне хотелось, чтобы студенты владели современным танцем, contemporary dance, который есть в Европе, чтобы их научили современные педагоги, которые работают в этом направлении. Потому что в Школе-студии сразу формируют балетную парадигму, а это другое сознание. В итоге у моих студентов было два танца: мазурка и contemporary dance а-ля Саша Вальц, Пина Бауш. Это другая же идеология. Это в голове другое.

Первые полтора года мы молчали. Я объяснял: не надо ничего говорить, никаких этюдов, никакого производства слов, мы занимаемся только телом, телесной выразительностью. Мне кажется, это принципиально важно. В Школе-студии принято, чтобы на первом курсе — уже чуть ли «Гамлет», а у нас — тело/огонь, тело/ветер, т. е. занимались телесным языком (не пантомимой, а исследованием тела). Мы занимались музыкой. Я знаю, что во всех мировых консерватори-

ях студентов очень серьезно учат музыке, сольфеджио, у нас ни один выпускник не знает нот, только если он до этого не учился в музыкальной школе. Композитор Саша Маноцков, которого я пригласил преподавать, разработал свою систему — и на втором курсе каждый из студентов писал оперу. Это же знания не столько практические, сколько знания, меняющие сознание. То же самое было и с речью, то же самое было и с актерским мастерством... За все это время мы не поставили ни одной пьесы, мы брали тексты, которые провоцируют на создание ролей.

Курс пока набирать не собираюсь. Это нельзя делать часто, иначе это превратится в конвейер, а это не конвейер. Мы столько возились друг с другом, там шел какой-то обоюдный процесс обучения. Мне кажется, что благодаря студентам я стал легкомысленней. Им 20 лет. Это проблема. Но я им все время напоминаю, что мне 20 лет, а им — 40. Вот так они должны себя ощущать, чувствовать зону своей величайшей ответственности. Поэтому я их всегда толкаю в какие-то сложные истории. Мы начали играть большие спектакли достаточно рано и к концу второго курса сыграли 30 спектаклей. Мы сразу ушли из Школы-студии МХАТ, сказав, что не будем играть в театре. Организовали «партизанский» театр и работали на ВИНЗАВОДЕ (Центр современного искусства в Москве. — **Е. М.**), в подвалах, в каких-то вообще неприспособленных местах. Я говорил: «Мы должны зайти, захватить помещение, сыграть спектакль и исчезнуть». Такой передвижной партизанский театр. В этой технологии мы сделали несколько спектаклей. Потом появился проект «Платформа» и следующий этап: мы стали играть «Отморозков» как индустриальный спектакль. Но он тоже сделан с намеренным отказом от театральных технологий, никакого театрального света, например. Первый наш спектакль «в технологии» это недавняя премьера «Седьмой студии» — мюзикл «Пробуждение весны».

Я работал в Гарварде с американскими студентами, которые совершенно потрясающие и уникальные. К тебе приходят 20 человек, ты не понимаешь: это 20 гениев? Никто не зажат, все свободны, все делают с полщелчка, что ты просишь. А потом ты понимаешь, что это свободная нация, очень наивная, очень открытая, но где-то есть предел, после которого становится ясно: это талант, а это посредственность. Просто там другой уровень посредственности. У нас посредсвенность одна, а у них другая, выглядит по-другому.

Мне кажется, овладение профессией сегодня не в чести. Мы же все находимся на территории «новой искренности», а новая искренность не предполагает профессии. Она предполагает искренность — все милые, прекрасные, естественные, но это не профессия. Профессия — это несколько очень важных критериев, по которым можно сказать профессионал человек или не профессионал.

Скажу при всем уважении к русской театральной школе, которая является пассионарной (ценность русской школы для меня именно в пассионарности: тут работают люди, которые готовы и могут делать что-то невероятное, отдаваться делу, но этого мало), профессионализм западных артистов выше. Я не говорю о том, что там артисты лучше, в них тоже чего-то «не доложено». Они просто профессионалы, с холодным носом. Но я предпочту работать с людьми, которые железно владеют профессией, точно держат рисунок спектакля и внятно делают свою роль, чем с людьми, у которых душа «свернулась и развернулась». Я предпочту холодных, бездушных профессионалов, потому что из них можно сделать прекрасное произведение искусства. Я очень люблю работать с «холодной» артисткой Аллой Демидовой, которая может заставить

заплакать любой зал, при этом сама не плачет и знает, как у нее вибрирует голос, двигается рука...

Нет одного единственного способа для работы над постановкой. Каждый материал требует своего. Профессия режиссера тем и интересна, что каждый раз ты не знаешь, как это делать. Но для меня, например, не существует культа разбора. Я учился у разных мастеров, и все они манифестировали культ разбора: если долго разбирать пьесу, то это поможет создать спектакль. Я в это не верю. Потому что, во-первых, разобрать пьесу может любой умный человек. Любой умный человек, прочитав пьесу, может ответить на вопросы: «Кто он?», «Кто она?», «Что они хотят?». Это не физика, не астрономия, не приборостроение. Все мои попытки проводить длинные разборы с русскими артистами приводили к катастрофе, когда все встают из-за стола. Встали — и никто не умеет этот разбор переплавить в действие. Это неверно. Разбор может осуществляться и головой, и телом. Разбор есть мое существование в пространстве, разбор есть мое взаимоотношение с персонажем. Это работа режиссера проверять точность того, что он хочет, через действие. Я сторонник действия, я сторонник мгновенного перевода всего этого в действенную форму, если это классическая пьеса. Есть текст — дальше можно предложить делать этюды. Можно предложить пойти по улице и подглядывать за людьми, чтобы потом из этого артисты сделали наблюдение на тему. Я в Риге делал спектакль «Мертвые души» (белорусские зрители видели этот спектакль в программе Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ-2012». — **Е. М.**) и сказал: «Мне нужны дети, собаки и старухи. Пока не принесете конкретных детей, конкретных собак и конкретных старух, мы не сдвинемся». И артисты национального театра, взрослые известные люди, ходили по городу и искали. Потом это все вошло в спектакль. Для меня было важно, чтобы они достали Коробочек, Ноздревых и всех прочих не только из своего воображения, тем более не из клише, которыми мы все переполнены, а увидели конкретную Коробочку на улице. Как она выглядит, во что она одета, какого она возраста, какие у нее руки. Это вошло в спектакль и в технологию делания спектакля через документальные формы. Для меня документальный театр важен не в той форме, в которой он у нас часто существует, когда кое-какие артисты произносят кое-какой текст, который сказали драматургу обыкновенные люди, в неприспособленном для театра пространстве. Мне документальный театр интересен как основа, как часть правды, мне нравится театр, который хватает что-то из жизни, актер должен что-то принести из настоящего плана, из реальной среды и из этого сделать какой-то коллаж. Элементы, из которых мы составляем свои фантазии, должны быть подлинными, иначе это будет слишком далеко от правды. Что-то настоящее для меня очень важно в спектакле.

Разбор не может быть одним-единственным, потому что произведение имеет множество уровней понимания. Есть метафизический разбор, есть мистический разбор, есть действенный разбор, есть психологический разбор. И вот так, сколько хотите — столько и произойдет. Годится ли к Шекспиру разбор, который мы используем к тексту Чехова. Наверное, не очень. Потому что с этим подходом многие вещи не срастаются. «Как оправдать эльфов с этим подходом? А может быть, можно? А давайте попробуем!» Эти разные разборы могут вывести вас в интересную дверь. Для меня нет единого разбора. Для меня есть множественность подходов, и с точки зрения этих подходов ты можешь поставить самые разные спектакли. Не может быть одного, только одного правильного варианта разбора пьесы «Чайка». Один на всех... тогда бы театра не существовало.

Я для себя не разделяю театр представления и театр переживания. Мне кажется, это искусственная конструкция. Для меня идеальны актеры, которые

умеют работать с формой и умеют эту форму родить, зафиксировать и повторять, если это репертуарный спектакль. И которые максимально наполняют ее живыми эмоциями.

Мы все работаем в технологии вспоминания, а нет технологии забывания. Для меня она, например, важна. Вот как открыть технологию забывания в себе, чтобы каждый раз было свежо и по-настоящему, как в это верить? Как возникает вера в предлагаемые обстоятельства? На меня самое сильное впечатление производили артисты, которые находятся в абсолютной вере в предлагаемые обстоятельства.

Вовремя надо понять, что актерство — это не ваше, иначе жизнь испорчена. Это же вещи связанные с судьбой. Если вы понимаете, что не можете в этой профессии добиться чего-то сущностного и ценного, чего-то мощного, которое может поразить воображение других, — уходите. Театр — огромная система, там нужны люди и по ту сторону рампы, в кино нужны люди, в сфере искусства. Это могут быть артисты, которые любят это дело, но не нашли себя. И ничего страшного, никакой трагедии в этом нет.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Территория».



Театр

ЗОЯ ЛЫСЕНКО

Любовь и корона: первый национальный мюзикл

Руководство Белорусского музыкального театра уже давно озабочено созданием произведений, основанных на национальной тематике. Два года назад для того, чтобы такие спектакли появились, был даже объявлен конкурс среди белорусских авторов, в театре проходило заседание круглого стола с участием наших композиторов и литераторов, заинтересовавшихся этой идеей. Через год итоги конкурса были подведены: из 15-ти представленных произведений театр отобрал 4. Но ни одно из них нельзя считать полностью готовым к постановке — еще требуется большая совместная работа художественного руководства театра с авторами.

А тем временем в Музыкальном театре шла работа над внеконкурсным произведением Владимира Кондрусевича — единственного белорусского композитора, с которым музыкальный театр очень продуктивно сотрудничает уже более 20 лет. Здесь в свое время были поставлены его мюзиклы и балеты, правда, основанные на зарубежной тематике. Кстати, мюзикл «Стакан воды» с большим успехом идет в театре уже 20-й сезон. А сейчас в Музыкальном поставили основанный на сюжете из белорусской истории мюзикл Владимира Кондрусевича «Софья Гольшанская».

— Работа над этим произведением началась в 2006 году, когда Национальным банком были выпущены памятные монеты в честь 600-летия Софьи Гольшанской, — говорит композитор. — С тех пор я очень заинтересовался этой темой, накапливал идеи, собирал материалы, ездил в Гольшаны, где родилась Софья, и в Новогрудок, где она венчалась с королем Ягайло. Много трудностей возникло с созданием либретто. До того, как я встретился с Еленой Туровой, я работал с пятью либреттистами. Однако в их текстах не было тех захватывающих моментов, не было той интриги, на которых должно держаться сценическое произведение. На историческую тему вообще сложно писать, и ставить исторические постановки тоже сложно. Мы не определяли своей задачей отобразить исторические факты того периода, самое главное — отобразить характеры тех людей. И у Туровой получилось очень интересное либретто с захватывающей интригой и неожиданным финалом.

В свою очередь, Елена Турова отмечает, что она не стремилась воспроизвести страницу из учебника: «Об историческом факте можно прочитать и в энциклопедии. Хотя подлинных свидетельств и документов той эпохи сохранилось крайне мало. И о Софье мы имеем минимум информации. Сегодня у нас есть личности гораздо более раскрученные, например, сколько написано о той же Барбаре Радзивилл. А здесь трудно было извлечь из тех немногих сведений, с которыми удалось познакомиться, что-то такое, за что можно было бы «зацепиться» в драматургическом плане. В связи с этим хочется привести изречение Эйнштейна «Воображение — важнее знаний». Думаю, это как раз наш случай».

Здесь стоит отметить, что некоторые интересные сведения о жизни Софьи до замужества содержатся в памятнике средневековой истории «Хроника Быховца»,

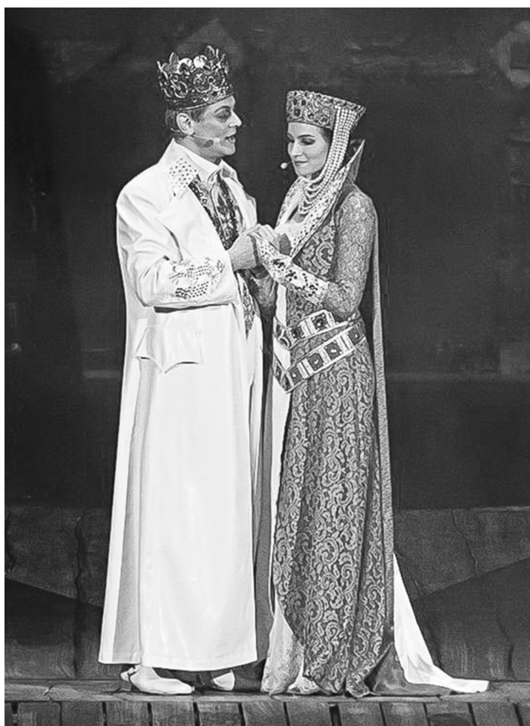
и сегодня заинтересованному читателю они доступны. А основным источником биографии Софьи-королевы являются «Анналы» Яна Длугоша — известного польского хрониста, современника Софьи. По мнению ученых, наиболее подробным исследованием жизни нашей знаменитой землячки считается работа польского историка Эдварда Руцкого «Польские королевы». Еще нужно вспомнить произведения Юзефа Крашевского, Яна Вислицкого и других авторов, где можно найти художественное жизнеописание Софьи в то время, когда она была королевой.

Но сегодня не только самым доступным для нас, но и самым понятным является исторический роман Анатоля Бутевича «Каралева не здраджвала каралю», вышедший в 2010 году в издательстве «Літаратура і Мастацтва». Фактологическая часть этого произведения вобрала в себя не только вышеозначенные источники, но и очень обширный массив исторических документов. Анатоль Бутевич владеет несколькими языками, переводит с польского, поэтому читатели его романа имеют возможность узнать обо всех хитросплетениях тех исторических событий, как говорится, из первых рук, притом в очень доходчивой и занимательной форме.

По признанию Елены Туровой, ни к каким историческим или литературным источникам она не обращалась, ограничившись общедоступными сведениями из интернета. А недостаток сведений компенсировала, как уже отмечалось, творческой фантазией. И нужно отметить, что сюжет получился действительно закрученным, с острой интригой, благодатной для постановщиков спектакля. Но за счет чего это произошло — скажем немного ниже. При этом нужно оговориться: никто не ждет от создателей спектакля какой-то дотошной исторической достоверности. Любое сценическое произведение тем и отличается, что в нем фокусируется внимание лишь на самых главных отличительных чертах отображаемой эпохи и самых судьбоносных событиях из жизни героев. Что-то показывается выпукло, что-то пунктирно, намеком, но в целом атмосфера и колорит эпохи должны быть отображены правдиво. Тем более, не должно быть искажения исторических фактов. И чем больше при этом проявится творческой фантазии авторов и постановщиков, тем лучше получится спектакль.

В этом отношении показательна работа художника-постановщика «Софьи Гольшанской» Андрея Меренкова: средневековый замок, характерный и для Королевства Польского, и для Великого княжества Литовского; гербы этих государств и удельных княжеств; рыцари в доспехах на боевых конях и символы их главного вооружения — мечи и копья, что очень наглядно говорит о беспрестанных войнах, характерных для той эпохи.

Режиссер-постановщик этого спектакля — Михаил Ковальчик, наш белорусский театральный деятель, который уже давно работает в России, однако не порывает творческих связей с родиной (в 2013 году в Белорусской государственной академии искусств он выпустил курс



Ягайло (Виктор Циркунович) и Софья (Екатерина Мощенко).

артистов музыкального театра, которые пополнили труппу театра). Дирижер-постановщик — Юрий Галяс, балетмейстер-постановщик — Владимир Иванов, хормейстер-постановщик — Светлана Петрова. И здесь хочется отметить, что балетные номера и хоровые партии в этой постановке — особая движущая сила, без них просто не было бы спектакля.

В целом атмосфера и колорит эпохи в спектакле отражены правдиво, чему во многом способствует его сценография и совокупность сценических выразительных средств. Развитие действия происходит не за счет каких-то значимых диалогов, а, прежде всего, за счет музыкальной драматургии. Вообще, все в этой постановке движется музыкой и характеры героев также раскрываются посредством музыкальной драматургии. Можно даже сказать, что этот мюзикл порой приобретает черты развернутого оперного полотна.

Например, первый же музыкальный номер с участием солиста и хора, следующий за увертюрой, настраивает зрителя на размышления о своей истории:

Наша память лежит, словно камень на дне:
Под водою веков — в глубине, в глубине…

А вслед за этим идет такая яркая пластическая сцена о нашествии крестоносцев на наши земли, что происходящее врезается в сознание лучше слов и лучше текста из учебника. Балетмейстер Владимир Иванов нашел такие выразительные средства, так масштабно и наглядно поставил эту сцену, что она воспринимается как живая иллюстрация к историческому роману. Далее будет еще одна очень мощная сцена войны с участием хора, солистов и артистов балета, где будет показано нападение на наши земли уже со стороны Московии. Все коротко и ясно: вот в такую эпоху бесконечных войн и жила Софья Гольшанская. Вся наша земля обильно полита кровью: этот клочок земли в центре Европы всегда был притягательным для завоевателей.

И вот появляется на сцене главная героиня. Музыкальный номер «Белая ластаўка» — «визитная карточка» Софьи, выражаясь языком оперетты, ее выходная ария:

Да твайго берага дай мне прыласціцца,
Я твая белая, белая ластаўка.
Я зараніц тваіх знічка-іскрыначка,
Сініх крыніц тваіх кропля-крывіначка...

Да, «Белая ластаўка» нам уже давно знакома. Именно с этой песней Владимира Кондрусевича в 2011 году Алена Ланская стала обладательницей Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске». Но ничего удивительного в этом нет. Композитор в тот период являлся художественным руководителем продюссерского центра «СПАМАШ», где занималась Алена Ланская и где поначалу планировали поставить этот мюзикл.

В театре на эту роль решили назначить совсем юную исполнительницу (ведь Софье на начало повествования было 17 лет), и поэтому постановщики обратили свой взор на студенческую молодежь. Счастливый билет выпал студентке Академии музыки Ольге Железской, которая еще в июне участвовала в презентации этого мюзикла, а теперь играла в премьерном спектакле. Еще одной Софьей стала Екатерина Мощенко, недавняя выпускница театрального факультета Академии искусств по специальности «актер музыкального театра». Естественно, перед зрителем предстают две разные Софьи: Ольга Железская кажется более женственной и как будто более умудренной, Екатерина Мощенко — более живой и непосредственной.

На роль Ягайло назначены также два исполнителя — ведущие баритоны театра Антон Заянчковский и Виктор Циркунович. Партии Ягайло и его дуэты

с Софьей — одни из сильнейших в партитуре, именно через них дается характеристика этих двух главных образов в спектакле.

Но прежде чем в действии появится король, авторы спектакля вводят зрителя в атмосферу, в которой проходила жизнь юной Софьи. Сжато, посредством коротких реплик и диалогов, дается представление о том, что Софья со своей старшей сестрой Василисой после смерти отца живут на попечении их родного дяди — князя Семена Друцкого. А у Друцкого есть наемный воин — русич Ганча, который безнадежно любит Софью и которого безответно любит Василиса. Вот вам и любовный треугольник, и завязка интриги, созданные авторами мюзикла.

Кажется, партии Ганчи композитор выписал с особой любовью — настолько они проникновенны и попадают в самое сердце. Этот герой — истинный рыцарь, который будет верен даме сердца до конца и который стойко выдержит все испытания и превратности судьбы. Эту роль блистательно исполняет Евгений Ермаков, чей богатый на оттенки тенор звучит то проникновенно лирически, то драматически, передавая самую широкую гамму чувств.

По сюжету Софья стала невольной свидетельницей того, что ее сестра призналась Ганче в любви, чему она была немало удивлена. И здесь озадачивает фраза Софьи, обращенная к Василисе: *«Сама же потешалась надо мной, когда над верными Тристаном и Изольдой я плакала!»* Выходит, что гольшанские девицы, жившие в начале XV века, почитывали западноевропейские рыцарские романы. Но в каком виде к ним могли попасть сии произведения, неужто в рукописных списках и на языке оригинала?.. (Софья, уже став королевой, испытывала трудности даже с польским языком, родственным старобелорусскому.) Хорошо еще, что главная героиня не вышла на сцену с изящным томиком в руках. Ведь первые образцы книгопечатания появились в Западной Европе только в конце XV века, и, естественно, это были книги религиозного содержания. Наш же первопечатник Франциск Скорина свою первую книгу — «Псалтырь» — выпустил в Праге в начале XVI века, а его первым виленским изданием была, как известно, «Малая подорожная книжица». Впервые средневековый рыцарский роман перешагнул границы Великого княжества Литовского в середине XVI века, когда древняя кельтская легенда о Тристане и Изольде, претерпев множество интерпретаций в странах Западной Европы, была переведена на старобелорусский под названием «Трышчан ды Іжота». Однако это произошло примерно через сто лет после смерти Софьи.

Но вернемся к годам юности Софьи. Из исторических источников известно, что в конце 1420 — начале 1421 гг. (когда Софье было 16 лет) польский король Ягайло вместе с Великим князем Литовским Витовтом, возвращаясь из похода на Смоленск, остановились у князя Друцкого. Вот что говорится об этом в «Хронике Быховца»: *«И, возвращаясь обратно, приехали в Друцк и были там на обеде у князя Семена Дмитриевича Друцкого. А у короля Ягайло умерла уже третья жена, не дав потомства; и увидел он у князя Семена двух его красивых племянниц, старшую из них звали Василиса по прозванию Белуха, а другую — София... И просил Ягайло Витовта, говоря ему так: «Было у меня уже три жены, две польки, а третья немка, а потомства они не оставили. А теперь прошу тебя, высватай мне в жены у князя Семена младшую племянницу Софию, она из рода русского и может быть Бог даст мне потомство».*

Но среди историков дискуссионным остается вопрос о том, сам ли Ягайло просил Витовта сосватать его с Софьей, как это описывается в «Хронике Быховца», или же Витовт рекомендовал ему Софью, которая являлась племянницей его жены, как это описывал хронист Ян Длугош. Конечно, эти тонкости для создателей спектакля абсолютно не важны. Здесь важно другое: личность Витовта. Во-первых, в тот период он был правителем Великого княжества Литовского. А во-вторых, рассказывая про Ягайло, просто невозможно обойти Витовта — настолько взаимосвязанными и переплетенными были перипетии их политической, да и личной жизни. Оба — литвины, тем более — двоюродные братья, примерно



Уго (Денис Немцов).

одного возраста, возглавляя соседние державы, они были по жизни одновременно и соперниками, и союзниками. Их государственные и политические интересы не могли не сталкиваться, но в тоже время они по-братски объединялись, сражаясь против общих врагов. Именно вместе они разгромили Тевтонский орден в памятной Грюнвальдской битве 1410 года, положив конец экспансии немецких рыцарей. И как мы видим из приведенного отрывка, вместе они возвращались из похода на Смоленск.

Но в спектакле Витовта нет. Для авторов этот персонаж оказался ненужным. Ненужным оказался Витовт ни в роли Великого князя, ни даже в роли свата (вопреки историческим сведениям). Неужели спектакль от этого выиграл? Но наш малосведущий зритель точно проиграл, не получив важной исторической информации. Например, вторая сцена войны происходит с участием Ягайло, и, естественно, без Витовта, ведь такого персонажа в спектакле нет. Однако в данном случае речь идет о нападении врагов именно на Великое княжество Литовское, однако сам Великий князь здесь оказался ни при чем!

Сюжетная линия спектакля лаконично проста (почти как в балетном либретто). Это ведь мюзикл, в нем есть драматическая составляющая и такой сильный инструмент воздействия на зрителя, как диалог. Но, как уже отмечалось, диалоги персонажей в этой постановке не несут на себе большой смысловой нагрузки.

Далее события развиваются стремительно и без лишних затей: не официальная делегация от польского короля, а он сам лично, почти по-простонародному, едет к князю Друцкому свататься к его племяннице Василисе. Это обосновывается тем, что она старшая, и главное — так нужно для завязки интриги. Однако о том, что король собирается под венец, должна была знать вся Европа, а тут даже братец Витовт не знал, какие события происходят в его владениях, связанные с его же свояченицей. (Да что там сватовство, Витовт даже не знал, что в его княжестве происходит война!)

Зато все знала Василиса и с нетерпением ожидала венценосного жениха. И нельзя не отметить, что появление королевской свиты разыгрывается в спекта-

кле весьма остроумно и привносит дополнительную интригу. Подразумевается, что встречающие ранее в глаза не видели короля, и когда с переносного кресла буквально скатился карлик-уродец с королевской короной на голове, все подумали, что он и есть король. Это сильно смутило всех присутствующих, кроме Василисы. Она готова стать королевой любой ценой. Пластический номер-пантомима, изображающий эту сцену, занимателен своей неожиданностью и действительно интригует. И вот черед доходит до Софьи: «король-уродец» крайне непочтительно начал увиваться вокруг нее, за что получил... пощечину. А дальше — больше. Розыгрыш, наконец, раскрылся, и истинный король, подойдя к Софье, молвил: *«Ты — смелое дитя! И ты, возможно, могла бы стать достойной королевой. Ты мне родишь наследника престола?»* И как же на это отреагировало невинное юное создание? *«Я не хочу судьбы трех ваших жен!»* — дерзко выпалила Софья. Ну очень правдоподобно! Тут страшно позавидовали бы ей даже эмансипированные барышни, жившие пятью веками позже.

Впрочем, все эти мелкие несуразности кажутся невинными по сравнению с тем, какой в дальнейшем предстанет в спектакле Василиса. Как следует из исторических документов, Ягайло, впервые увидев у князя Друцкого обеих сестер, сразу решил жениться на младшей Софье и просил помочь Витовта сосватать ее. Но в те времена существовали очень сильные предубеждения, что младшую нельзя выдавать замуж раньше старшей, поэтому, как повествуется все в той же «Хронике Быховца», князь Друцкий ответил высокому свату следующим образом: «*Государь великий князь Витовт. Король Ягайло, брат твой — коронованный и великий государь, и не могло быть лучше моей племяннице, как за его милость выйти замуж. Однако не годится мне позорить старшую сестру ее, выдавать младшую раньше старшей, и поэтому пускай бы его милость взял старшую*». А далее повествуется о том, какой выход был найден из создавшегося положения: Василисе сосватали находившегося тут же князя Бельского — племянника Ягайло и Витовта. Софья была обручена с Ягайло, а их венчание произошло через год в Новогрудском фарном костеле.

Какая память о Василисе осталась в истории? Княжна Гольшанская, в замужестве — княгиня Бельская. Потомки от этого брака сыграли не последнюю роль в истории Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Их имена известны историкам. И почему бы нам не представлять дочь нашей земли добропорядочной Матроной?

В спектакле Василиса выглядит одинокой и завистливой неудачницей, затаившей злобу на Софью. А потом и вовсе превращается в монстра, не побоявшись из-за ревности и зависти пойти на смертный грех. Да, такой поворот событий создает мощную интригу, в спектакле подобный конфликт всегда является двигателем действия. И если бы это был вымышленный персонаж, а не реальная личность (родная сестра королевы), то никакого внутреннего протеста разворачивающиеся коллизии не вызывали бы. Но ведь не исключено, что в зале найдутся зрители, не отягощенные историческими знаниями, которые все примут за чистую монету.

Образ Василисы в спектакле подается очень даже рельефно, и он несет на себе чуть ли не основную драматургическую нагрузку. Василиса с ее отрицательной харизмой как-то по-колдовски притягательна. А с учетом того, что на эту роль назначены ведущие солистки театра Маргарита Александрович и Лидия Кузьмицкая, давно завоевавшие любовь зрителя, образ Василисы в их исполнении становится еще более привлекательным.

Как ни странно, многие зрители с удивлением реагируют на двуязычие спектакля, когда русские тексты чередуются с белорусскими. Хотя что тут удивительного: разве Беларусь, находясь на перекрестках Европы, когда-нибудь была одноязычной? Конечно, в этой постановке логичнее всего было бы слышать белорусско-польское двуязычие, свойственное отображаемой эпохе, но тогда это не соответствовало бы нынешней языковой ситуации в нашей стране.

В либретто все диалоги персонажей выписаны по-русски, двуязычием отличаются только тексты музыкальных номеров. И это всегда оправдано. Естественно, белорусский язык звучит в развернутой сцене «Купалле», состоящей из нескольких тематически связанных между собой хоровых и танцевальных номеров. (Единственное, что здесь смущает, так это призыв князя Друцкого к шляхте принять участие в народном языческом гулянье.)

Вообще сцена «Купалле» — одна из сильнейших в спектакле, где особенно ярко проявляется работа хормейстера и балетмейстера. Это и шутливые припевки, и лирические песни со специфическим купальским типом напевов, и хороводно-игровые композиции с выразительной пантомимой, образующие ряд жанровых зарисовок. Особенно умиляет одна из них — «Я пушчу вянок», — представляющая из себя изысканно красивый пластический номер.

И вот здесь хочется отметить изобретательность автора либретто в небольшом, казалось бы, сюжетном ходе, который, однако, наполнил особенным смыслом не только сцену купальского праздника, но и дал ответ на самый главный вопрос: «А могла ли 17-летняя Софья полюбить 70-летнего Ягайло?» Разве по-житейски можно в это поверить?! Зато человек со своим прагматичным умом охотно верит в чудо, а некоторые ждут его всю свою жизнь. Такой момент чуда и появляется в спектакле. В купальскую ночь Софья встречает в лесу Ведунью, которая предрекает ей великую судьбу: *«Однажды появится твой образ на монетах, и будут люди вспоминать тебя в стихах и песнях!»* А чтобы все это сбылось, Ведунья преподносит девушке бесценный дар — папараць-кветку — и наказывает, чтобы она вплела ее в свой венок. Ну а потом поток воды приносит Софьин венок к ногам Ягайлы... «Уважь Купалу, коронуй меня!» — говорит истинный король, склоняясь перед своей избранницей. И как только венок ложится на его голову, происходит чудо зарождения любви. Софья уже смотрит на Ягайло совсем другими глазами и, объятая всепоглощающим чувством, поет:

Я люблю тебя, хоть мы и не похожи,
Цветом глаз, волос ни капельки не схожи.
Не похожи ни внутри мы, ни снаружи.
И за что тебя любить? Но ведь люблю же!

Эта сцена — дуэт Софьи и Ягайло — настолько проникновенно лирична и эмоционально насыщена, что уже и не хочется обращать особого внимания на определенную смысловую несуразность произошедшей коллизии: с чего бы это королю оказаться в кругу деревенской молодежи в разгар купальских игрищ?..

Однако ритуальному наполнению этой волшебной ночи все же не хватало одной очень важной детали — купальского костра, через который прыгали влюбленные, взявшись за руки. А ведь какое могло быть захватывающее действо с участием артистов балета! Сымитировать при нынешних технических возможностях костер на сцене не труднее, чем ее задымить, что, кстати, и было сделано во время юмористической жанровой зарисовки про незадачливых гольшанских самогонщиков.

Как уже отмечалось, фантазия автора либретто нередко рождает и замечательные примеры сюжетных перипетий. Одним из них является вымышленный образ канцлера Уго, воплощающего в себе все темные силы, которые оказывают на Софью гнетущее воздействие и чуть не доводят ее до гибели. Вот это действительно творческая находка: не нужно вводить в спектакль ни епископа Олесницкого, одного из главных противников Софьи, которого она сама же и возвысила, ни представителей шляхетской оппозиции, ни других влиятельных личностей, которые не желали возвышения Софьи, а главное, не хотели, чтобы в Королевстве Польском укрепляла свои позиции «литвинская порода».

Удивительным сплавом качеств обладает этот загадочный Уго: с одной стороны, реальная личность, находится при свите короля, а с другой, какой-то демониче-

ский, мистический образ — злой гений. Он является перед мечущейся Василисой в момент ее наивысшего душевного надрыва: *«Тебя обидел рок, зато услышал я!»* и ловко затягивает ее в сети зла и паутину интриг. Эта сцена, притягивающая своим мистическим содержанием и множеством смыслов, также является одной из наиболее удачных в спектакле. Уго в каком-то загадочном ритуальном обличье появляется перед Василисой, пряча лицо под более загадочной маской, под которой скрывается еще несколько. *«При дворе без маски быть можно лишь шуту и королю!»* — остроумно отвечает он на вопрос оробевшей девушки.

В премьерном спектакле эту роль исполнял Денис Немцов. Интересно, что в мюзикле Владимира Кондрусевича «Стакан воды» у него есть такая же загадочная роль, только со знаком плюс. Там Немцов предстает в образе мудрого астролога и провидца — доброго гения, который постиг сущность природы человека и смотрит на жизнь философски. Такие роли не из разряда привычных амплуа, и справиться с ними может только артист, владеющий незаурядным драматическим даром.

И вот злой рок навис черной тенью над Софьей: ее обвинили в измене королю. В спектакле эта драма разыгрывается сразу после рождения первого сына. В действительности же это произошло несколькими годами позже, когда Софья носила под сердцем уже третьего ребенка. Как писал хронист Ян Длугош, вопрос о том, не нашла ли королева себе помощников в деле рождения сыновей, поднял Витовт на Городельском сейме 1427 года. Ему очень не хотелось, чтобы корона перешла к сыновьям Ягайло. По другим источникам, вопрос этот поднял епископ Олесницкий. Тогда сразу схватили нескольких рыцарей, и среди них оказался Ганча, ставший при королевском замке рыцарем Генриком, который, собственно, и спас королеву. Его уже вели на дыбу, а он все твердил: «Королева не изменяла королю». Расследование длилось целый год. В конце концов сам епископ Олесницкий принимал клятву королевы о невиновности перед святым распятием и на святом Евангелие. А потом эту же клятву на святом Евангелие Софья повторяла перед всей шляхтой на сойме.

А что же мы видим в спектакле? По наущению демонического Уго порочащие королеву слухи распространяет Василиса, которой сразу поверили все высшие государственные мужи. А потом она идет на невиданное кощунство: на Библии, как на подносе, подает Софье кубок с отравленной святой водой!.. И королеву снова спасает рыцарь Генрик, попросив разрешения испить из кубка. И все это происходит в храме, где должен проходить Божий суд над королевой и где присутствует высшее католическое духовенство. И как все это совместить с логикой и обычным здравым смыслом? Не говоря уже о христианской этике.

На вышеозначенные нюансы зрители, похоже, особого внимания не обращают, тем более, что по внешнему антуражу не совсем понятно, что действие происходит в храме. Темпоритм спектакля стремителен, и эта сцена, также как и другие, привлекает зрителя больше своим эмоциональным накалом, чем внутренним содержанием. К тому же здесь быстро наступает благоприятная развязка: опасаясь, что Ганча умрет от яда, Василиса выбивает у него из рук кубок и во всем признается королю. Но, однажды связавшись с силами тьмы, она уже не может выпутаться из дьявольских пут и погибает сама.

Все названные просчеты влияют на содержательную часть спектакля, а не на постановочную. А постановка получилась действительно сильной. И в ней есть места, где благодаря содержанию находит свое развитие та или иная тема. Например, героико-патриотическая, хотя это авторы и постановщики спектакля особо и не подчеркивают. Однако эта тема мощно звучит как в начале спектакля, так и в его финале, в хоровом номере «Беларускія сны», который стал заключаюшим и жизнеутверждающим аккордом спектакля.

Фото Анжелики ГРЕКОВИЧ.

С точки зрения рецензента

Судьбы тугие узелки

Интересный проект был задуман в Редакционно-издательском учреждении «Літаратура і Мастацтва», а теперь его успешно продолжает РИУ «Издательский дом «Звязда»: рассказ о белорусских писателях с использованием, как уже известных фактов из их жизни и творчества, так и мало известных, а то и совсем неизвестных. Так появились книги «Васіль Быкаў: вядомы і невядомы», «Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы», «Іван Шамякін: вядомы і невядомы»...

Подбор имен неслучаен. Точнее — он симптоматичен. Герои книг — те, кто много сделал для развития белорусской литературы, чьи имена на слуху. Однако, вместе с тем, очевидно и то, что, как в жизни этих литераторов, так и в их творчестве есть страницы, требующие более обстоятельного изучения и осмысления. У некоторых из названных писателей встречаются произведения, которые по разным причинам еще не дошли до читателя.

Поэтому, как и следовало ожидать, эти книги вызвали большой интерес, и сразу же стали востребованы. Думаем, счастливая судьба ожидает и очередную книгу из этой серии: «Сяргей Грахоўскі: вядомы і невядомы», вышедшую в Редакционно-издательском учреждении «Издательский дом «Звязда».

Сергей Граховский также относится к знаковым фигурам в истории национальной изящной словесности, он сделал немало для белорусской литературы. Ко всему, это человек сложной судьбы, жизнь его сама по себе заслуживает пристального внимания.

Нельзя не согласиться с дочерью С. Граховского Татьяной Сергеевной, являющейся составителем этого тома: «...яго пісьменніцкі лёс унікальны для Беларусі. Пісьменнік, які пражыў амаль 90 гадоў, амаль увесь XX век, і працаваў, і друкаваўся да апошніх дзён. Быў знаёмы практычна з усімі беларускімі пісьменнікамі-сучаснікамі і іх творчасцю. Працаваў больш 75 гадоў у літаратуры (з перапынкам у 20 гадоў), а пачаў фактычна ў 43 гады. Выдаў больш 60 кніжак, мноства публіцыстычных артыкулаў, працаваў ва ўсіх жанрах, гадамі вёў адукацыйна-літаратурныя праграмы на тэлебачанні («Літаратурная Беларусь»), быў пастаянным аўтарам на радыё, выступаў ва ўсіх кутках Беларусі з паэтычным словам. Яго запрашалі часта і ён лічыў, што не мае права адмаўляцца. «Хто — калі не я, не мы, пісьменнікі?»

Безусловно, в одной книге трудно (да, по сути, и невозможно) охватить все аспекты его разносторонней деятельности. Поэтому, думаем, Т. Граховская сделала верно, что много внимания уделила, прежде всего, тем материалам, которые позволяют увидеть лучше «невядомага» С. Граховского, ибо про «вядомага» мы знаем уже немало.

Нельзя, правда, не принимать во внимание тот факт, что пережитое нередко заставляло Сергея Ивановича быть как бы на чеку, чтобы ненароком не сказать, как говорится, чего лишнего. Это и понятно. В жизни страны были разные периоды. До такого беззакония, которое творилось в 30-е годы прошлого столетия, к счастью, больше уже не доходило, но все же в отдельных

случаях нередко лучше было помолчать. Да и тогда, когда он писал свои воспоминания, делал это с некоторой оглядкой. У него неизменно срабатывал так называемый внутренний цензор. Это, зная, что он пережил, нельзя не понять. Благодаря же книге «Сяргей Грахоўскі: вядомы и невядомы», многое из этого «невядомага» и стало достоянием читателя.

Не в последнюю очередь это касается воспоминаний о писателях, которые, как и сам он, в свое время были объявлены «врагами народа». С той только разницей, что самому Сергею Ивановичу, пройдя через тысячу смертей, удалось выжить, а они навсегда остались там, где никто их и за людей не считал. Один из них — драматург Василь Шашалевич. О нем С. Граховский писал еще в своей книге «Так и было» (1986), посвятив ему мемуарные записи «Аўтар «Сімфоніі гневу». Тогда о В. Шашалевиче сказал, правда, далеко не все, понимая, что это вряд ли будет допущено к печати. Многое из недосказанного тогда, было опубликовано в журнале «Маладосць»: «Два лёсы — дзве трагедыі», а теперь включено и в книгу «Сяргей Грахоўскі: вядомы і невядомы».

Впечатляют и воспоминания о друге, которого давно утратил, пропитанные болью, горечью, «Рэквіем па другу», в которых рассказывается о поэте Юрке Лявонном. Сегодня о нем, к сожалению, мало кто знает, а в 20—30-е годы прошлого столетия он часто печатался в периодике, издал несколько поэтических книг и сборник очерков «Крокі пяцігодкі», а потом резкий поворот в судьбе. Ю. Лявонный очутился с С. Граховским в одной тюрьме, хотя находились они в разных камерах, а еще потом... Читаешь и словно слышишь голос самого Сергея Ивановича, наполненный болью и возмущением: «У даведніку «Пісьменнікі Савецкай Беларусі» надрукавана, што Юрка Лявонны памёр 13 снежня 1943 года. Не верце! Яго расстралялі ў верасні 1937-га, а пасля пасмяротнай рэабілітацыі пісары з таго самага міністэрства ставілі ў даведках любыя даты смерці, каб схаваць злачынствы і падтасаваць іх на час вайны».

Среди тех, о ком рассказывает С. Граховский, — Микола Лобан, Иван Ласков, Ян Скрыган... Облик же самого Сергея Ивановича проясняется благодаря Я. Скрыгану, Раисе Боровиковой и особенно Т. Граховской, которая приводит немало интересных подробностей из жизни отца. Они, эти подробности, делают Сергея Ивановича более понятным, позволяют лучше узнать о его отношениях с близкими людьми, о его пристрастиях и интересах, о любви к книге. Да и к земле, взрастившей его: «Усё жыццё ён цягнуўся ў сваё «мястэчка, мястэчка...» Глуск, у якім ён правёў сваё дзяцінства і пакінуў у 17 год, быў увасабленнем шчасця, прыгажосці, юнацтва, маралі і духоўнасці. Ён часта паўтараў: «У Глуску казалі так, ці рабілі так, ці лічылася...» У Глуску існавала найвышэйшая адзнака чалавечай годнасці: «совесны чалавек».

Что значило для С. Граховского местечко Глуск, можно узнать и из его прозаичной элегии, которая так и называется — «Мястэчка, мястэчка...» Эти воспоминания писались в 1989—1991 годах. С. Граховский признавался: «Супярэчлівыя пачуцці хвалююць і радуюць мяне. Мабыць, таму марудна і доўга пісаліся гэтыя старонкі. Мне цяжка было развітацца з далёкім палескім гняздом маіх продкаў і прыняць у сэрца новы сучасны Глуск. Гэта адначасова элегія і мажорная песня, у якой:

Смыліць, як на сэрцы насечка,
Кожны шчымлівы радок:
Мястэчка, мястэчка, мястэчка —
Навек дарагі гарадок.

Сергей Граховский поражал своей творческой активностью, он писал до последнего дня. Много печатался даже тогда, когда разменял свой восьмой десяток. Как свидетельствует Т. Граховская, «у сваім сталым узросце паэт пісаў пра юнацтва, прыгажосць, каханне, уздымаў маральныя і духоўныя праблемы». В книге помещено около сотни малоизвестных стихов поэта, которые были написаны им в последние годы жизни.

Знакомясь с ними, будто переворачиваешь страницы внутренней биографии поэта, узнаешь то, что было у него на душе, чем он жил. Проникновенные лирические строки вызывают глубокие чувства, которые заставляют по-новому взглянуть на окружающий мир. Несмотря на то, что в нем еще немало того, что вряд ли может радовать, они пробуждают жить светлым, чистым. А еще, невзирая ни на что, жить любовью. В любом возрасте, при любых обстоятельствах. В чем убеждает и стихотворение «Белая лілея», написанное С. Граховским, когда ему уже исполнилось 83 года:

Як пахла сена сонцам і расою,
Завялай мятаю і водарам суніц,
Цябе праменьчык поўні паласою
Знайшоў і дакрануўся да расніц,

Да мокрых валасоў з рачной купелі,
Да цёплае ружовае шчакі ,
Па промні серабрынкі даляцелі
На два ўсхваляваныя грудкі.
....
Да забыцця, да апантанай стомы
Шпапталі вусны: «Мо-й!..» — «А ты мая».
...Дзе ж ты цяпер?
Твой адрас невядомы...
Запахне сенам:
Побач — Ты і я.

Как и каждый истинный художник слова, С. Граховский думал о том, «как наше слово отзовется». Сергею Ивановичу, конечно, как и каждому писателю, хотелось, чтобы и в дальнейшем, когда придут новые поколения, его слово звучало. В частности, в безымянном стихотворении, написанном в 1998 году, он сказал:

І праз гады, магчыма, нашы кнігі
Разгорне праўнук праўнука майго,
І слова ў слова, як выток Нямігі,
Ён разгадае ўсе да аднаго.

Адсеюцца пазаддзе і палова,
Хоць не адно стагоддзе прабяжыць.
Не будзе нас, ні ўладароў, а слова
Жыло, жыве і будзе жыць.

Этим стихотворением и заканчивается книга «Сяргей Грахоўскі: вядомы и невядомы». Свои воспоминания о Миколе Лобане он назвал так: «Пакуль памятаюць — жывеш». Почитатели таланта Сергея Ивановича не забывали его и до выхода этой книги. Теперь же есть возможность еще раз вспомнить о нем, пройтись по страницам его творчества. Отрадно и то, что с книгой познакомятся те, кто, возможно, литературное наследие С. Граховского знает слабо. Значит, у них появится возможность открыть новые страницы творчества мастера.

Василь СЛУЦКИЙ



С точки зрения рецензента

Живые родники Беларуси

О жизни белорусской глубинки написана эта книга. Но не сюжеты в ней главное, не интрига, а речь. Персонажи ее — люди в основном пожившие, отсюда и особенности.Что ни говори, а язык хранят старые люди. Молодежь растет и развивается под мощным давлением телевидения, прессы, улицы... Но давно замечено: пройдет время и возвратится то, что, казалось, забыто навсегда.

Разговор идет о жителях Славгородщины, которых так сочно представил Алесь Масаренко в книге «Удзячны калодзеж» («Благодарный колодец»). Народная речь и есть тот колодец, из которого люди и, разумеется, автор черпают чистую воду родного языка. Однако не только речевыми золотниками замечательна эта книга, но и образами людей, которые ярко вспыхивают порой на десяти-пятнадцати строках.

Как известно, в народном слове — и образ мыслей человека, и его душа, и отношения с миром. «Баба з мужам сварыцца, калі трасца ў гаршку варыцца...» «Я пры ім, як пры добра напаленай печы: з вечара дык і надта пячэ, затое пад раніцу — самае што!» «...Пакрыўдзіў Бог яго дзевак, не даў ім красы... Лапезы ацеслівыя. Кучулайкі».

Русскоязычным читателям Беларуси переводить эти фразы не надо.

Сквозь густую вязь народной речи прорываются реалии сегодняшних дней. «Усю ноч дрэнціцца з хлопцамі, туляецца па заўголлі, то дзе ж ёй рупіцца — спіць да абеду. Пасля зжаўне чаго насухама, умяхцерыцца ў крэсла і чытае... Начытаецца мануэляў-хварабэляў, а тады і вые — крыўдна, што ўхажора такога няма, каторы б мязёніў яе, заморскімі вінамі паіў, на курорты вазіў... У кніжках адно, а тут я — дрэба нямоглая, сную па хаце: то сур'е падмяту, то пыл ды сікуны каціныя вытру... З таго і пурхае... Во якая геморніца!» Некоторые слова и не перевести буквально, но догадаться о смысле несложно.

Думаю, автор книги очень сочувствует старым людям и особенно с трудной судьбой. Впрочем, где она, у кого легкая?.. «Во, расціла дзяцей, — білася як рыбка аб лёд, недасыпала, недаядала... А цяпер, калі засталася адна, нямоглая, крывая, калі выбілася з сіл, дык ужо і непатрэбная нікому. Ужо родныя дзеці глядзяць, як на чужаніцу-няўгодніцу... Во жытка, недакага і галавы прыхінуць». Горе-горькое. Но белорусские старики и старухи, не глядя на трудную жизнь, не потеряли чувство юмора. «Можа і памёр бы ўжо, — говорит один из них, которого жизнь вконец *скукожыла*, — ды сродкаў няма на такую раскошу. І я сказаў сваёй маладзіцы: нам з табой, каханая, не з рукі пакуль што выпраўляцца ў рай — няхай туды шыбуюць тыя, у каго ўсё ёсць, каму не трэба думаць, дзе узяць грошай на труну».

Как правило, отношения между родными в белорусских семьях добрые, сочувственные. Жизнь научает понимать друг друга. Но случается иное: «Калі ўжо ты, старая хлюндра, нікому не патрэбная, то завяду глыбока ў лес, прывяжу да сасонкі...» — особенно печально, что слова эти произнесла родная дочь. Можно представить, что чувствует ее старая мать.

Те же отношения и между соседями: «Нітка ты сучаная, гадзюка пятнастая... Сыдзі з маіх воч!» И вместе с тем много примеров взаимопонимания и взаимовыручки. Иначе не выжить в трудный час. В зарисовке «Добрый человек» именно такая ситуация. Шофер, замерзающий на зимнем морозе, просится погреться в одну хату, другую — напрасно, не впустили: кто знает, что за человек стучит? Ночь... Но тут же и повезло: открыл дверь добрый человек: «Я толькі што грубку прапаліў, пагрэецеся. А там і чарку знойдзем, калі на тое пайшло...»

А вот нынче популярная тема, особенно у молодых людей — секс. («Разговор в постели») Секс без любви и даже без слов. «Ат, лепей маўчаць. Больш ні пра што не пытайся. Маўчы. — Як гэта — маўчы? Я ж не скаціна. — Маўчы. Калі моўчкі — лепей...»

Нет-нет да и мелькнут воспоминания о прошлом: то о мужике, который при людях смеха ради измерил длину носа Сталина на портрете и той же ночью исчез навсегда, то о районном финагенте, который хотя и не пил более ста граммов самогонки, все равно заслужил ненависть сельчан и кличку «холявщик», то о далекой уже войне, испытания которой не забываются до сих пор.

Встречаются просто забавные эпизоды. К примеру, о сером коте, который ловил тетеревов и приносил в дом. Или о том, как умело выкручивался муж, уличенный в измене. О том, как старый дед, чтобы прогнать ягодников с богатого места, украсился дерезой и выскочил, словно болотный черт. О том, как мальчишка, натянув на себя волчью шкуру, перепугал соседок, принявших его за вовколака...

И на каждой странице россыпь речений и сочных слов: «Зяць — абы палізаць», «бабская чамадорыя», то есть болтовня, сердце готово выскочить «на вырунак», «смерць схапіла мяне за валасы і патахоніла ў неба...»

Однако далеко не все так прекрасно... «Калодзеж загацілі, закідалі ламаччам. А ўсё ад таго, што не на вуліцы, кружна хадзіць па ваду». Не о белорусском ли языке идет речь? «Кружна» говорить и писать по-белорусски. «Закідалі ламаччам», то-есть трасянкой...

Издать бы словарь Славгородчины... Цены ему у писателей и филологов не было бы.

Олег АЛЕКСЕЕВ



С точки зрения рецензента

Мир крепится земляками

Мальдис, А. И. Соотечественники: очерки о белорусах и уроженцах Беларуси, обогативших мировую культуру*. — Минск: Издательский дом «Звязда». — 336 с. — (Беларусь вчера и сегодня).*

Белорусскому читателю вряд ли стоит представлять Адама Иосифовича Мальдиса. Профессор филологии, он давно зарекомендовал себя как талантливый ученый, способный вести поиск и делать новые исследования достоянием самого широкого, иногда вовсе не подготовленного к той или другой теме читателя. В этом убеждает и его многоплановая работа в газете «СБ. Беларусь сегодня». Можно только порадоваться за ежедневное издание, заполучившее такого сотрудника, такого автора. Одно из направлений в деятельности Мальдиса-журналиста — рассказы о белорусах и уроженцах Беларуси, обогативших мировую культуру. Из этих газетных повествований — очерков, статей и эссе — и сложилась новая книга ученого и публициста. И называется она достаточно просто — «Соотечественники». Разделив содержание согласно хронологическому принципу, автор первой героиней выбрал Софью Гольшанскую, которая в XV веке стала первой (и единственной!) королевой-белорускойу. Правда, с самого начала повествования Адам Мальдис вынужден оправдываться: «...Предвижу возражения: как я посмел королеву Польши, четвертую жену Владислава Ягайло, назвать белоруской?! Ведь тогда вроде не было самой Беларуси...» И еще: «Белоруска и единственная? А как же Барбара Радзивилл? — спросит кто-нибудь...» А в конце: «Правда, делались попытки найти подругу Петра I среди жительниц Могилевщины...» Не передавая содержание далее, оставляя читателю возможность самому познакомиться с ними, замечу другое. Адам Мальдис умеет аргументировано и лаконично изъясняться с читателем. Напомним: в книге — материалы, опубликованные изначально в газете. Это значит, что сам формат требовал ясности, краткости в изложении темы.

О Мальдисе-журналисте, способном рассказывать доходчиво, не теряя при этом содержательной стороны в раскрытии темы, не приуменьшая важность той или другой темы, думаешь и когда открываешь в очередной раз через его повествование судьбу первопечатника Франциска Скорины («Франциск Скорина: бесспорное и спорное»). И снова в повествовании автор начинает с интриги, стремится завлечь читателя, развить его интерес к теме. «Прежде всего, само слово «соотечественники» применительно к белорусскому и восточнославянскому первопечатнику многим читателям может показаться спорным: как же так, Скорина — и вдруг причисляется к нашим зарубежным сородичам... Да так уж получилось: родился и детство провел он действительно на белорусской земле, в Полоцке, да еще как свою территорию воспринимал Вильно, общую столицу Великого княжества Литовского, где издал две свои книги. Но Краков, где учился в университете, был для него и его земляков уже заграницей, а тем более чешская Прага,

где Скорина положил начало нашему книгопечатанию, а потом работал королевским садовником-ботаником. Там и умер. И где-то в Чехии похоронен». И далее А. Мальдис поясняет цель своей работы, границы исследования: «...посмотрим на нашего первопечатника... крупным планом. Не на все его переводческое и печатное наследие, не на его ренессансные философские взгляды, ярко выразившиеся в предисловиях и послесловиях к книгам Библии, ибо все это уже достаточно глубоко проанализировано в десятках монографий и сотнях статей отечественных и зарубежных исследователей, в специальных энциклопедических справочниках на белорусском и русском языках. Сосредоточим внимание на жизненном пути, полном загадок и противоречивых суждений о нем на самых разных уровнях. В живучести таких суждений я еще раз убедился в начале нынешнего года...» Обратите внимание на сами названия подразделов, небольших главок очерка о первопечатнике: «Георгий Скорина из... Мексики», «Взаимоисключения», «Рождение», «Второе имя», «Христианин», «Полиглот», «Титан», «Кончина», «Наследники». Автор старается раскрыть то, что может быть интересно читателю, который все-таки о Скорине что-то слышал, но монографий и даже, к примеру, романа Олега Лойко или романа Миколы Садковича о великом первопечатнике не читал. После прочтения очерка А. Мальдиса впечатляешься масштабом личности Ф. Скорины. Узнаешь, что: «...Скорина был больше, чем полиглот. Разносторонность его дарования и деятельности просто феноменальна. Конечно, прежде всего нас поражает его переводческий подвиг. Примерно за три года, прошедших с поездки в Вену до издания первых книг Библии в Праге, он совершил то, на что у других переводчиков уходила вся долгая жизнь, — перевел весь Ветхий завет: это не только 23 напечатанные книги, но и те, что остались в рукописях, найденных позже в разных странах. Более того, снабдил эти переводы предисловиями и послесловиями, глубокими по своему философскому и богословскому содержанию, образному, поэтическому языку (цитат здесь можно привести множество). А кроме того, он стал еще издателем своих книг, их оформителем, а значит, и художником, и гравером, достигшим совершенства в своем автопортрете. Наконец, он славился как медик, ботаник, проявил недюжинные знания по астрономии, о чем свидетельствует составленный им календарь, выявленный не так давно в Копенгагене в редком экземпляре его «Малой подорожной книжки». Воистину можно ставить знак равенства между Франциском Скориной и Леонардо да Винчи, другими европейскими титанами эпохи Возрождения...»

Несомненное внимание читателя вызовут очерки, посвященные Игнатию Домейко, Адольфу Янушкевичу, Соломее Русецкой-Пильштын, Михаилу Клеофасу Огинскому, Наполеону Орде, Ивану Синицкому, Анджею Цехановецкому, династии Ельских и другим ярким историческим личностям. Адам Мальдис, рассказывая о своих персонажах разные увлекательные истории, умело определяет их место в истории нашего Отечества. Исследователь помогает читателю представить и эпоху, в которой жили, сражались, делали открытия его герои. Листая страницы книги «Соотечественники», мы заглядываем в разные столетия и разные страны. Виртуальное путешествие захватывает настолько, что иные повествования обретают характер драматический, наполняются рельефными, осязаемыми картинками.

Во многих материалах Адам Мальдис вырисовывает целый спектр задач и по сохранению исторической памяти, и по продолжению исторического поиска. Читая о далеких от нас по времени личностях, невольно думаешь о патриотических чувствах, их важности и значимости в формировании гражданского общества. Некогда Дмитрий Лихачев заметил: «Патриотизм — начало творческое, начало, которое может вдохновить всю жизнь человека: избрание им своей профессии, круг интересов — все определять в человеке и все освещать. Патриотизм — это тема, если можно так сказать, жизни человека, его творчества...» Вот и книга «Соотечествен-

ники» освящена патриотизмом. Рассказ об уроженцах Беларуси, проявивших себя в разных странах, оставивших свой след в мировой культуре, является своеобразным учебным пособием для воспитания любви к своему Отечеству, к Родине, дающей силы для гармонического формирования человека.

Примечательность книги доктора филологических наук, профессора Адама Мальдиса, чей многолетний собирательский труд в сфере белорусской культуры недавно отмечен Главой государства орденом Франциска Скорины, заключается еще и в следующем. Исследователь обозначает узловые позиции в деле изучения, раскрытия той или другой темы, в деле историко-краеведческого поиска. Ученый вносит свои предложения, подсказывает инициативы в деле мемориализации исторической памяти. Это касается его разговора буквально по каждой из тем.

Завершает книгу о соотечественниках обзор Адама Мальдиса о той литературе, что вышла в последние годы и посвящена поиску уроженцев Беларуси в мире, — «Земляками мир крепится». И вот чем руководствовался автор, несколько нарушая структуру сборника в целом, фактически публикуя в нем материал литературно-критического характера, указывающий на источниковедческий формат разговора: «В последние годы на различных научных и общественных форумах, со страниц печатных изданий раздаются голоса, что и белорусам пора создать справочники, посвященные соотечественникам за рубежом. Например, взяв за образец пражское издание «Кого и что дали чешские земли миру и человечеству?», российские и польские энциклопедические книги. Ведь и наша земля тоже рождала и рождает таланты. Первые шаги к такому энциклопедическому изданию уже сделаны. В 2000 году увидел свет справочник «Беларусы і ўраджэнцы Беларусі ў памежных краінах», подготовленный в Минске в Центре имени Скорины. Туда вошли общие статьи, сведения об организациях и периодических изданиях соотечественников, а также около 480 персоналий. В 2006 году было подготовлено к печати, но до сих пор не увидело свет второе издание этого справочника, дополненное еще примерно 650 персоналиями. По инициативе Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ее председателя Владимира Счастного в прошлом году появился белорусско-английский справочник «250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур», где также широко представлены наши соотечественники. Издана книга Александра Одинца «Паваенная эміграцыя: скрыжаванне лёсаў» (Минск, 2007), куда включено 88 воспоминаний белорусов из 11 стран и, что особенно ценно, «Биографический показатель» — около 160 имен, составленный Олегом Гордиенко. Вышли отдельные справочные издания, посвященные белорусам Коми, Крыма, Молдовы, Сибири. Однако до более или менее полного энциклопедического варианта, посвященного белорусским диаспорам во всем мире, еще далековато. И чтобы оно появилось, надо сохранить и системно пополнять соответствующую базу данных, уточнить методологические и методические принципы. Здесь весьма ценно каждое новое издание, посвященное нашим соотечественникам». Свой немалый вклад в этот историко-краеведческий поиск вносит и Адам Мальдис. Книга «Соотечественники» — хорошее тому подтверждение.

Кирилл ЛАДУТЬКО



Авторы номера

ЗЕЛЕНКО Вера Викторовна. Родилась в 1956 г. в Москве (Россия). Окончила математический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси. Автор книги прозы «Время ничего не значит». Живет в Минске.

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО (Гусаченко) Тамара Ивановна. Родилась в 1948 г. в д. Щепятино Брянской области (Россия). Окончила Московский автотранспортный техникум, филологический факультет Брянского государственного педагогического института и психологический факультет Минского государственного педагогического института. Автор пятнадцати книг. Лауреат Международной литературной премии имени Симеона Полоцкого и Всероссийской литературной Премии имени Ф. И. Тютчева. Награждена медалью Франциска Скорины. Живет в Витебске.

КАЛУЖЕНИНА Лариса Анатольевна. Родилась в Тбилиси (Грузия). Окончила Минский государственный лингвистический университет. Публиковалась в журналах «Волга», «Латинская Америка», зарубежной периодике, в том числе в Японии, США, Германии. Живет в Минске.

ШНИП Виктор Анатольевич. Родился в 1960 г. в д. Пугачи Воложинского района Минской области. Окончил Минский архитектурно-строительный техникум и Высшие литературные курсы в Москве. Главный редактор издательства «Мастацкая літаратура». Автор книг «Гроздь света», «Путем ветра», «Поиск радости», «На руинах Храма», «Похищение Европы», «Волчий ветер», «Инквизиция», «Баллада камней» и др. Живет в Минске.

КАРПОВИЧ Екатерина Юрьевна. Родилась в г. Шяуляй (Литва). Окончила Белорусский государственный университет по специальности «психология». В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

ПОЛЕЕС Елизавета Давыдовна. Родилась в Могилеве. Окончила Белорусский государственный университет. Автор нескольких сборников поэзии. Живет в Минске.

МАРУК Владимир Антонович. Родился в 1954 г. в д. Гута Ганцевичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор нескольких книг поэзии. Работал заместителем главного редактора журнала «Полымя». Умер в 2010 г.

Д'ОРМЕССОН Жан. Родился в 1925 г. в Париже (Франция). Окончил Высшую нормальную школу (Париж). Член Французской академии, доктор философии. Автор более 30 книг. Живет в Париже (Франция).